Лімаўскі фальварак

Василь Ткачев

Дом коммуны

Роман
Повести

Минск
«Літаратура і мастацтва»
2010

Роман

ДОМ КОММУНЫ

У каждого дома есть своя история.
Она неразрывно связана с историей города,
с историей страны…

Часть первая. ПОТЕРИ И НАХОДКИ
Раздел 1. Окно

Этот Дом стоит вблизи железнодорожного вокзала. На первый взгляд может даже показаться, что они находятся по соседству, и это почти так; Дом врос в землю в самом начале проспекта Ленина, по левую сторону, если ехать или идти в город, врос надежно и основательно, будто комлистый дуб-крепыш среди других деревьев. Стоит между домами, которые годятся ему в сыновья. А если сегодня забраться на чертовом колесе в парке Луначарского на самую высокую точку, попробовать посмотреть на избранный объект, то и не увидишь тот Дом коммуны: заслонили его, старика, новые высоченные громадины. И шапки при этом даже не сняли перед ветераном. К поклонам не снизошли. Только и радости, что его, Дом коммуны, по-прежнему знают люди, тепло, искренне вспоминают иногда, и ни для кого такое не секрет: когда ведут диалог о житье-бытье горожане, то нет-нет да и выхватишь из их разговора два слова, которые для многих стали символом города — пожалуй, точно так, как Красная площадь для Белокаменной: «Дом коммуны». Как же, Дом коммуны!.. Не получается побеседовать, чтобы не задеть его словом-другим, чтобы миновать, обойти, как не получается и попасть в центр города с Привокзальной площади, не увидев его. Он будто смотрит своими большими глазами-окнами на каждого прибывшего в город, встречает как радушный хозяин.

Привет и тебе, старина!

Когда появился этот Дом на свет белый — мало кто знает, однако же сегодня есть немало людей в городе, которые постарше его. Вот и один из таких жильцов сидит сейчас перед окном, смотрит на Дом коммуны, — его квартира под самым козырьком дома, он сейчас как раз через дорогу, — и старику хорошо видно, что делается напротив. Познакомьтесь: Степан Данилович Хоменок. Высокий и

худой, словно жердь, а жилистое лицо заметно испещрено мелкими морщинками, на удивление густые для его возраста волосы словно припудрены обильной дорожной пылью. Почти всегда спокойный и уравновешенный, только вот с зубами беда — искрошились, лишь один остался во рту. На худом лице Хоменка отчетливо выделяется нос — длинный и кривой, словно в свое время кто звезданул по нему кулаком, и тот навсегда отвернулся от кулака: страшно. Почему — словно? Так и было. Если полистать жизненную летопись Хоменка, то найдем в ней и страницу, где он за год до смерти Сталина попал на российский Север, там в шахте добывал уголь отбойным молотком. Попал туда за длинный язык — тогда это модно было, карать за него, — а потерпел, как видите, нос: не угодил конвоиру, а у того был пудовый кулак. Ну, да что уже!.. На Север Хоменок не сердится, а иногда, бывает, и отпишет ему щепотку признательности: «Закалился там, нечего говорить. Потому и топаю по земле-матушке уже почти восемьдесят, и стопку порой беру, и рука не дрожит. Что та стопка в сравнении с отбойным молотком! Спичка. Но одно все же скажу: на Севере том хорошо жить по своей воле... Как и везде». С поселения он вернулся тогда с кое-какими деньгами, вернулся в Дом коммуны, где у него и жены Дуси была на последнем, четвертом этаже однокомнатная ячейка, около самого туалета. Дуся ждала его: Хоменок, как сам острит иногда, радовался, что за два года, которые отсутствовал, не произошло пополнения в семье, а то всяко могло быть: женщина она красивая, в молодости, когда и он ухаживал, парни увивались за ней. Сын Петька теперь живет да здравствует далеко, служил старшиной в армии на Дальнем Востоке, под Уссурийском, там и остался на сверхсрочную, а Дуси нет: давно, ой как давно не стало женушки, хоть и была моложе Хоменка почти на десять лет. Петька даже на похороны тогда не приехал. Позже написал, что не отпустили из части, сослался на какие-то важные учения, но следом прислала письмо его жена, злая и властная «сибирская баба», как называл ее Хоменок, и разнесла Петьку в пух и прах: никаких учений не было, это все самая обыкновенная чепуха, а его просто не могли разыскать, потому как запил и не ходил на службу. Пожалели и не выгнали тогда из армии. А могли бы. Здесь как раз так и получилось, что мать и спасла его, любителя острых ощущений. Точнее — ее смерть. Не было бы счастья, да несчастье помогло... Командир махнул рукой: дескать, служи, у тебя и так горе, мать умерла, но чтоб последний раз!.. Хоменок тогда же, не откладывая надолго, продиктовал Володьке письмо к сыну и срочно отправил. Взбучку выписал хорошую. Попугал даже: куда же ты

вернешься, поганая твоя душа, если, не дай Бог, турнут из армии? Кому ты нужен будешь? Отвернется, конечно же, и жена. Зачем ей лишь бы кто!.. Сольет злобу, сольет сполна. И что же, в Дом коммуны, ко мне заявишься? В одну комнату? Нет, пожалуй: я привык, уже сам как-либо. Старому человеку хорошо, когда тихо. Да и поговаривают, а в последнее время и частенько, вроде бы будут расселять по другим домам всех жильцов из Дома коммуны, а дом поставят на капитальный ремонт. Неизвестно еще, что дадут. Может, к каким старушкам приткнут, что и сам не рад будешь.

Однако позже все повернулось так, чего никогда бы не предугадал. Заболел серьезно Хоменок. Ноги подвели. Вот тогда он и отвесил Северу по чем попадя крепких словечек, потому как, хоть и мудрили с его ногой врачи, долго советовались, а довелось отхватить все же повыше колена. «Поздно обратились к нам, уважаемый. Сами виноваты». Так что прямо в палату принесли ему два костыля, за его, конечно же, деньги, и он понемножку начал учиться ходить заново. Не сладко. Но жить можно. Вон Маресьев, летчик. Обе ноги отняли, а он потом еще и немцев гонял по небу, как кот мышей. Вспоминая про него, особо и не горевал: голова есть, а все остальное!.. «Мне в кабину самолета не забираться».

Когда началось добровольно-принудительное выселение из Дома коммуны, Хоменок уже хорошо прыгал на костылях. И, может быть, потому, что остался инвалидом, что потерпел от какой-то нечистой силы, не иначе, он считал себя обиженным судьбой и начал диктовать свои условия, когда ему предлагали квартиры — на выбор.

— Мне хоть на небе угол, а я Дом коммуны должен видеть каждый день! — говорил он громко и твердо кому надо. — Прошу по сути. И хочу гарантию, что впоследствии после ремонта вернусь в свою комнату. Даете гарантию? Нет? Я, говорите, не доживу до того времени, когда закончат ремонт? А вы меня, знаете что, в гроб не загоняйте раньше времени! Не надо! Хоменок не из таких! Давайте мне жилье, чтобы я был один и чтобы окно было на Дом коммуны! Как хотите!..

Вскоре ему подобрали такую квартирку, надеясь, конечно же, что он откажется, ведь та была на последнем, четвертом, этаже. Инвалид ведь, без ноги, как он будет забираться в свое гнездо, как выходить во двор? Не на парашюте же. Но просчитались. Хоменок сразу согласился, и лицо его светилось, был доволен, словно о той квартире он только и мечтал.

— А как буду подниматься-спускаться — мое дело, — подмигнул он тем людям, добившись своего.

Здесь и обустроился. Теперь вот Хоменок и видит все, что делается на улице, перед Домом коммуны, опускается на землю крайне редко, не ремонтирует испорченный телевизор и размолотил кулаком давеча динамик, который что-то не то, на его взгляд, выдал в эфир. На газету тоже жалеет денег. Да и зачем она, газета? Про все новости ему своевременно рассказывает Володька, а когда еще приврет — а он на это великий мастак, симбиоз актера и поэта-фантазера, шибко проворен — то Хоменок сыт тогда ими, новостями, по адамово яблоко. Ходит и в гастроном Володька за продуктами. Обязательно приносит выпить. Без стопки теперь Хоменок не обходится. Даже среди ночи не ленится вставать, топать к столу, булькать в стакан, выпивать и закусывать чем-нибудь. Обычно килькой, сухой и в норму соленой. Этот продукт он особенно уважает — и по карману, и много сразу не съешь, да и на всех, если что к чему, хватает. Конечно, от бутылки определенная часть перепадает Володьке. Он работает на областном радио корреспондентом и за каждое слово, выпущенное в эфир, получает гонорар. Не будет же он распинаться и перед Хоменком за так. Да и в очереди стоять надо нередко, терять время, а оно, время, как известно, дорого стоит. Так что, уважаемый Степан Данилович, пожалуйста, будь щедр. А у Володьки это как будто бы еще полставки к основной работе. Другой раз он приходит к Хоменку не один — толокой, и тогда здесь стоит гул и непрестанно звучат песни на всех языках мира, а в стену кто-то из соседей обязательно агрессивно стучит, чтобы замолчали, безобразие потому как, поздно уже. Обычно угрозы и просьбы действуют. Прощаются долго, обнимаются и хвалят непрестанно хозяина за гостеприимство. Хоменок привык к этому, и хоть наравне, как обычно, брал стопку с гостями, изумляется, отчего это они так крепко захмелели, совсем раскисли, вишь ты. Слабаки. Э-э, так и есть!.. А молодые же. Что значит не умеют, не умеют пить. Только орут. Чего уже и не отнимешь у Степана Даниловича, так этого: сколько ни пьет, а никогда пьяным не бывает. Ну не получается осилить его водке, свалить. Потому и утром он как штык сидит перед окном, смакует чай и изучает, что делается на улице. Володька же, когда заночует у него, а такое бывает нередко, стонет, недотепа, просит у хозяина хоть какой грамм, на что получает, как правило, отрицательный ответ.

— Тебе ж на работу. Иди. И не морочь голову!..

— Да что мне работа! — хорохорится Володька, показывает хозяину мутные глаза. — Ты же знаешь, как меня там ценят. На руках, можно сказать, носят. Если бы не я!.. Нет, ты вот скажи,

ветеран: а кто лучше меня поэтический репортаж сварганит? В рифму? А? Только Володька! То-то же! Так что, не капнешь?

— Нет. Доза.

— «Доза». Да мне и слово никто не скажет, когда и похмелюсь. Они без меня разве что могут? Кто без моего голоса будет то радио слушать? Ну, Данилович! Найди что! Не томи! Умираю же!..

— Твое дело, — спокойно отвечает, не отворачиваясь от окна, Хоменок.— На одного человека больше, на одного меньше... Кто заметит?

— Заметят, Данилович! Заметят!

— И ночуй следующий раз у себя дома. Что-то ты зачастил ко мне да ко мне. Кислорода и так не хватает. Вишь, как перегаром надышали, едрена вошь!..

Володька оправдывается, в голосе чувствуется определенная решительность:

— Да не хочется мне домой идти, знаешь же! Не могу на Нинку смотреть! В парторганизацию накапать собирается. Эх, баба! Где твой, хоть и короткий, хоть и куриный, ум? Ну что с нее, глупой, возьмешь, кроме анализов? Тьфу! Чего мне домой переться? Лучше голодать, как говорят умные люди.

— Это с какой стороны посмотреть, — рассудительно говорит Хоменок, нахмурив лоб.— С твоей — да, накапает. А поставь себя на ее место.

— Ну, ты политрук! Так найдешь или нет?

Хоменок наконец сдается. Знает Влодьку: все равно найдет что выпить, выпросит у кого хочешь на бутылку, поэтому не стоит уже портить отношений: как ни крути-верти, а ему, Хоменку, без Володьки тоже непросто будет. Наливает в стакан до половины.

Володька вскакивает, на удивление легко, энергично, берет стакан, но пьет не сразу. Вот тут-то и наступает определенная пауза. Морщится, отворачивается, фыркает, а затем, зажмурив глаза, осуществляет все же приговор вину — одним махом глотает его и определенное время стоит как вкопанный на месте, не шевельнется. Ждет, когда вино начнет разогревать его внутри. В отличие от Хоменка, — не курит, что старика немало удивляет: как это так — пить и не курить? Он не может этого понять. Такого не должно быть. Пьет — и не курит? Непорядок, где-то что-то, по его определению, не так, как должно быть...

Вчера Володьки не было. Значит, заявится сегодня. Хоменок сидит перед окном, возится с куревом и следит за жизнью на улице,

поглядывает на окна Дома коммуны. Во многих уже нет стекол, а где-то вырваны и рамы. Живьем. Начинается ремонт, значит!..

А в то время, когда Хоменок сидел перед окном и сосал уже опротивевший ему самосад, Володька, которого он ждал, находился в цирке, где не только слушал лекцию о международном положении, но и кропал стихи в тетрадке для конспекта: привычка еще со студенческих лет, благодаря которой издал две, хоть и тонехонькие, но все же книжечки, для детей. В течение последнего времени политзанятия проводились под куполом цирка, где собирались представители творческой интеллигенции — художники, журналисты, артисты театров и филармонии. Стол для лектора ставили прямо на арене, за спиной — политическая карта, и тот, подглядывая время от времени в конспект и развлекаясь указкой, не только рассказывал последние новости, но, наверное, и представлял себя не иначе как известным артистом цирка. Никак Никулиным или Карандашом. И вот в самый разгар лекции аудитория взорвалась от смеха. Растерялся и лектор. Вечером в цирке должно было пройти представление, и какой-то шутник умышленно, не иначе, выпустил на арену двух дрессированных кабанчиков, и те начали, как заведенные, выписывать круги по арене. Лектор махал на них руками, почему-то вспомнил кур, кышкал и кричал «Ату!», и тогда они бегали еще быстрее: приняли, видимо, его за дрессировщика, а выход на арену посчитали настоящим, плановым, тем более, что творческая интеллигенция хлопала, не жалея ладоней, еще громче, наверное, чем на настоящем представлении. Аплодисменты, наверняка, были для кабанчиков большим стимулом.

Политзанятия дали крен. Были скомканы, как туалетная бумага, а политинформатора кабанчики вчистую сбили с толку. Пока искали того шутника, поэт Володька несколько раз умышленно цыкнув на неизвестного супостата, чтобы услышали его звонкий голос и запомнили, что и он здесь был, под шумок сорвался с лекции и вскоре взахлеб рассказывал Хоменку про новый и невероятно оригинальный номер, который только что ему посчастливилось бесплатно увидеть в цирке. «Такого цирка я никогда не видел! Политинформатор, понятное дело, еще не пришел там в себя! Г-га!..» Старик улыбнулся, потом, сдвинув брови к переносице, забулькал в стакан, показал взглядом на него:

— Выпей. Твое.

Разобравшись с вином, Володька довольно убедительно сообщил, что вскоре у него будет легковая автомашина, посмотрел сразу же в

окно и, увидев первую, что попалась на глаза, легковушку, а подвернулась новенькая черная «Волга», ткнул пальцем:

— Вот такая! И цвет подходит! Мой!.. А?

Хоменок еле сдержал слабую улыбку, а затем громко хмыкнул: тоже скажешь, мечтатель! Однако списал это на градусы. А Володька, забыв о «Волге», прочел из конспекта новое стихотворение, которое нацарапал в цирке. Хоменок нахмурился. Стихотворение, значит, не легло ему на душу, и Володька мгновенно поменял тему — начал, как это он делал часто, критиковать жену. Хватило опять Нинке на орехи, будет знать. За что — понятное дело, можно и не спрашивать. В первую очередь за то, что постоянно брюзжит и обещает не пустить домой, если поздно вернется. Про то, что в нетрезвом виде, — молчок, ни слова: и так понятно, кто в доме хозяин. «Я вон в Ташкенте был, так там Алим, друг мой, в казарме кровати стояли рядом, поблагодарил жену, когда она подала все чин по чину на стол, и до утра никто ее не видел. И — веришь, Данилович? — бутылку водки поставила. Сама. Я чуть с табуретки не упал... Вру, однако: на полу сидели, на кошме, поджав под себя непонятно каким образом ноги... я раза два оказывался на спине без привычки, а потом приноровился, и ничего... А мы пили-ели. А моя сядет напротив, подопрет челюсть кулаком, натянет на лицо маску Горгоны, рот разинет до ушей и в мой рот смотрит... как зубной врач. А подала хоть раз бутылку? Поставила на центр стола, как жена Алима, спроси у меня? Если бы!.. Жди!.. Вот там, скажу тебе, Данилович, порядки! Лафа для мужчин, лафа-а!.. Хоть ты в Ташкент езжай. Без Нинки, конечно же. Сыт ею я и здесь». Досталось жене от Володьки и за то, что утром не улыбается, а косится, зверем смотрит, мычит что-то в его сторону агрессивное, унижает как личность, и таким образом, портит настроение. День — коту под хвост. И это ему, творческому человеку, такой подарок? И что хорошее, приятное услышат после этого радиослушатели? И во всем виновата только Нинка. Только она. Но ведь кто об этом знает! Смола, а не человек!..

— Не послушался, дурак, матери, взял деревенскую, — шмыгнул носом Володька. — Они, деревенские, не успеют в город приехать, а уже такими шишками себя представляют. Куда там!.. Не подступись!.. Быстро в чужом свое находят. Кто квартиру получал? Я! А она: вытурю. Мало, что из квартиры обещает сопроводить с почетным эскортом, так и из партии тем же порядком... А как мне, Данилович? Каково? Я же после университета, не тебе говорить, и партшколу закончил... И куда я годы учебы?... Кому?.. Куда дипломы засуну?.. А она, вобла, шьет мне белыми нитками разную чепуху. И

поверят! Как дважды два. Бабам, что интересно, все верят. Отчего так, не скажешь?

— У тебя же была и городская... — заметил Хоменок, а далее продолжать не стал: Володька и сам все знает не хуже него.

И тот надолго замолкает, сделал вид, что не услышал последние слова Хоменка. Ковыряется в своем дипломате, перебирает бумажки, листает блокнотик, нервно поглядывает на часы: вскоре должны закончиться в цирке политзанятия, и он обязан подгадать, чтобы явиться на работу вместе со всеми, кто был в цирке на учебе. А пока то да се, припоминает и первую жену, Клавку, что живет где-то в Черске и сегодня. С ней Володька расписался сразу после школы, когда начал работать в районной газете. Учиться собирался заочно, потому как безотцовщина, а мать, рядовая колхозница, ему на стационар, если и поступит, копейки не пошлет: на трудодни дают мало, а в семье не только он нахлебник, еще сестра и брат. Вымахал же под два метра, в армии таким две порции кладут. А в районную газету литработником Володьку взяли охотно, писать он умел, был активным юнкором, руку набил. И поступил тем летом учиться на журфак. Для полного счастья ему не хватало Клавки, она и подвернулась ему под руку. Ее мать работала в райкоме партии уборщицей, и несколько раз Клавка подменяла ее. Где и встретился с девушкой Володька — лицом к лицу, глаза в глаза. Раз, второй, а на третий заявил в редакции: женюсь. Там поинтересовались, кто избранница, а когда услышали про Клавку, брызнули смехом и посоветовали Володьке не делать глупостей. Сам редактор вызвал в кабинет и запретил ему иметь с Клавкой хоть какие контакты. Это потом выяснится, когда на руках у Володьки будет сын, что Клавка не только с мамой подметала и мыла, но и оказывала кое-какие услуги некоторым районным начальникам. А когда тех застали за неприглядным занятием (городок маленький, и жена одного из ловеласов, услышав краем уха про похождения своего донжуана, проследила за мужем и цапнула того за руку на месте преступления), то среди действующих лиц этого чрезвычайного спектакля районного масштаба оказалась и жена Володьки. Он, чудак, не хотел про это и слышать, простил, однако же Клавка опять вскоре наступила на те же грабли.

Бедняге Володьке помогли пойти побыстрее — обычно хороших работников стремятся отсрочить, а здесь наоборот, — служить в армию, и он весьма гордился, что попал в Прибалтику, где все чисто подметено («Клавку бы на экскурсию сюда!») и культурно, и есть большая газета военного округа, которая печатает все его заметки и

статьи и высылает такие гонорары, про которые он и не мечтал. А как только начал писать в газету, то армейское начальство заметило это и пожелало держать его поближе к себе: ведь кто знает, что у него, военкора Володьки, на уме, а когда будет под надзором — факт, не вынесет мусор из дому. Оформили в солдатском клубе помощником начальника, и здесь он имел возможность не только писать, но и поигрывать на баяне. Баянист он был от Бога, ведь нот не знал, они для него — темный лес, а исполнял любой заказ — назови только мелодию. Подберет как нечего делать. Потому в отпуск приехал Володька в штатской одежде. Да из самой Прибалтики, понимать надо: шик-блеск! Редактор даже удивился: «Ты служишь или на заработках где?» В особенности всем запомнился красивый габардиновый плащик и, как бы в добавок к нему, модная шляпа. Отпускник устроил в редакции шикарный пир — за те деньги, конечно же, что получал за статьи, не поскупился — и поинтересовался, как Клавка с сыном, ведь им, признался, не писал. Рассказали. Сына носят в ясли, а Клавку где носит — никто не знает. Говорят, будто связалась с каким-то электриком и живет то у него, то у себя. Володька плакал, размазывая слезы по щекам, шмыгал носом и обещал сыну, не видя его, что, когда тот вырастет, подарит ему легковую автомашину... А в тот день он забыл проведать сынишку, поехал, веселый и беззаботный, к матери в деревню, а там и отпуск закончился. Хоть и собирался, как не однажды перед армией, когда ссорился с Клавкой, хорошенько пронять ее, вертихвостку: «Думаешь, я не знаю, что наш сын не от тебя!» Да, да, он так и говорил: «не от тебя».

Так что у Володьки была городская, была. Хоменок, похоже на то, подумал: «Тебе, братец, хоть с луны жену приведи, а ты и ее не удержишь. Золотую с рук выпустишь. Ведь сам хорош, сам цаца. А на деревню ты напрасно копытами бьешь. Там девушки хорошие. Самостоятельные. Проворные. И моя из деревни была... Хотя и грешен, засвидетельствую... Изменял. Потому как здоровому мужику одной бабы мало. Приходилось побираться».

Обозвался звонок.

— Открой, — попросил Хоменок.

Володька молча открыл. Вошла Катерина Ивановна, она живет на первом этаже, поздоровалась и сказала:

— Вижу, что товарищ корреспондент заходит к тебе, Степан Данилович, а он же мне обещал помочь в одном ответственном деле...

Володька удивился: «Обещал? Когда? Что?»

Выручила сама Катерина Ивановна:

— Вчера. Или вы забыли, а?

Вчера? Если вчера, то мог не запомнить. Однако Володька быстро сориентировался, сделал страдальческое лицо, даже надвинул на голову шляпу — не ту, конечно, что купил в Прибалтике, та износилась давным-давно, однако не худшую:

— Нет, почему же? Говорите... Слушаю... Напомните, пожалуйста, просьбу... И, пожалуйста, излагайте свою просьбу кратко, сжато, тороплюсь на службу. Делать репортаж. С первым...

Хоменок знал про хобби Володьки. Если одни собирают значки и марки, коллекционируют авторучки или вышивают крестиком, то он помогает людям разрешать какие-то важные и насущные вопросы. Всегда куда-то торопится, всегда кому-то что-то обещает. Гонорар тот же — выпить и закусить. Такса — под завязку. Особенно урожайными выдаются те летние дни, когда поступают парни и девушки в университет, и хоть Володька учился в Минске, он обещает через своих знакомых устроить в местный главный вуз едва ли не на любой факультет каждого жаждущего. Лишь бы стимул был. А на то время он берет законный отпуск и тогда с утра топчется вместе с родителями абитуриентов около университета, поддерживает тех духовно и морально, и когда сын или дочь успешно проходят испытания, это дело хорошо обмывается. Когда же ситуация провальная, Володька костерит всех и вся. Достается тем людям, которые Володьке, конечно же, ничего не обещали, ведь он к ним никогда и не обращался, а действовал бесшабашно, по принципу: поступит — хорошо, нет — на нет и беды нет. Кто-то же все равно поступит... И тогда, даже если пальцем не пошевелил, будет тебе хороший магарыч. Никуда не денутся. Еще, возможно, и с наваром. Попробуй докажи, что это не ты помог.

— Так слушаю вашу просьбу, — заерзал на табуретке Володька, — поскольку, напоминаю, мало времени. В обрез.

Катерина Ивановна вздохнула, поправила платок на такой же белой, как и сам платок, голове, посмотрела на свободную табуретку, осторожно села. Володька догадался: она так сразу не отпустит, и вообще, старых людей в этом плане он побаивался — как начнут рассказывать, или, другими словами, тянуть кота за хвост, о том, что волнует, и дня не хватит. Припоминают все до каждой мелочи. И как только не пересыхает у них во рту! Другой раз обыкновенная чепуха, чисто бытовая история, которая имеет интерес только для самого рассказчика, не более, но они же — нет, чуть не падая на колени, молят озвучить всю их исповедь на всю область. Чудаки, одним словом, просто наивные люди, эти старухи и старики. Так не дети же.

Володька опять посмотрел на часы и понял: и выслушать не успеет настырную соседку Хоменка, и не вернется вовремя с... политзанятий. И он, всегда находчивый и в чем-то авантюрист по характеру, предварительно подкусив верхнюю губу и немного подумав, установил перед теткой магнитофон, настроил его, показал, на какую кнопку нажать, когда она до конца расскажет то, что хочет. Сам же сослался на занятость, ему некогда, надо срочно делать интервью с самим первым секретарем обкома партии. «Магнитофон возьму у Рыдкина». Если Володька не придет к нему сегодня в строго назначенное время, тот может запросто дать тягу в Белокаменную. Интервью с нетерпением ждут на радио. Если, разумеется, верить ему. И дать то интервью этот самый первый согласился только Володьке, ведь с ним он, если опять же верить Володьке, даже брал когда-то чарку. Тогда будущий первый управлял всем комсомолом республики, а он учился в партийной школе...

— И сразу — щелк вот на эту кнопку, — задерживая дыхание по понятной причине, объяснил Володька Катерине Ивановне и перевел взгляд на Хоменка. — Данилович, не смотри в окно — смотри сюда: остаешься за главного над магнитофоном. Запишешь.

— Включай и беги, — махнул костлявой рукой Хоменок. — Как-нибудь справимся.

— А я сразу, как освобожусь, сюда... — И Володька закрыл за собой дверь.

В магнитофоне светился огонек, бежала под стеклышком лента, он слегка потрескивал и попискивал, и женщина, до этого энергичная и бойкая, вдруг растерялась, почувствовала, что не может промолвить ни единого слова. И куда они задевались, слова те? Хотелось много о чем сказать, а, вишь ты, не получается. Словно проглотила их все — до последнего. Поспешил на выручку Хоменок:

— Про урну хотела?

— И про нее, а как же!.. Это чтобы мне раньше кто сказал, что у меня такой внук вырастет, положила б голову на рельсы. Я же ему и учиться помогаю... Данилович, где тут кнопка? Выключи холеру эту, выключи!.. Тебе одному расскажу, и мне хватит. А то и правда, корреспондент твой раструбит на всю и вся, тогда мне и пройти по городу не дадут. Ну, скажут, Катерина Ивановна, ты и обнажилась на весь белый свет. Надо ли про это так публично? Не все поймут меня, не все. Ага, вот она, та кнопка... Сама выключу, сама. Сиди уже. Выключила, кажись... — Повисла опять пауза, как и перед тем, когда она собиралась наговаривать на магнитофон свою исповедь.

— Слушаю, Ивановна...

— Во рту пересохло.

— Тебе что, вина предложить? Моя Дуся другой раз позволяла себе. Не много, а так... лизнет языком и повеселеет. Особенно когда хворала. Не хотела умирать... Так и говорила: «Не хочу, Хоменок, уходить. Жила бы еще. На улице красиво». Ну, ну, говори, соседка...

Катерина Ивановна, наверное, на определенное время и сама забыла про свое горе, припомнила и она жену Хоменка, с которой не сказать чтобы была в хороших отношениях, однако при встрече здоровались, а другой раз и на скамейке перед подъездом сидели вместе, на солнышке грелись, как воробушки те, про жизнь судачили. Дела соседские, конечно же. Говорить? А про что? Ага! Про внука. Про него, паршивца. А может, и Хоменку не надо знать обо всем этом? То ж — личное... Но все же знают в доме, это не скроешь, что урна с прахом мужа уже полгода стоит в крематории где-то под Минском, а забрать некому. Внук, Колька, всячески уклоняется: то ему некогда, то ему еще какая дребедень. А больше и некому съездить за урной. Дочь живет в России, далеко, обещала показаться когда-нибудь, но обещанного, как известно, три года ждут... Сына похоронила за год до смерти мужа. И надо же было ему, Николаю, давать завет, чтобы обязательно сожгли. Не побоялся. Похоронили бы, как нормальных людей, а он и здесь отличиться захотел: «Меня — через крематорий! Когда не выполнишь, Катерина, последнюю мою просьбу, я там встречу!.. Не спрячешься!.. Около входных дверей буду стоять и дожидаться!..» И поперли Николая в столицу. Растраты одни. А пользы? Приплюсовать перевозку надо, хоть здесь и военкомат немного подсобил, грешно говорить, дорогу назад да за сам крематорий оплатили. Ну, и что получилось? Лежит Николай теперь кучкой золы в железной коробке и никому не нужный. Если бы поближе был, то забрала бы и прикопала. А сама Катерина Ивановна уже не ездок в тот Минск: неблизкий свет. Надо было тогда дождаться, так не подумали — очередь была в том крематории большая, и сколько б ждать довелось — неизвестно. Сутки, двое?..

— Володька рассказывал, что ездил в село на похороны народного поэта. Известный поэт. С орденами и званиями. И ты слышала о нем не раз, даже в школе, кажется, проходили... Вот, из головы вылетела фамилия... Кажется мне, про хлеб он написал насущный. Знала такого? — Он назвал фамилию, хотя и не был уверен, что правильно, поднял глаза на женщину, та кивнула: а как же. — В Минске что-то надо было ему, а тут — похороны. Случайно на них оказался. Предложили ему или сам затесался. Его, значит, поэта того, — в гробу блестящем таком, с ручками позолоченными,

белом, как игрушка, хоронили... А жена у него умерла не на полгода ли раньше, так ее также сожгли, как Николая твоего, в том самом крематории, наверное же. И вот он урну ту держал в квартире все время, и ее прямо на кладбище поставили сбоку... в гроб-то. Его не жгли... Видно, не просил?

— Я б не смогла, чтобы урна дома стояла, — печально посмотрела на Хоменка женщина. — Мужество надо иметь. Молодец поэт. У него было...

Хоменок подначил женщину, сам не понимая для чего:

— Не мужество — любовь.

— Может быть.

Про Катерину Ивановну Хоменок знал, может, даже и больше, чем она собиралась рассказать ему сама о себе. У сына болело сердце, похоронила его. Николай был подполковником в отставке, и когда умер, то она захотела похоронить его рядом с сыном, однако невестка заупрямилась: «А я куда лягу? Разогналась!..» И еще сказала, что с сегодняшнего дня свекровь ей никто, чтобы та больше никогда не напоминала о себе. «У тебя дочь есть». А что внук есть, Колька, про это ни слова.

— Тот раз пошла просить внука, чтобы съездил урну забрал, а они мне и дверь не открыли. Послала невестка куда надо. Матом. А что я могу с ней поделать, когда ее брат, знаете, где работает? В райкоме партии. Главным. Соли на хвост не сыпнешь. Заступится, как же!.. Одна кровь. А когда шла по улице, то кто-то меня из-за угла толкнул... не помню даже — как. Света белого перед собой не видела. Очухалась в больнице, челюсть словно чужая, нос распух, губы — как цедилки... Головы не повернуть. И смешно, и грешно... Оказывается, меня милиция подобрала. Без памяти была. А я и не помню, что без памяти... Во так умрешь и знать не будешь, Господи!... Позже приходит ко мне милиционер, на второй день, кажется, расспрашивает, как было и что, — протокол составляет... На кого, говорит, думаете сами, Катерина Ивановна? Внимательный такой, молоденький милиционерик: не испортился еще, сразу видать, ага. А на кого я думаю? На бандитов! А он на внука, и только на него, тень бросает... Нет, говорю, мой Колька на такое не способный! Что вы! Шибко, говорит, вы внука своего знаете. Только внук, говорит, и точка. Пишите заявление. Слыхал? Это чтобы я, баба родная, писала на него, на внученька своего, донос, клевету? Теперь я, правда, не помогаю ему учиться. Послушай, сосед, а может, мне твоего корреспондента попросить, чтобы урну привез? Он же бывает в Минске.

Слышала как-то, говорил... А, Данилович? Посоветуй, родненький. А больше и не к кому обратиться... все свои чужими стали...

Хоменок ощутил внутри какую-то тяжелую, невыносимую боль, поднял глаза на соседку, не сдержал упорно томившую его злобу:

— Не умеем, Ивановна, мы жить. Косо... вкривь ли... а какая, к чертям, разница, как мы лямку тянем!.. Другой раз и я начинаю все чаще и чаще задумываться над смыслом жизни. Ловлю тот смысл. Со всех сторон его оцениваю. Кругом одни потери, находок — так тех меньше, с гулькин нос!.. А хочется набраться наглости и заявить, чтобы услышали все: давайте, родненькие... спасибо за слово, Ивановна, я и подзабыл его, слово-то это... давайте будем жить на земле так, чтобы не было стыдно за нас отцам, матерям, женам... да и детям, как видим, что лежат... да-да, что лежат в гробах... на кладбищах. Что, не услышат они, думаешь, нас?

Катерина Ивановна ничего не ответила, только глубоко вздохнула, передернула плечами:

— Так ведь если бы...

— Володька, Катерина, найдет тебе такую урну быстро... побыстрее, чем ты думаешь, тютелька в тютельку такую, у нас здесь где-нибудь за углом и принесет. За магарыч. И что ты похоронишь, сама знать не будешь. Песок или золу из обыкновенной печки. Шелестит там нечто в середке — и ладно. Володька — не промах. А ты потом всю оставшуюся жизнь себя казнить будешь за такой шаг. Так что лучше дождись уж дочери...

Когда Володька вернулся, Катерины Ивановны уже не было. Хоменок смотрел в свое окно, он даже не повернулся, когда тот переступил порог. Володька похвастался, что интервью сделано на самом высоком уровне, завтра утром пойдет в эфир. Это хозяина квартиры мало интересовало. Его более заинтересовало, что какой-то негодяй нацарапал гвоздем на стене около его входной двери грязные слова. Хоть Володька, сообщив ему про такое писание, и заливался смехом, Хоменок не слышал его. Он спросил вслух, тихо, озабоченно, без фальши в голосе:

— Как завтра жить будете?

У кого спросил, Хоменок и сам не знал. Просто спросил. Но говорят же, и стены иногда слышат. Может, на это старик и рассчитывал. Тем более, что голос у него был с претензией услышать ответ. На что Володька ему заметил с каким-то пессимизмом, что ли, в голосе, даже с нескрываемым сарказмом:

— А ты, Данилович, окно настежь распахни — и спроси, чтобы все слышали. У народа. Один человек ничего про жизнь не знает, а

все разом когда — такие знатоки, такие умники, где там!.. Спроси в окно. Ну, смелее, смелее, не будь трусом!.. Может, как раз будет проезжать внизу Вулах, мой друг, из психушки, он доктором там работает, то и он услышит. Бесплатно прокатишься в «скорой помощи». А если еще и я хорошенько попрошу, то и сирену включат парни в белых халатах. По блату. Вот будет форсу!..

Хоменок ничего не ответил, однако окно все же распахнул. Настежь. «Твоя воля, Володька. Только сегодня я и тебе ничего не скажу. Вишь ты, чего захотел. В окно ему крикни. В окно не кричать надо, в окно смотреть мне суждено всю оставшуюся жизнь, пожалуй. На белый свет смотреть. И на Дом коммуны. Весьма удобно. Как на капитанском мостике все равно».

Позже вслух он все же сказал:

— А теперь бери свою технику и отчаливай ночевать домой, а то, в самом деле, жена пожалуется в парторганизацию. Давай, давай, Володька. Я не гоню, но и меру знать надо. Да и добра тебе желаю. Хороший ты человек, хоть и баламут большой…

Но не только Дом коммуны был причиной того, что Хоменок сидел перед окном как привязанный...

Раздел 2. Митинг: эхо Москвы

Светло-бежевая «Волга» Григория Николаевича Заболотнева резко сбавила скорость, затем катилась по асфальту на удивление тихо, а вскоре председатель областного Совета попросил водителя остановиться. «Погоди, погоди!..» Из салона выбираться не стал, какое-то время смотрел на людей, которые собирались на площади Ленина: людской поток тянулся сюда со всех улиц, словно неслись стремительные весенние ручейки в Сож. Заболотнев успел прочесть на некоторых транспарантах и плакатах-растяжках, поднятых над головами демонстрантов с какой-то агрессивностью и решительностью, призывы, чтобы парткомы убирались с заводов, дескать, хватит народу молчать, пора быть хозяином на земле... Как все это хорошо знакомо с прошлых, не таких, однако, уже и далеких времен! Но, если откровенно признаться, это не столько удивило его, руководителя области, сколько насторожило. Свои, казалось бы, люди, откровенные, простые, с ними встречался он не раз в трудовых коллективах — больше в цехах, у станков, меньше — в своем кабинете, это и понятно: власть должна всегда быть там, где ее ждут. И не просто ждут, а с полезным и конкретным советом, обоснованным и единственно верным решением, а если надо, то и с

твердой позицией, направленной на улучшение, в конечном итоге, их жизни. Но в то, что эти люди по первому призыву демократов — как именует себя кучка проворных людей, — вот так бросятся на площадь на слом головы — он не поверил бы. Значит, ошибался. А это большой минус тебе, председатель. Что ж, надо, как говорят, век учиться... Но и умирать же еще рано!.. Не время. И пока он обо всем этом думал, какой-то мужчина, не придерживая шага, сунул ему в окошко листок, на котором успел Заболотнев выхватить заголовок: «Обращение к жителям города...» Ишь ты, уже и обращения пошли в ход! Ну, ну.

Настроение, конечно, было не из лучших. Хорошо вот так выйти на площадь, взять в руки микрофон и сказать: «Граждане! Мы призываем вас и дальше идти путем демократии, несмотря на все трудности, какие у нас есть и какие, несомненно, еще будут». А что дальше? Дальше — что? Ну, покричали, показали себя, в грудь постучали, в барабаны побили. Так каждый бы смог. А ты вот приди в кабинет, возьми в руки телеграммы и шифровки, прочти их и прими решение. Как руководитель области. Партии, можно сказать, уже нет: первый секретарь обкома Заплыкин совсем не показывается, говорят, будто бы собирается обратно в Москву.

Как получилось, так получилось: только доверили коммунисты ему эту должность, не успел обжиться в своем рабочем кабинете, а все повернулось таким образом, что он, Заплыкин, стал не нужен ни области, ни республике, хотя когда-то занимал пост первого секретаря ЦК ЛКСМБ. Высота. Был на виду, в центре жизни республики. Предлагали ему, правда, место начальника отдела кадров в производственном объединении «Нефтепровод “Дружба”», но он, говорят, корректно, интеллигентно поблагодарил за такое высокое доверие и кивнул головой в сторону Москвы... В ту, кстати, сторону, откуда и докатилось игривым эхом несколько дней назад сенсационное сообщение о каком-то ГКЧП (государственный комитет по чрезвычайному положению, так надо понимать), а потом показали тех деятелей на телеэкранах, всех вместе за широким длинным столом, известных и не очень известных широкой общественности, а что запомнилось больше всего — у вице-президента СССР Янаева тряслись руки, как у алкоголика. И эти люди, подумалось тогда Заболотневу, хотят взять власть, управлять такой большой державой!.. Не сон ли это?

А потом показали Горбачева в Форосе, где тот отдыхал с семьей. Вроде бы под арестом. К нему летят переговорщики, возвращаются...

Вопрос о смене власти пока висит в воздухе, и неизвестно, что будет завтра, послезавтра... Да и сегодня, надо ли говорить: вон сколько их людей собрали разные ловкие деятели на митинг, выступают против тех гэкачепистов. А если вдруг они все же возьмут верх? Что тогда с ними, с этими бесноватыми агитаторами, будет?

Из Верховного Совета только что поступил приказ: поддержать ГКЧП, Горбачев — вчерашний день, сам виноват, что выпустил из рук вожжи.

Заболотнев вспомнил Александра Граховского, бывшего первого секретаря обкома партии, он совсем недавно умер. Тот оказался дальновидным: «Он заведет нас в тупик, Горбачев!.. Он все развалит. Вот увидите!» Так, по существу, и получается. Граховский как в воду глядел, а когда поблизости никого не было из чужих, и поматерит генсека, остро и откровенно. Доставалось. Однако слышал ли он, Михаил Сергеевич? Если бы! А руководителя партийной организации области не стало: сердце. Может, и Чернобыль? Может, и Горбачев? Может, они оба положили человека в гроб. Не вернешь. Но если бы сегодня Граховский глянул, что делается вокруг, не очнулся бы — это точно.

А потоки людей все накатывали и накатывали на площадь. Когда-то здесь, где стоит светло-бежевая «Волга» председателя облсовета, было все чуточку иначе, Заболотнев об этом знал. Площадь, которая сегодня носит имя Ленина, стала такой площадью только в конце пятидесятых годов — раньше она называлась и Базарной, и Соборной (в результате строительства неподалеку на высоком речном берегу Петропавловского собора в 1824 году), и Советской... Тогда же, в конце пятидесятых годов, был поставлен и памятник Ленину. Вон он, перед глазами, высокий и величавый. Хоть бы бровью повел. Лишь смотрит на драматический театр, мол, не тревожьте меня, дайте самолюбие усладить, а его бы должен волновать сегодня совсем другой театр, тот, что под открытым небом. И в коем он когда-то изобретал свою систему Станиславского — его система, правда, решительно отличалась, она требовала практических жестов и движений, а не тихих иллюзорных бравад при создании мизансцен.

Хорошо ему, памятнику.

Направляясь сюда, на площадь, Заболотнев только что миновал Мохов переезд, его знает любой горожанин. Ну, Мохов и Мохов. А кто он такой, тот человек? Чем отличился? По какой причине чтят? Наблюдая за демонстрантами, Заболотнев почему-то подумал о том простом городском кузнеце, домик которого стоял у железнодорожного переезда до середины прошлого века — потом стал неудобен, его снесли. Как-то Заболотнев опросил многих жителей, от школьного

возраста и старше, и ужаснулся: мы же не знаем историю, не знаем тех людей, именами которых названы наши улицы! Они ведь заложили для нас вот этот же фундамент, на котором стоим!.. А для чего же тогда берем в руки плакаты-транспаранты, чего добиваемся? Странно было бы прочесть над головами тех азартных горожан: «Помните и уважайте графа Румянцева, этот город — его!», «Слава создателю парка графу Паскевичу!», «Не забывайте героев войны Катунина и Ефремова!», «Построим новый стадион и создадим классную футбольную команду!», «Наладим пошив костюмов на «Коминтерне», чтобы в них щеголяли руководители страны!»

Однако же людей волновало совсем не это. Тогда что же?

На площади тем временем выступал народный депутат Тамбовцев, он, если верить его словам, сам был в шеренгах защитников Белого дома и только что вернулся из Москвы. Голос его звучал убедительно и громко:

— В стране произошел военно-коммунистический переворот, поддержки которому не будет! Все это напоминает август 1968 года, когда мой отец на броне танка ехал в Прагу. Чем это закончилось для чехов и словаков — мы знаем: еще двадцатью годами угнетения и ожидания. И не была ли уготовлена нам такая судьба? Партия никогда не сдаст без боя кнут и вожжи!.. Друзья, помните: срезана только верхушка хунты, густая сеть корней продолжает жить, множиться и исполнять свою роль шлагбаума на пути прогресса и демократических реформ!

Григорий Заболотнев, стараясь проявлять, как и раньше, спокойствие и уравновешенность, шепнул водителю ехать в облисполком. А сам хмурил лоб: «Никому не нужные страсти, и не более того. Легко им, этим говорунам. И я бы мог выйти, погорланить, но мне — нельзя, хоть и сам понимаю, что делаю не все так, как подсказывает сердце. Или — интуиция, она, кстати, есть у каждого человека, но тот просто не всегда ею пользуется. Да, да, правильно: делаю то, что приказывают сверху. А куда денешься? Куда?.. Выше головы, как говорят, не прыгнешь. У толпы больше прав и никаких обязанностей. Им можно позавидовать. Только вот надолго ли?»

Спозаранку, как только началась вся эта вот неразбериха, Александру Димитрадзе вызвали в областной Совет. Откровенного разговора не получилось, женщина была принципиально непоколебимой: «Я должна быть с народом». Ну, иди. Шагай. Твоя воля. Что с ней можно было сделать в то время? А ничего! Она — как легонькая птичка: на какую ветку захочет, на ту и сядет. Не подчинилась. Потому городской Совет не поддерживает гэкачепистов, видит в них

тех, кто подготовил для инакомыслящих наручники. Смелые люди, ничего не скажешь!.. И принципиально не исполняет распоряжения областного Совета. Нонсенс? Но это так. И, самое интересное, он, Заболотнев, ничего не может сделать. Стена. Ни взад ни вперед. Более того — городской Совет пробует подчинить себе областной, дает свои указания, советует, как им надо действовать. Не мания ли величия?!.. Учит и требует ответа на многие вопросы. Строго и нагло. Сверх всякой меры. Критикует в городской газете руководителя области. До чего докатились, братцы! Он же, Заболотнев, буквально оказался между молотом и наковальней. Хотя хорошо понимает, что делает не так, как надо: необходимо было все же и ему занять твердую позицию в отношении к гэкачепистам: не признавать — и точка! Кто вы такие, парни? Вы же нарушили Конституцию, совершили, по сути, государственный переворот! И вот этих людей ему надо было поддержать. И что было бы тогда в области? Он не мог ответить на этот вопрос. Ни себе, ни другим!.. Становилось просто жутко.

Накануне позвонил редактор областной газеты Пазько: так что делать будем, Григорий Николаевич? Поддерживаем гэкачепистов? «Поддерживаем!» Сотрудники редакции дружно и энергично — как и во время любой кампании, даже посевной, — начали организовывать отклики на события в Москве, отклики же, конечно, в поддержку путчистов. А потом люди, фамилии которых стояли на страницах областной газеты под такими заметками, давали опровержения на страницах городской, что они, дескать, такого не говорили, это все придумали корреспонденты. Тут же журналистка Сладкая признается: действительно, это все написала я, простите-извините...

На следующий день ситуация ненамного прояснилась. Верховный Совет хранил молчание, или, точнее сказать, держал паузу. Паузу — политическую. Была установка — поддержать гэкачепистов... Однако не слишком жесткая, у тех, кто давал ее, голос также, чувствовалось, малость дрожал. Заболотнев понимал: все мы — живые люди, под Богом ходим. Да, да. И если, не дай Господь, ничего у тех, кто с трясущимися руками суетились на телеэкранах, не получится, — что тогда? Можно представить было... А городской Совет, вишь ты, сразу смело выступил против гэкачепистов! Откуда такая интуиция, прозорливость, уверенность, в конце концов?! Позавидуешь, честное слово! Хотя, если брать по большому счету, не верил и он, Заболотнев, что у тех что-то получится, ведь как-то на скорую руку, неподготовленно все это выглядит. Аврально. Имел, как оказалось, смекалку его заместитель Валентин Сельцов, когда говорил: «Между гэкачепистами и Горбачевым вклинится какая-то третья сила,

она и возьмет власть». Этого оставалось ждать недолго — уже вечером электронные средства массовой информации донесли до всех, что танки расстреляли из орудий Белый дом, а на одном из них стоял Ельцин и благодарил всех за поддержку. Позже гэкачепистов арестовали, а один из них, Пуго, застрелил сперва жену, а потом и себя.

Ну, и что же теперь? Горсоветовцы праздновали победу: они, как показало время, оказались наиболее прозорливыми и теперь могли диктовать, как ни странно, свои условия. Что и делали. Выбрали председателем Димитрадзе, до этого она исполняла лишь обязанности. Ее кандидатура при партийном руководстве не поддерживалась, но зато теперь проходила без всяких препятствий — тем более, что она, прервав отдых в Калининграде, вернулась в город в самое горячее время и была в центре бурливой жизни, авторитет ее сразу прыгнул вверх. Встретили — как Ленина в семнадцатом на Финляндском вокзале, — овациями и рукоплесканиями. Не было только броневика и стрельбы в серое и тусклое небо.

Постепенно жизнь налаживалась, хоть трения между областными и городскими властями продолжались. Заболотнева могла смело покритиковать городская газета, областная же — в свою очередь — пощипывала Димитрадзе. Григорий Николаевич не знал, как воспринимает всю эту критику женщина, но он брал особенно близко все к сердцу, хоть и старался, украдкой от людей и своих семейных, не показывать вида: терзала бессонница, а когда и закрывал глаза, то видел всегда только страшные, почти жуткие сны, от которых сразу же просыпался, шел на кухню и ставил на плиту чайник. Потом пил кофе, а в голову лезла сама разная ересь, иначе не скажешь, и чтобы как-то забыться, Заболотнев вспоминал маму, она жила у сестры в Друцке — как раз в том городе, где он был первым секретарем райкома партии, а до этого работал инженером в болотнянском колхозе. То было, возможно, самое счастливое время. Молодой, здоровый, не отягощенный многими обязанностями, что легли позже на его плечи. Высокий, худощавый, всегда благоразумный и энергичный — таким он оставался и теперь. Ходил по колхозным полям и деревенским улицам широко и размашисто — ветер, казалось, рядом свистел. Но, чувствует, здоровье не то, что раньше: об этом знают только доктора да сам. Даже жене своей Светлане, красивой и не менее самостоятельной, чем сам, не считал нужным признаться, что иной раз начинают напоминать о себе почки. Когда у человека ничего не болит — он и не думает, что может когда-то и что-то его потревожить. А только начнет, сразу вспоминаешь, что есть такая наука, как анатомия. Да что наука —

есть ты, живой человек, довольно сложный и противоречивый механизм, который требует регулярного присмотра, отдыха и, конечно же, профилактики. Только не такой профилактики, что обрушилась на него в последние дни...

А в общем, интересно сложилась у него жизнь. Родился в Германии, где служил в армии после войны отец. Вернулись на родину, родители стали жить в Старой Алешне, рядом с Болотней, центральной усадьбой колхоза. Там он закончил школу, туда вернулся после окончания института народного хозяйства. Работал в обкоме комсомола, председателем колхоза, председателем райисполкома, был первым в своем районе, заведовал отделом сельского хозяйства в ЦК КПБ. Кажется, все? Из Минска вернулся на малую родину на должность председателя областного Совета. И вот теперь получай, почтенный, по шапке. Когда есть голова, а на ней — ого-о какая шапка, то и слепой не промахнется! — может дать так, что и врагу не пожелаешь. Это он понял в те августовские дни девяносто первого года двадцатого столетия...

Хотя, если брать по большом счету, то эти митингующие наделали много шума, и не более. Ну, в Москве захват власти. А при чем здесь Гомель? Было же тихо-мирно, может, и действительно надо было переждать, не суетиться, а узнать, как там разрешится вопрос. А не создавать тот бедлам с митингами, с газетными призывами... Тем более что все решается не здесь, в их городе, даже не в Минске... Кто об это не знает? Депутат Тамбовцев? Еще бы! Человек образованный, казалось бы, кандидат наук, ученый, а лезет на трибуну. Зачем? Да возьми спроси у него, Тамбовцева, зачем, откровенно не ответит, а только, наверно, сам подумает: «А каждый, господин Заболотнев, жить хочет!.. И хочет хорошо жить!..» Стара, как и этот мир, истина. Но те же люди, что пришли на митинг, будут ли от этого жить лучше? Вряд ли. Будет тот, кто кричит, кто подстрекает к насилию. Он знает, что делает. А станет... ну хоть бы и председателем областного Совета — вообразим такое — на второй же день сам будет наблюдать из салона легковушки за тем, что делается на площади, и не решится подойти к митингующим. Да и надо ли его за это критиковать? Обыкновенный демарш оппозиции. Жизнь — весы, и на какой половине тебе суждено стоять, на той и будешь, ведь сразу на две чашечки весов не станешь. Как не сядешь на два стула. Здесь хоть бы на одном усидеть. Вон опять депутаты горсовета требуют освободить его от должности. Так и пишут в городской газете. Будто бы за поддержку гэкачепистов. И они имеют для этого все основания, не воспротивишься: что было, то было. Не будешь же

каждому из них объяснять — почему он поступал именно так, а не этак. Опускаться до такого нельзя. Тем более, что те и сами все знают до мелочей — не хуже его, не глупые же люди. Надо еще помнить, что ты и мужчина, к тому же!... Есть, в конце концов, диплом инженера, есть руки, можно и простым шофером работать. Другой раз, если откровенно, он и завидовал своему водителю Валику: куда скажешь, туда и поедет. Ему даже не надо думать, куда ехать. Заболотнев должен думать. За Валика и за всю область. А Валик книги читает и спит. И всех забот тебе. Это же он как-то сказал писателю Данилову: «Машину надо водить самому, чтобы быть независимым, свободным... Я вот к тестю в Горки сам езжу. Прекрасно. И никаких проблем». Писатель согласился, но сослался на профессиональную рассеянность: ему, дескать, лучше сидеть сбоку и наблюдать, как управляет легковушкой сын.

Самое трудное испытание ждало Заболотнева впереди — внеочередная сессия областного Совета народных депутатов, на ней предстояло некоторым депутатам, в том числе и ему самому, дать задний ход — осудить гэкачепистов. Будут, будут упреки, к этому надо готовиться, ничего не поделаешь. Возможно, поступит предложение, а предпосылки к этому были и есть, проголосовать за то, чтобы отправить Заболотнева и его заместителя Сельцова в отставку. Жди чего хочешь, но существует святое правило — думай всегда о самом худшем, а когда получится все хорошо, то можно и поблагодарить судьбу, что она не обошлась с тобой так жестко и несправедливо.

Как и ожидалось, сессия проходила бурно, даже агрессивно. Со стороны некоторых депутатов агрессия напоминала обыкновенную ярко выраженную враждебность к поддержавшим гэкачепистов: бить так бить, терзать так терзать. Заболотнев не ошибся: звучали предложения отправить и его в отставку, Сельцова не трогали, по-видимому, считали, что во всем виновен только он один — и это, надо признать, справедливо: последнее слово всегда было за ним, Заболотневым. Но Сельцов, а сессию вел именно он, был хорошим дипломатам, поэтому он повернул весь ход заседания так, что депутаты постепенно начали забывать, зачем они собрались в просторном зале заседаний облисполкома. Он смог убедить их, что виноваты не они, руководители области, виноваты там, повыше... Так что, друзья, давайте думать и решать, как жить нам дальше. И хоть звучали призывы не осуждать гэкачепистов, приняли ту резолюцию, которую готовил сам Сельцов: осудить! И большинством голосов — осудили.

Это поспособствовало стабилизации жизни в городе и области.

Как всегда, Сельцов припомнил на сессии несколько баек, умело вставил их, что, несомненно, повеселило депутатов, приподняло тем настроение. «Им прикажи сеять лебеду — она не будет расти! А так, сама по себе, растет!» Тому, кто говорил долго и не совсем по сути, не перебивая, а, словно между прочим, корректно, чтобы не обидеть выступающего, напоминал, что батька Махно застрелил начальника станции Жмеринка за длинный тост... Это действовало безошибочно, никто не обижался, а принимал к исполнению: заканчивал речь или говорил по существу.

Да, Сельцов, владел даром держать аудиторию, этого у него не отнять, мог подчинить ее себе, что еще раз подтвердила и внеочередная сессия, на которой оппозиция надеялась поднять свой авторитет. Не получилось. Или почти не получилось...

Вернувшись в кабинет, Заболотнев узнал, что Президент СССР М. С. Горбачев издал Указ «Об имуществе Коммунистической партии Советского Союза», а наиболее активные депутаты горсовета уже опечатали важные объекты, принадлежавшие обкому партии: само здание обкома, издательство, гаражи, жилой фонд, архив, гостиницу...

Заплыкин, говорят, плюнул на все и уехал в Москву: там ему будто бы предложили хорошую должность в самой мэрии Белокаменной.

Мог бы зайти, попрощаться с Заболотневым. Не зашел. Ну, а он за что обиделся?

Это так и осталось для Григория Николаевича загадкой...

Раздел 3. Бог вас видит

Володька сидел на табуретке, иногда, казалось, сам того не замечая, чесал пальцем за ухом, шмыгал носом и то и дело чихал, со свистом в бронхах, поэтому складывалось впечатление, что он мог подавиться теми словами, какими сыпал в сторону Хоменка:

— Бобыля помнишь? Помнишь. Был секретарем по идеологии. В Афган посылали советником... ну как же: советник от страны советов. Хотели генерала ему дать, лампасы и звездочки золотистые, а он: зачем мне ваша форма, что с ней делать буду, где щеголять? Вот если бы пораньше, в молодые годы, тогда бы хоть девки гужем вились. А теперь — не надо. А как партию распустили, какая, думаешь, пенсия у Бобыля? Правильно: не генеральская. Если бы была генеральская, на дачу с тачкой не ездил бы ежедневно. Генеральская кому-то другому досталась, надо понимать, свято место

пусто не бывает, а ты, если такой умник, сиди на обкомовской. Тоже, видимо, ничего пенсия, но гораздо поскромнее, согласись и не возражай мне, Данилович. Он теперь требует: дайте мне генеральское звание! А кто даст? Тебя ЦК отправлял в Афган? ЦК. У него и вымаливай генеральство. Х-ха-ха-а! А где партия сегодня? Нет! Вот хохма будет, когда и эту пенсию заберут, а дадут, как моему деду, — колхозную.

Хоменок нахмурился:

— Понесло, понесло!.. А ты отчего радуешься? Из твоего кармана разве?

— Что в моем кармане, ты знаешь, Данилович. А партия сама, только сама виновата, что так получилось, а не иначе. Все время меня терзали, дергали, хотели разобрать на партийном собрании, перца подсыпать. На крючке держали, как карася какого!.. Тьфу!.. И плюнуть нечем. Второй день не пью. Нинка, холера, жаловалась. Не подсыпят! Ага-а! Одного только жалко: диплом партийной школы коту под хвост.

— Отчего ж? — не согласился Данилович. — Науку, как и хлеб, не тяжело носить: она сама себя носит. В умной голове всегда места хватит. Не скажи, не скажи: твоя грамоть, Володька, дает тебе нямать. Только ты большой раскидон, вижу. Когда у тебя есть деньги, готов каждому совать их, даже неизвестному, первому встречному. Для того надо только сто грамм выпить. А на следующий день сам просишь на опохмелку. Разве не так? Так. Возьми себя в руки. Хотя я и понимаю, что каким родился, таким и умрешь... тяжело переделать себя. Вижу, и ты согласен. Коль молчишь, не отбиваешься. Ну, так что там слышно, в городе? Больше не митингуют?

— Нет, успокоились. На площади один Ильич стоит. Город работает, учится, любит, ненавидит... Одним словом, тихо. А что, скажешь, я был не прав, когда дал интервью со вторым секретарем обкома? А мне — выговор! Мне-то что!.. И начальство, наверно, не погладят по головке. Ему, начальству, икнется и аукнется. Ситуацию, я считаю, надо освещать, как она есть. Честно. Достоверно. И никаких гвоздей!..

Хоменок усмехнулся:

— Тебя, Володька, кто кормит?

— Как — кто? — решительно нацелил на того глаза корреспондент. — Сам ем, елки-палки! Зарабатываю, как-никак!

— Это-то да. Справедливо. Зарабатываешь. Но ваш брат, ежели полистать историю, всегда служил власти. Все крупные художники, вспомни Микеланджело, Леонардо да Винчи, композитора Моцарта...

Все они хотели быть государственными художниками, все они работали на заказ.

Услышав фамилии этих известных людей, Володька не на шутку растерялся: он смотрел на старика и только моргал глазами, не находя, что ему ответить. «Где это он и когда нахватался всего этого? Неужели оттуда, с Севера? Столько лет прошло, а гляди ты! Ну и память!..» Однако промолчал, ничего не сказал, только почему-то представил Хоменка в библиотеке, будто бы тот сидит в черной робе за столом и листает книги, рассматривает портреты Микеланджело, Леонардо да Винчи, Моцарта... Чтобы вот теперь, через много лет напомнить про них ему, Володьке. Не чихнет зря дед!

— Будет и дальше Горбачев — будешь служкой у него, закрепились бы у руля гэкачеписты — плясал бы под их дудку, — продолжал Хоменок. — И никуда не денешься, демократ ты или партократ, или еще кто. Собака служит верно только своему хозяину. За что и уважаю собаку, если честно сказать тебе!..

— Ну-ну! — угрожающе посмотрел на Хоменка Володька. — Подбирай слова. Собака-а!.. Сравнения у тебя!..

— Давай твое интервью, что прошло по радио. За которое ты выговор получил. Давай послушаем. Или, может, по части выговора ты, как всегда, соврал?..

Володька молча нажал кнопку в магнитофоне, тот привычно зашумел, зашуршал, а потом прорезался голос корреспондента Володьки. Он задал вопрос собеседнику, тот молчит... Пауза. И Володька не выдержал, выключил магнитофон. Нервы, однако!..

— Нет настроения слушать ту болтовню... Не знаю... Надо осмыслить... Куда спешить?.. Мы пока не имеем точной информации... И если честно сказать, второй секретарь обкома партии не произвел впечатления — мямлил, запинался, как школьник, пришедший не подготовленным к уроку... И в общем, у меня пропало настроение...

— Прости, нечем поднять.

— И не надо. На вот, почитай... А ты говоришь, что партия не виновата. Почитай, почитай! «Городские ведомости» — единственная газета, из которой можно глотнуть хоть чуток свежего воздуха. Правды. Я редактора Гришку Андреевца хорошо знаю — вместе в цирке политинформации слушали. На. Держи.

Хоменок взял газету, что протянул ему Володька, поднес к глазам, а затем по слогам, словно школьник, начал читать — надо будет очки все же купить, не дело это:

— «КПСС не виновата! Она не поддерживала ГКЧП в дни путча, — там-сям еще можно услышать такое. Так ли это? Перед вами,

уважаемые читатели, две шифротелеграммы, конфискованные в секретном отделе обкома партии. Там точно, черным по белому сказано: 19 августа 1991 г. секретариат ЦК КПСС обращается к первым секретарям ЦК компартий союзных республик, крайкомов, обкомов партии принять меры по участию коммунистов в содействии Государственному Комитету по чрезвычайному положению в СССР. А секретарю ЦК КПСС О. Шенину этого показалось недостаточно, и он 20 августа направляет дополнительно еще одну шифротелеграмму, где просит информировать ЦК КПСС о принятых мерах по наведению порядка и дисциплины. Разумеется, в рамках действий ГКПЧ.

Что это, как не криминальный финал КПСС!..»

— Далее можешь не читать, и так все понятнее некуда! — посоветовал Володька. — И купи, Данилович, с пенсии очки. Дашь десятку, я подберу…

— Совпали, получается, мнения по очкам, — ответил Хоменок, а потом, подумав немного, твердо заявил:

— А я свой партбилет не отдам!..

— Ты не виноват... Я знаю, Данилович, тебя!..

— Если партию разогнали, значит, виноват и я, — не согласился Степан Данилович. — Взносы, значит, платить не надо? Так, получается?

— Наверно. Не вникал конкретно. Но разузнаю. А-а, про взносы. У нас в секретной части служил подполковник Дургарян, армянин. Беспартийный. Дома в копилку каждый месяц, сколько и служил, откладывал с получки три процента, которые платил бы, имея партийный билет, а по выходу на дембель купил за те деньги «Жигули». Как раз хватило. Так-то вот!..

— Ты бы все равно не собрал и не купил.

— Я — возможно, но не я один такой, — Володька чуть даже обиделся на Хоменка, ведь тот в последнее время, как он заметил, стал относиться к нему предвзято. — А Заплыкин дернул в Москву.

— Да слышал. Туда ему и дорога. Москва большая. Там всем места хватит.

— Не скажи, Данилович! Умный человек был! Голова!

— Что-то все они, если тебя послушать, такие умные, а партию ухайдакали. Как это так — взять и отдать власть? Такую власть!.. Выхватили из рук прямо средь белого дня и разрешения не спросили!.. Как окурок все равно. А те: нате, раз вам так прижучило. Управляйте. И надо же — совпадение, что и Дом коммуны развалился почти одновременно — как по договоренности. Строили светлую и свободную жизнь, а оно все сикось-накось получилось. Тьфу-у,

заразы! Сбегай, Володька, купи поллитровку, помянем партию, что ли, а?

— Давай — схожу, — протянул широкую, словно лопата, ладонь Володька.

Хоменок расщедрился, и Володька исчез за дверью, а сам он подсел поближе к окну, посмотрел, что творится на улице. А что там могло твориться? Дом коммуны как стоял, так и стоит с выдранными оконными рамами, а на заборе, коим обнесли его строители, кто-то нацарапал зеленой краской: «Бог вас видит». Скромно и точно. Может, и так. Может, и следит он, Бог, за каждым нашим шагом. Только как он один успевает за каждым?..

Степан Данилович, хоть и был партийным человеком, однако же не чуждался ничего земного, мог накуролесить, не придерживался строгих правил и других не наставлял, куда идти и что делать, что есть и пить. А позже начал все чаще и чаще поглядывать на небо — словно, действительно, хотел увидеть там Бога...

Иногда, а в последнее время все чаще и чаще, у него перед глазами проносилось прошлое — пестрело синью холодное северное море, колыхались и стонали в пучине грозные волны...

...Их подводная лодка попала тогда в непростую ситуацию: неожиданно во время боевого рейда в суровом море ее местонахождение стало известно немцам, и субмарина вынуждена была залечь на дно. А когда вздыбилось, задрожало от взрывов глубинных бомб море, неуютно стало на подлодке — ее качало, как зыбку; били враги по цели, не жалея бомб, а цель была одна — выявленный объект, то есть их подводный дом, значит, и — они, моряки-подводники, в том числе и матрос-торпедист Степа Хоменок. У него тогда был первый выход на боевое задание, так могло случиться, что и последний. Все бы ничего, но экипаж охватила тревога, когда атака немецких эсминцев прекратилась. В подлодке стало чрезвычайно тихо — от тишины начинала болеть голова, стоял в ушах прежний гул, которого на самом деле не было.

Вскоре стало известно, что фарватер чист, в небе спокойно. Но выяснилось самое страшное и невероятное — лодка не могла тронуться с места: глубинная бомба сделала свое — поврежден винт. На базе медлили с принятием решения. Да и какое можно было принять решение, когда через торпедный аппарат никак не выбраться — глубина слишком большая, а отбуксировать лодку еще сложнее: немцы активизировали в последнее время свои действия в этом районе моря. Рискованно. Надо было переждать, чего бы это ни стоило!..

Потянулись долгие и тяжелые дни. Кое-кто из матросов не выдерживал, срывался на отчаянный крик, заявлял, не стеснясь предательских слез, что он хочет жить, а не кормить рыб. Тех, как могли, утешали, успокаивали более закаленные морем матросы и офицеры. Другие писали письма своим родным... Прощальные письма. Написал такое письмо и Степа Хоменок. Закончил его словами: «За Сталина! За Родину!»

Несколько дней тянулось то ожидание. Регенерирующее приспособление вырабатывало все меньше и меньше кислорода, началась кессонная болезнь — сонливость, вялость... Надежд на спасение оставалось с каждым днем, с каждым часом все меньше и меньше, вот тогда и вспомнил впервые Степа Хоменок про Бога. Он где-то там, над лодкой, над толщей холодной морской воды... Далеко. Весьма. Услышит ли? Увидит ли? Бог услышал, Бог увидел их, подводников, и спас.

И когда прочел Хоменок надпись на дощатом заборе, каким был обнесен Дом коммуны, то вспомнил не только то тревожное военное время, но и Бога. Да, правильно написал кто-то: «Бог вас видит». Степан Данилович подтвердит, он любому может сказать это при случае прямо в глаза, хоть и не считает себя особо верующим человеком. Верит настолько, насколько воспитала система, пронизанная ненавистью к религии. Не молится, а — верит, это две большие разницы.

Вот тогда же, задыхаясь в подлодке, борясь за жизнь, — старались как можно меньше двигаться, чтобы экономить силы, — он и решил для себя: если останется жив, то построит такой дом, в котором будет широкая стеклянная стена, через которую бы он мог смотреть на белый свет... на родное село... на город... на людей... на солнце... на дождь... на снег... на деревья... На все то, чего не видел на дне Баренцева моря, а что грезилась ему... снилось... виделось...

Однако дом так и не построил — не за что было. Благодарить надо вагоноремонтный завод, что выделил квартиру-ячейку в Доме коммуны, где жить тогда считалась большой удачей. Этот дом был в центре, рядом с автобусным и железнодорожным вокзалами, на первом этаже — торговые лавки, ремонтные мастерские. Одним словом, все под рукой, одним словом, — лучший дом в городе, можно и так сказать!..

Теперь вот у него есть это окно. Хватает обзора. Смотри только, удивляйся-радуйся, если есть чему. И он нисколько не жалеет, что не получилось осуществить ту свою мечту, рожденную на умирающей, но спасенной подводной лодке, — построить стеклянную стену...

А то письмо, что писал он для своих родных на случай, если экипаж погибнет, а кто-то из потомков его обязательно найдет, он привез домой, но не сберег. «За Сталина!» Не отрекается, писал так. А потом, в Норильске, не раз укорял себя за эту, как считал сам, слабость. Когда вернулся из Гулага, порвал письмо на мелкие клочки.

Володька в тот день так и не появился у Хоменка. Что интересно, Хоменок не сердился на него. Даже где-то внутри и порадовался: значит, будет жить партия, когда они не справили по ней поминки. Хотя, по-человечески, тревожился: что могло случиться с Володькой?

Такого еще за ним не водилось, чтобы ушел за вином и не вернулся...

Раздел 4. Форпост

Иногда Ларисе Сергеевне снится один и тот же сон. Будто бы едет она в поезде на Восток, в вагоне много людей, тяжело дышать, очень-очень хочется пить, а над головами бешено, до глухоты в ушах, ревут вражеские самолеты... Не доедем?.. Погибнем?.. Да и были же мы в той далекой Уфе, зачем второй раз?.. Что, опять война?.. И от взрывов она просыпается. И радуется, что это был всего-навсего сон. А потом еще долго лежит в теплой постели, и воспоминания, одно за другим, тревожат, будоражат память — нету им покоя, думам тем!..

Все помнится до мелочей, и что интересно, с годами острее и острее. Словно все было только вчера. Вот-вот. Она охотно оглядывается назад, припоминает, как девочкой впервые привел ее папа в Дом коммуны, показал квартиру: здесь мы будем жить, доченька. Отец, Сергей Иванович Журавель, был парторгом на вагоноремонтном заводе, носил строгий черный костюм и белую сорочку, и когда Лора была совсем маленькая, высоко подбрасывал ее — казалось, под самые-самые облака. Она пугалась сначала, боялась, что отец не поймает ее, уронит на землю; однако позже начала понимать, что такого никогда не могло случиться, потому что тот человек, который подбрасывал ее, словно перышко, так высоко над собой, — самый надежный, самый хороший человек на земле. И когда в первый день войны в небе озверело заревели вражеские самолеты и начали сбрасывать на город бомбы, жильцы Дома коммуны, не паникуя, спускались в бомбоубежище. Там исчезал страх, так как оно настолько было глубоким и надежным укрытием, что в нем не всегда были слышны взрывы и стоны рушившихся строений. Там — был другой мир. Отец Лоры стоял тогда перед

толстой металлической дверью, что вела в бомбоубежище, просил не спешить, не устраивать толчею, объяснял соседям, что все они успеют укрыться. Но для этого должен соблюдаться порядок. И помогал, кому требовалась помощь, спускаться по ступенькам вниз.

Тогда, в первые дни войны, люди несколько раз прятались в бомбоубежище. Чуть позже завод был эвакуирован, а с ним — и рабочие. Дом коммуны опустел. Помощник коменданта дома Орефьев, немолодой уже человек, — а он оставался, пожалуй, один на все квартиры и этажи, — имел не шибко геройский вид: хоть и старался, бедняга, держаться мужественно, однако чувствовал большую ответственность, что легла на него — беречь, насколько такое возможно, Дом коммуны, — и потому волнение выдавало его: перекладывая из кармана в карман большую связку ключей, время от времени поправлял на голове кепку, а потом, как только отошел от вокзального перрона поезд с последними отъезжающими в Уфу, как-то совсем растерянно махнул рукой и, склонив голову, неуверенной походкой направился домой.

А маленькой Лоре в Уфе часто вспоминался тот большой и красивый Дом, где они, малышня, жили счастливо и беззаботно. В особенности хорошо было ей в пионерской комнате. Там они пели, танцевали, учили на память стихотворения, а потом нередко показывали концертные программы своим родителям. Аккомпанировала им красивая и кокетливая пианистка Лиза. Хоть она была и молодой, ее называли уважительно Митрофановной. В комнате имели место и атрибуты пионерской жизни — барабан, горн. Пионерскую комнату позже начали называть форпостом, детям это слово нравилось, потому было только и слышно: «Я в форпост!», «Мы — в форпосте!» Пионервожатая Слава всегда была очень рада, когда дети прибегали к ней в форпост. Они вместе мечтали, что наступит тот день, когда люди — все люди, а они, из Дома коммуны, возможно, и первые! — будут жить всегда дружно и зажиточно, и, надо полагать, всем на свете тоже будет весело и хорошо.

А еще — это кино, просто чудо какое-то! Раз в неделю, обычно в субботу, широкий просторный двор становился зрительским залом. Кто раньше приходил, тот занимал место на скамейках, что стояли на зацементированной площадке, а кому не находилось где сесть, тот приносил свою табуретку. Люди с табуретками приходили во двор даже из соседних кварталов: в Доме коммуны — бесплатное кино, как же пропустить такое счастье! Шли сюда как на праздник. И всем хватало места.

Как-то Лариса Сергеевна, а ходила она уже с клюкой, пришла во двор своего детства, еле продралась через строительный хлам — щебенка и мусор повсюду. Графские развалины, не иначе!.. Долго стояла во дворе. Вон там была та котельная, там — кинозал. Три подъезда, как и раньше. Дверей нет. Окон также. Раньше лишь бы кого сюда и в уборщицы не брали. Строго относились к каждому. Да и люди не мусорили. Поэтому всегда было чистенько, аккуратненько повсюду. Дом обслуживали свои слесари, свой портной, свой сапожник. Сапожником был Эпштейн. По углам дома, со стороны проспекта Ленина, находились ларьки: в одном продавали разные сладости, фирменные пончики и пирожки, а в другом, если не изменяет память, мужчины пили пиво из лобастых бокалов. На первым этаже — торговые лавки. Лариса с подружками тайком от родителей бегала смотреть, чем там торгуют. Словно на экскурсию в музей, и когда девочки видели на полках рулоны красивой мануфактуры, то представляли себя принцессами в шикарных платьях и платках.

Вернись, время!

Лариса Сергеевна, возвратившись домой, в свою нынешнюю квартиру, что также в центре города, на Катунина, окнами на центральный рынок, долго еще перебирала в памяти прошлое. Хм, их же тогда, в Башкирии, местные называли не «эвакуированными», а «выковырянными». Словно семечки из яблока. Но люди были хорошие. Вообразить только — когда началась война, в Уфе проживало триста тысяч жителей, а к концу войны — три миллиона!..

А потом — возвращение. Мост через Сож был разрушен. Поезд остановился в Новобелице. Через реку переправлялись люди на чем только могли. И что особенно запомнилось Лоре, так это неутолимое желание как можно быстрее встретиться с Домом. Повезло девочке: она была в эвакуации с мамой и папой. С ними не было только их квартиры. Жив ли Дом? Побыстрее, побыстрее, побыстрее в тот знакомый уютный дворик, на те ступеньки, к тому лифту, который был пока единственным в городе, и поэтому все дети, не секрет, завидовали коммуновцам!

По дороге же в эвакуацию отец рассказал как-то на ночь дочери не сказку, а быль — вместо колыбельной, и все, кто сидел поблизости в вагоне, повернулись на голос парторга Журавля и затаенно его слушали.

— В нашем городе было болото, большое, со множеством птиц и зверей, поросшее кустами камыша и осокой. Растительность — богатая, густая и цветущая. Встречалось много лекарственных трав.

Да только одна беда подстерегала болото — каждое лето оно пересыхало, над ним начинал носиться и властвовать суховей, иной раз своевольничал смерч, потому часто случались пожары. Город горел, а в 1856 году выгорел почти полностью. То ли потому, что болото почти уничтожило город, то ли по какой другой причине, однако же болото это назвали Гнилым...

Почему рассказал отец тогда ей, девочке, а заодно и другим, пожелавшим послушать его, про тот пожар, про суховей и смерч, она догадалась гораздо позже — когда стала взрослой...

И Дом встретил их! Хоть и не так приветливо и торжественно, как представлялось, но та встреча произошла!.. На глазах людей блестели слезы радости, а Дом не плакал — он вел себя мужественно и стойко, как настоящий мужчина. Вначале к нему не разрешалось подойти: враги, отступая, во многих местах заминировали его.

Лора запомнила, как она со своими ровесницами и подружками, дождавшись, когда саперы подготовили его к жизни людей, сразу же помчались по Дому, застучали каблучками по гулким длинным коридорам, кричали, толкались, не зная предела счастью. В комнатах стояли шкафы, кровати, кое-где лежало постельное белье, валялись какие-то другие вещи, раньше не встречавшиеся... Это все оставили немцы, которые здесь жили.

И почему-то их не пришел встречать заместитель коменданта Дома — хороший, жалостливый дядя Орефьев с увесистой связкой ключей...

Раздел 5. Ирония судьбы

Бубнов был директором вагоноремонтного завода, а Дом коммуны ему и принадлежал. Когда строение начало как-то сразу, на глазах, сыпаться и потеряло внешний вид, а канализация держалась на последнем вздохе-выдохе, выпали из гнезд дверные косяки, и, конечно же, зашуршали, словно осенние листья под ногами человека, жалобы-письма жильцов во все, какие только имелись, инстанции. Тогда зашевелился и Бубнов. Что-то надо было делать, предпринимать, а что — он, Василий Леонидович, и сам не знал. Знал только одно: сегодня, когда обозначился упадок в производстве, начала создаваться в связи с распадом Советского Союза и компартии критическая и никому пока до конца не понятная ситуация в экономике, вагоноремонтному Дом коммуны было не поднять. А его надо было спасать. Пока не поздно, пока он совсем не развалился, как и Союз, когда-то большой и могучий. Выход был —

передать его городу, но и город отмахивался: зачем, почтенный директор, нам лишняя забота?

Бубнова в Гомеле хорошо знали, здесь он был своим человеком, имел авторитет, и авторитет, надо признать, прочный. Завоевал его не в кабинете райкома партии, где получил первоначально должность инструктора почти что сразу после окончания престижного института инженеров железнодорожного транспорта, а гораздо позже — когда выбрали секретарем парткома производственного объединения по выпуску сельскохозяйственной техники. Это был серьезный и ответственный участок работы, где Василий Леонидович показал себя хорошим идеологом-организатором, поэтому с ним считались и позже, когда партии не стало, а потому и предложили возглавить вагоноремонтный завод. Своих людей, и это надо признать, партия не бросала, хоть самой ее, партии, казалось бы, уже не было. Были достойные люди из той красной гвардии, друзья-соратники, и они помнили друг о друге, заслуживающих поддержки — поддерживали, обеспечивали куском хлеба. Хоть ногой Бубнов не толкал двери вышестоящего начальства, но входил в них без очереди, только, конечно же, по звонку, чтобы не толкаться в приемной. Как и тогда, когда позвонил председателю горисполкома, женщине с грузино-греческой фамилией Димитрадзе, что для Беларуси на то время и совсем было нонсенсом: приехали, господа! Кто нами управляет? Однако же нет, ничего удивительного и странного: корни у Александры Кирилловны были самые что ни есть белорусские, ну а муж, если он — человек хороший, то почему не может быть и не белорусом? Шутка, конечно!..

Как только Бубнов перешагнул порог, Димитрадзе поприветствовала его мягкой улыбкой, затем легко выпорхнула из кресла, оперлась руками на край стола и как-то сразу заметно подросла для того, чтобы подать Бубнову руку, вышла из-за стола. Александра Кирилловна, худощавая, среднего роста, с приятным лицом женщина, предложила сесть. Гость и сам этого хотел, но не решался. Пришел он не на минуту-другую в этот просторный кабинет, а надолго. Надо было, наконец, решить, что делать с Домом коммуны!..

— По Дому? — подняла на Бубнова глаза Александра Кирилловна.

— Сами понимаете, — развел руками и как-то виновато улыбнулся Бубнов. — Есть и еще вопросы, но главное — да, да, по нему, по Дому...

Хозяйка кабинета глубоко и тяжело вздохнула, и Бубнов понял, что дался он, этот Дом, и ей. Однако сделал вид, что не заметил, как она вздохнула: вздыхай не вздыхай, а одними эмоциями дело с места не сдвинешь. Димитрадзе попросила своего помощника как можно побыстрее вызвать к ней заместителя, который курирует жилищный фонд, а также начальника участка капитального строительства — УКСа. И попросила Бубнова, чтобы не терять время: «Давайте, что там у вас еще, Василий Леонидович», но потом передумала, махнула рукой. Решила сначала дождаться вызванных руководителей и специалистов, всего, мол, сразу не охватишь, и на ее лице снова обозначилась улыбка — приятная, теплая. И хоть Александра Кирилловна была в строгом черном костюме, она показалась Бубнову самой обыкновенной женщиной — с которой можно сходить в ресторан, выпить шампанского или даже чего покрепче, покружить в танце. Ведь женщина же она, если присмотреться, если с другой стороны!.. И вот эта женщина опять улыбнулась своему гостю, отодвинула от себя стопку бумаг, сделала это энергично, одним движением руки, и попросила:

— Расскажите, Василий Леонидович, лучше анекдот. Вы умеете.

Бубнов растерялся: что это с Александрой Кирилловной? Он не сводил с нее глаз и приятно был удивлен и обескуражен, увидев в них, тех красивых серых глазах, лучики-искорки, какими обычно стреляют во все стороны ценные минералы. Вот те на!..

— Расскажите, Василий Леонидович, — заметив растерянность на его лице, опять попросила Александра Кирилловна. — Самый свежий! Вы умеете... Однажды я слышала в одной компании, как вы рассказывали. Мне понравилось. Тогда все так смеялись! Как дети. Хотя что же здесь странного? Выпили, расслабились... Говорят, даже генералы, когда собираются вместе, начинают толкаться и пощипывать друг друга исподтишка. Расскажите, Василий Леонидович... А дела подождут. Ведь сначала надо с Домом решить... А то мы завалим его — до самой кровли — разными бумажками, переписками и не найдем потом сам Дом. Или, в итоге, забудем про Дом. Он — главное, а все остальное, считаю, мелочи. Ну, так я слушаю...

Но он не успел рассказать анекдот: в кабинет, друг за другом, как-то неуверенно, словно они впервые здесь оказались, вошли и сели на чуть поодаль от стола мэра все, кого пригласила Александра Кирилловна: спокойный и рассудительный заместитель Димитрадзе Морозов и начальник УКСа Шаповалов. Последний был видный мужчина, очень самостоятельный, однако часто болел, чего особо и не замечали: кто теперь не болеет, а вопрос — чем, мало кого

интересовал. Делает свое дело человек — и ладно, а где он его делает и каким образом — не так уж и важно. Ведь к участку капитального строительства претензий особых не имелось, значит, его, Шаповалова, в том заслуга. А что еще надо!

— Анекдот все же расскажете, — полушепотом предупредила Бубнова Александра Кирилловна и по очереди посмотрела на каждого, кто пожаловал по ее просьбе в кабинет.

Все сидели молча, забыв о тонком запахе духов, который уловили, переступив порог этого кабинета.

— Так что будем решать с Домом коммуны? — строго спросила она. И Бубнов не сделал для себя открытия, когда увидел за столом ту же деловую, подчеркнуто-строгую начальницу, каковой, по сути, она и должна быть, даже если не одень ее в этот черный строгий костюм. — Ну, с кого начнем?..

Наблюдательный, быстрый взгляд скользнул по лицам собравшихся. На какое-то мгновение воцарилось молчание, тягостное и напряженное, и тогда Александра Кирилловна, чтобы разрядить обстановку, решила пошутить, хотя лицо ее по-прежнему оставалось строгим:

— У нас, извините, как на том пиру: после первой некому говорить, а после третьей некому слушать?.. Правильно, я не ошибаюсь?

Послышался сдержанный смех. Это понравилась женщине: шутка сработала.

— Так вот, Дом коммуны, как говорит директор вагоноремонтного всем вам известный Бубнов Василий Леонидович, далее ждать не может. Рухнет. Рассыплется. Как песочный, — снова перешла она на деловой тон.

На это Шаповалов заметил:

— Сам построил тот дом, вот пусть и разбирается с ним.

Бубнов такую шутку не принял:

— Да не сам. Завод. Давно, до войны — в тридцать первом еще, между прочим. На то время это был дом — всем домам дом.

— Да это мы знаем, — передернул плечом всегда осмотрительный и рассудительный Морозов. — И то, что имя архитектора Шабуневского забыли, а это же его творение.

Димитрадзе постучала карандашом по графину.

— Поближе, поближе, товарищи, к делу, — попросила она, придавая твердость голосу. — К чему сегодня вспоминать. Ну что мы будем сегодня вспоминать Шабуневского? Я знаю, что Петр Степанович... — Александра Кирилловна задержала на Морозове взгляд. — Знаю твою болячку: тебе хочется увековечить Шабуневского. Тогда

вот возьми отремонтируй дом и повесь там вывеску: этот дом построен, дескать, по проекту архитектора Шабуневского... не знаю, извините, как его звали-величали... надо будет посмотреть в документах. — И когда ей никто не подсказал, Димитрадзе поняла, что этого не знала не только она. — Не напишешь, к сожалению, следующего, а можно было бы, чтобы знали потомки: построен этот злосчастный, как оказалось, дом с одной целью — чтобы люди жили вместе, одной семьей, хоть и не были родственниками... по крови, что ли, а их хотели сделать родственниками по закалке, по духу... Какая авантюрная идея, согласитесь! И правда, смешно сегодня вообразить нам, что архитектор... Шабуневский...

— И инженер Ханин, — подсказал все тот же Морозов. — Их было двое.

— И здравые же люди были, Шабуневский и Ханин, — фамилию «Ханин» Александра Кирилловна легким росчеркам ручки пометила на отрывном календаре, — а такие, оказывается, недалекие... Что значит пропаганда того строя, той жизни... Сила, мощь!.. Тот, кто предвидел бы, как сложится далее жизнь, был бы действительно гениальным человеком. Хотя, откровенно говоря, легко нам сегодня судить...

— Если бы жил Ленин...— попробовал что-то сказать Шаповалов, однако его не пожелала слушать Димитрадзе, ей хотелось поговорить самой, хоть обычно она предпочитала слушать других.

— На каждом этаже, если я не ошибаюсь, были комнаты отдыха? — на этот раз женщина посмотрела на Бубнова. Тот кивнул: да. — Столовая... Это что же получается — приготовила я еду на общей кухне, села в столовой и ем? Так, получается? А все мне в рот глядят. Не-е-т, извините! Библиотека-читальня, чтобы все видели, какие книги читаю. На каждом этаже комната отдыха, общие кухни, как я уже сказала, санузлы... Дом-корабль, одним словом. Только на корабле нет детского садика, а в этом доме — пожалуйста!..— Она не сдержала улыбку, хотела пошутить, что, возможно, и дети в Доме коммуны были общими, но посчитала такую шутку не совсем удачной и своевременной и сказала другое: — Предложения, товарищи! Давайте, давайте! Что-то мы топчемся на одном месте. Одна я говорю. А вы, гляжу, воды в рот набрали. Проглотите, проглотите!..

Сошлись на том, что Дом коммуны надо перепланировать, отремонтировать, и сделать это силами города. Жителей дома необходимо расселить куда-то, не выбросишь же их на улицу, а это — ого сколько квартир! Решили также искать богатых людей, они в последнее время всеми правдами-неправдами начинали появляться

на горизонте. Их должен, должен привлечь новый Дом коммуны!.. А-у, денежный народ, вноси свою долю — и быть тебе с лучшей долей!..

Бубнов тогда с облегчением вздохнул: наконец-то! Гора с плеч!

Покидая кабинет председателя горисполкома, он услышал, как Александра Кирилловна полушепотом, но выразительно бросила ему вдогонку:

— Анекдот, Василий Леонидович, все же за тобой!

Однако, однако... Пообещал, ничего не поделаешь, но не пришлось пока рассказать ему анекдот этой привлекательной, миловидной женщине. Где она сегодня работает — он и сам толком не знает. В кабинете Александры Кирилловны, в том самом кресле — надо будет все же попросить, чтобы подобрали новое, более просторное и мягкое! — сидит теперь он, Бубнов.

Раздел 6. Возвращение

И вот как раз в те дни, когда Хоменок видел в окно, как снова появились в Доме коммуны люди в желтых спецовках, и пригвоздили к стене вывеску, которая гласила, что на пролетарские развалины нашелся инвестор и что тот с распростертыми объятьями приглашает вместе реанимировать честь и славу города, — как раз в те дни Володька привел к нему, Хоменку, чтобы познакомить, очередного гостя.

— Данилов! — с порога представил он невысокого паренька с длинным носом, с множеством веснушек на щеках. Одет тот был не чета Володьке: чувствовалось, что молодой человек предпочитает немного иной образ жизни. — Что, не слыхал такую фамилию? Ах, да! У тебя же радио нет, газет не читаешь! А напрасно, напрасно, старик, самоизолировался, он как раз там и подрабатывает — на радио. И заметь: ты — Данилович, он — Данилов. Не одного ли поля ягоды? Не родственные ли души? Созвучие и синхронность полнейшая! — И к Данилову, не дав тому опомниться: — Ну, что там у тебя? Давай, давай, а то мне надо ехать сегодня к своей швабре. Обещал. Стаканчик приму не пьянки ради, а уваженья для, — и побегу на автобус. Пообещал новые занавески повесить. Будто без меня не смогла бы!.. Ну бабы!..

— Надо. А то она, жена, то же сделает с тобой, — подсел к столу Хоменок, поставил в один ряд три стакана.

— Ну, ну! Пусть попробует! — хорохорился Володька. — Ты меня знаешь! Не впервой!..

— Еще бы!

Выпили, закусили, и Володька забыл про занавески, а разинув рот, слушал Данилова. Потом, в конце концов, попросил:

— Слушай, туркмен, дай пару рублей доехать домой. Занавески же, чтоб им!.. И придумает же: занавески! И праздников вроде бы нету, не предвидятся!.. Зачем менять, не пойму!..

— Я тоже пойду, — поднялся с табуретки и Данилов.

— Ты, парень, заходи, — предложил ему Хоменок. Данилов, надо полагать, старику понравился. — Вижу, человек ты основательный. Заходи. Можешь и один. Ничего не бери. Так, поговорить заходи. Ты вот, видишь, в пустыне жил, а я в северных, так сказать, широтах. А сын мой — близко от Китая и недалеко от Японии. Разбросала людей, разбросала судьба-злодейка!.. А страна одна была. Коммуна. Как и наш Дом. Вон, подивись теперь на него — одни глазницы, и вывеска: ищем желающих, вступайте в долю. Мать их так!.. Отчего ж, место престижное — центр... найдутся, найдутся те, кто польстится... Куда нашего брата только не забрасывало!

— А я в Прибалтике по тротуарам кирзачами потопал — будь здоров! — икнул Володька.— Вот, моя кочерга вспомнила. Спокойно посидеть с мужиками не даст. И разве она поймет нас, нет, вот вы мне скажите?

Распрощавшись, Володька и Данилов наконец вышли на улицу, а Хоменок все еще сидел за столом. Он впервые серьезно испугался, что может умереть. Ощутил всем своим нутром, что дело это неизбежное, совсем где-то близко отирается та старуха с косой, укуси ее комар. Зачем тогда, спрашивается, он гонит Володьку, зачем? Все ж подмога, наблюдение, а когда, не дай Бог, и придет твое время, откинешь копыта и будешь лежать, пока... не засмердишь. Фу-у, некрасиво и думать даже об этом, жутко... «И этот... новенький с длинным носом, пусть заходит. А по носам мы с ним так и вообще родственники... Туркмен, как Володька сказал. Без таких парней мне сегодня никак... А Володька хороший человек, характер сердечный имеет, только живет как-то кувырком...»

Данилов появился в городе перед самым Чернобылем, но было такое впечатление, что жил он здесь всегда. Приехал из Ашхабада, где служил в армии, в солдатской газете. Приехал нащупать почву, чтобы вернуться домой насовсем. Белорус до мозга костей, он не мог в Каракумах: снились чуть ли не каждую ночь березки. Пешком потопал бы в родные места. Сыновей, а их у него двое, привез к родителям в деревню на все лето, чтобы отдохнули от изнуряющей жары и зноя, а сам собирался лететь обратно, чтобы потом, перед школой, вернуться за детьми. Получилось — как получилось. В

Минске поэт-земляк и редактор литературно-художественного журнала Анатоль Гречаников посоветовал возвращаться домой. Насовсем. «Все равно это когда-то надо будет делать. Лучше — раньше. Послушай меня и устраивайся на Сельмаш в газету, там у меня друг генералом… без жилья не останешься. Помогу. Но покажи, что ты достоин квартиры, чтобы мне стыдно потом не было. Не подведи, одним словом. Ну, давай, давай, землячок, решайся!.. Вдохни-выдохни!..»

Вот тогда и подвернулся под руку Володька. «На Сельмаш? Нет проблем! Да мы с Колей Гулевичем вместе в районке начинали, я еще показывал ему, зеленому, как перо держать. Пусть не послушается! А? Но ты посиди здесь, а я нырну, один на один покешкаю. Да, это ж я изобрел выражение, чтоб знал: под лежачее перо гонорар не течет… Запомни! Вернусь — повторишь!..» Через короткое время Володька появился на улице, где его ждал Данилов, приказал бодрым и окрыленным голосом:

— Вас ждут, сударь! — и артистично подался вперед, сделал жест рукой. — Пожалуйста! А я пока пивком побалуюсь. Ты, землячок, дай мне на пивко. Родина своих героев не забудет! Почтит и воздаст!..

В тот день они больше не встретились. Сделал Володька свое, козырнул — и был таков. Редактору же многотиражки сельмашевцев Николаю Гулевичу, как потом выяснилось, наговорил много комплиментов. Данилову даже довелось краснеть перед ним. Перестарался Володька. Одна тоненькая книжечка рассказов на счету Данилова, это так. А все остальное — фантазии Володьки, как говорится, от искреннего желания посодействовать: чтобы сделать человеку хорошее. Тем более что гость из солнечной республики выделит на эти цели пятерочку-другую; от него не убавится, а Володьке для поддержания бодрости духа обязательно нужная вещь. Это позже Данилов узнает, что деньги Володьке всегда были необходимы позарез. Хотя, кому они оттягивали карман? Только другим — много нужно и сразу, а Володька обходится пятерками, трояками, рублями. Пиво дешевое. На кружку хватит. Жил — как будто под капельницей: кап, кап, кап… Не капает — нет настроения…

Гулевич одногодок Данилова, невысокого роста, светловолосый, склонный к полноте, принял гостя тогда довольно сдержанно, даже настороженно.

Он дал ему задание «на засыпку». «Справится — возьму». Хотя уже то, что его привел Володька, настораживало: самого Володьку еще бы подумал, взять или нет, а тут он уже, вишь ты, и протеже

устраивает. Были причины так относиться к нему, хотя действительно когда-то работали вместе в районке, в том же Черске, но опять же, еще неизвестно, кто кого учил держать перо в руках.

А задание Данилов получил следующее: сделать интервью с главным диспетчером объединения, выяснить, почему отстает гигант. Поскольку Данилов, плюс ко всему, пишет еще и рассказы для детей, то человек он откровенный и непосредственный, даже наивный, что и понравилось Матвею Борисовичу Шуру, к которому направил его Гулевич. Тот выслушал его, улыбнулся и откровенно заметил: «Помогу тебе устроиться на работу. Если только за этим дело. Записывай». И продиктовал. Данилову оставалось только красиво подать текст, что он и сделал. И хорошо сделал!..

— Пиши заявление, — прочитав материал, предложил Гулевич.

Однако позже, когда Данилова стали приглашать на работу в Минск и в местную областную газету, высказывался против. Ему и самому, кстати, не раз предлагали занять более высокие должности, но Гулевич каждый раз отказывался: на одном месте и камень обрастает, если знать хотите. Поспорь тут!..

Данилова же все равно понесло дальше, словно по бурному течению реки... И, прежде чем пожаловал, по выражению Володьки, к легендарному человеку, к Хоменку, он прожил здесь уже хороший десяток лет и сто раз, не меньше, проходил возле Дома коммуны. Бывал и внутри — точнее сказать, вон в том аппендиксе, что напоминает гнездо ласточки, которое прилепилось на последним этаже и немного нависало над улицей этаким козырьком, отчего складывалось впечатление, будто приросло то гнездо к зданию. Как чага к березе. В той комнатке была мастерская художника Владимира Бобровского. Поскольку в последнее время они работали вместе в областной газете, то художник иной раз приглашал Данилова к себе в гости. Там мужчины брали стопку, говорили про житье-бытье. Мечтали, что запросто затиснут под ремень разных там Шагалов и Ващенок, а газетчики выдадут гору таких рецензий, от которых ахнут не только ненасытные читатели, но и начальники областного масштаба. Держитесь!

Иногда здесь, в мастерской Бобровского, подолгу отходил от запоя режиссер Герд Плещеницкий, которого направили на работу в местный драматический театр и, надо сказать, выделили комнатку в обычной квартире на старом аэродроме, в так называемой Китайской стене. Там жили актерские семьи, и режиссеру неудобно было показываться в неприглядном виде им на глаза. А здесь, в Доме коммуны, высоко и далеко — никто не увидит, неудобно было лишь

то, что туалет на весь этаж один, и когда надо было топать по нужде, то Герд Плещеницкий не знал, куда спрятать помятое и тусклое, как старый уличный фонарь, лицо. А потом перестал смущаться, плюнул на все и смело вышагивал, насвистывая: человек такое существо, которое привыкнет к чему хочешь. Нередко острил с обитателями Дома коммуны, они почти всегда толклись в длинном и скрипучем коридоре. Другой раз шутки были совсем не к месту, навязчивыми, и тогда люди просто изумленно переглядывались, пожимали плечами, провожая взглядами Герда Плещеницкого: дескать, и что ему надо? Ну, перебрал, так иди, куда идешь, своей дорогой.

А потом случилась беда: неожиданно умер художник Бобровский, молодой, красивый, это вызвало у каждого, кто его знал, недоумение: как же так, отчего ж Господь так несправедливо поступил с этим добрейшим человеком, у которого была впереди вся жизнь и неплохая карьера? Бобровский страдал от бронхиальной астмы, она у него имела неаллергическую форму, поэтому болезнь он ухитрялся прятать от досужего глаза.

Мастерскую же передали другому художнику, Антону Жигале, а Герд Плещеницкий нашел себе девушку, которая пела в камерном хоре филармонии и готовилась к отъезду на Землю обетованную. Пока то да се, вскоре по тротуару топал, держась за мамину ручку, маленький Герд Плещеницкий — ну вылитый режиссер, подобрал все крошки. Первый раз, когда Данилов встретил их вместе, мать и сына, даже испугался: за что, за какие грехи природа так жестоко обошлась с Гердом — взяла да уменьшила его до неимоверно маленьких размеров? Стал тот обычным лилипутом. Низеньким и толстеньким, с рыжими лохматыми волосами и постоянной улыбкой. Данилов даже ждал, что малыш бросится ему навстречу, широко раскинув руки, — и скажет, как когда-то отец при встрече, заключив в объятия: «Старик! Ты — гений! Ты сотворил хорошую пьесу! Отличную! Я таких не встречал! Да-да!.. Нормальная пьеса, иногда даже очень неплохая на тему «Вот и встретились два одиночества, развели у дороги костер». Ну и так далее. Приметы, детали, диалоги — очень даже неплохие! Буду ставить!» Это означало, что Данилову, который начал писать пьесы, надо было раскошеливаться на бутылку водки. Герд Плещеницкий выпьет, а потом расскажет о себе, про свою никудышную судьбу, погрозит кулаком минскому поэту Мирославскому, который увел, если верить, его законную жену. «Если б знал, так не устраивал бы ее в Дом литератора. Это Вольский все: давай ко мне, хорошие деньги получать будет… Тьфу!»

Данилов тогда никак не мог понять, как это поэт Мирославский, которого он также видел не единожды, будучи по сравнению с молодым здоровым Гердом Плещеницким — кровь с молоком, вы же гляньте на него! — не богатырем вовсе, к тому же намного старше, завоевал сердце Таньки. Загадка без отгадок. Потом он понял: женщине нужен был тыл. А режиссер такого тыла ей не мог обеспечить. Все, что зарабатывалось, прогуливалось, а басни можно было слушать до поры до времени.

Когда в театре намечалась премьера, Герд Плещеницкий стремился показать свой очередной шедевр многим, приглашал на спектакль своих верных и надежных зрителей, для чего подолгу висел на телефоне и потом при встрече раздавал пригласительные открытки. После спектакля, как только опускался занавес и затихали овации, зачастую искусственные — чтобы не обидеть, а поддержать того, кто пригласил, — Герд Плещеницкий подходил к группе своих приглашенных театралов. Глаза светились у него, как у ребенка, который сорвал с новогодней елки самую красивую игрушку:

— Ну, как?

В ответ следовало:

— Здорово! Прекрасно!.. Гениально!..

Данилов мечтал, что когда-то будет премьера спектакля и по его пьесе, только не знал, как заставить кого-нибудь из режиссеров прочесть хоть одну его пьесу.

Из всех постановок Герда Плещеницкого наиболее запомнилась ему «Ладья отчаяния» по повести Владимира Короткевича, инсценировку которой тот сам и сделал. Особенно Смерть с лампой, которая ходила по залу, а потом сказала: «Под нами — Рогачев!» И бросила взгляд куда-то ввысь, под потолок. Что означало: она находится на том свете. А исполнительница главной роли Людмила Корхова-Лавринович (в то время еще не народная, конечно) напомнила всем женщинам, сидящим в зале, чтобы не жалели они, дурехи, того, что дано им для любви, услады и продолжения рода…

Обо всем этом думал Данилов, сидя у Хоменка. Герд Плещеницкий напомнил ему Володьку. И когда они выходили на улицу, Данилов еще раз посмотрел на ту комнатку, где была мастерская художника Бобровского и где сейчас ветер бешено хлестал и хлестал куском оторванных обоев по стене…

Раздел 7. Дневник Павловского

Ну, и кто б мог предвидеть, что этот тихий и неприметный рыжий деревенский ученик местной десятилетки станет таким известным в городе человеком!.. И совсем не потому, что получит профессию инженера-строителя и построит нечто такое, от чего все ахнут, а совсем по другой причине — станет настоящим, истинным следопытом. С ним посчитают за честь советоваться даже специалисты, а он, не имея никаких ученых званий, будет лучше других рассказывать про Кирилла Туровского. Это он смело заявит:

— Под нами еще один город...

Неужели? Проверить тяжело, поверить — можно, и особенно ему, Александру Павловскому. Все чаще и чаще начали видеть его в Славянской библиотеке, которая совсем недавно начала работать в бывшем Доме политпросвещения. Появилась эта библиотека, кстати, единственная, на постсоветском пространстве, стараниями Валентина Сельцова. Здесь выписывают много периодических изданий из славянских стран, и хотя библиотека не пользуется широким спросом, одним из заядлых ее посетителей стал Павловский. Он что-то строит в городе, что — никто точно не знает. А вот о другом каким-то образом слышали: подолгу Павловский не задерживался ни на одном месте — конфликтовал с начальством. Причин для таких конфликтов могло быть несколько, и в первую очередь: приписки, подтасовки, мертвые души — классический набор... Поэтому, когда он выступал против всего этого, ему намекали поискать другое место работы. Как ни странно, находил. Потом делать это становилось все труднее и труднее, и в самый последний момент он обратился за помощью к Сельцову. Сказать, чтоб дружили, — не скажешь, но в кабинет к председателю областного Совета депутатов (в областной вертикали это был второй человек, первый — председатель облисполкома, как известно) мог зайти в любое время, когда его хозяин не был занят срочным и важным делом. Вот и тогда забежал, когда в очередной раз остался без куска хлеба. Сельцов помог ему устроиться прорабом в строительную организацию, которая приступала к реконструкции телерадиоцентра. Вскоре его там только и видели. Он, подвижный, энергичный, летал по этажам, как птица. А вернувшись домой, ужинал и садился к столу, и все, что за день видел и что наиболее его заинтересовало, помечал в общей тетради. Так получился дневник. Иной раз он и сам его с интересом перелистывал, и тогда оживали

перед глазами люди, события... А совсем недавно он сделал в тетради запись о подземелье...

Павловский был благодарен Сельцову, что тот помог ему стать прорабом на реконструкции телерадиоцентра. Ему, как считал сам, весьма повезло, что получилсь все так, а не иначе. Павловский еще раз припомнил тогда свой жизненный принцип, которого придерживается последовательно и спокойно: «Что не делается, все к лучшему!» Пока этот принцип действовал безукоризненно.

...Запись первая. Для строительства нового здания телевидения подготовили стройплощадку. Снесли трухлявый дом и собрались срубить или просто выкорчевать высокий и еще крепкий дуб, который, по словам людей, как-то незаметно и быстро вытянулся прямо под телевышкой. Желающих заработать на продаже дармовой древесины долго искать не пришлось, и работники «Зеленстроя» только собрались расправиться с приговоренным к уничтожению дереву, как порвалась одна цепь в бензопиле, вторая разлетелась вчистую. Оказалось, что дерево нашпиговано железными осколками времен войны... Так, оставив неукрощенное дерево, бойцы зеленого фронта исчезли, удовлетворенные лишь тем, что нагрузили полный тракторный прицеп хворостом. «Загоним в Прудке на топливо!» — подвел итоги трудового дня бригадир.

Я подошел к дереву и посмотрел на распил ствола — ровно пятьдесят лет назад дерево имело черные годовые кольца. Три черных года были отражены в летописи жизни многострадального дерева. Три года дуб стоял, опаленный войной, и практически погиб — засох. Я заметил в стволе дерева вросшую в мезгу проволоку квадратного сечения, точно — не отечественного производства. Упругая сталь, возможно, крупповского немецкого производства. Кому понадобилось обматывать такой проволокой дерево? Зачем? И здесь я подумал: это же, наверное, была виселица? Во время оккупации. Немцы любили (вишь, какое слово использовал по отношению к дьяволам!) вешать людей на упругих стальных прутах по несколько человек сразу и получали удовольствие глядя, как горемыки, умирая, мучились. От бывших узников концлагерей я слышал про это, и еще они говорили, что агонии в таких случаях продолжались до получаса.

Назавтра строители пригнали бульдозер, начали ровнять площадку и выкорчевывать высокий пень. Позже, посетив выкопанный котлован, я заметил, что здесь работы не ведутся. Отчего, что случилась? Сторож объяснил: «Как только начали выкорчевывать экскаватором пень, ковш сразу зачерпнул столько

костей, что все ужаснулись!.. Где те кости? А увезли куда-то, мне не доложили. Сказали только: стой тут и никого не подпускай. Вот и стою». Не тех ли повешенных эти кости? Я представил ту жуткую картину, и по спине пробежал озноб: страшно! Наверно, здесь, под деревом, они и копали для себя могилу. Вот, оказывается, какую тайну хранил израненный, обезображенный дуб. Почему-то сразу вспомнился Пушкин: «... У лукоморья дуб зеленый; златая цепь на дубе том; и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом».

Но это же — не сказка... Это жуткая правда войны, и у нее совсем другие летописцы, в том числе и это дерево — дуб.

Дуб стоял на взгорке между двух яров. Здание телецентра возвели после войны, срезали площадку меж тех двух яров, а сам пригорок остался нетронутым. Дуб в мирные дни ожил, зазеленел, возможно, потому, что люди, которые навечно уснули около его корней, вселили в него свои жизненные силы, и может быть, листочки, проклюнувшиеся на дереве, смотрели на белый свет глазами тех бедных людей?

На противоположном берегу оврага — там, где сейчас цирк, находилась площадка, на которой удерживались пленные советские воины. Немцы, чтобы сломить их волю, демонстрировали принародно перед пленными свою звериную сущность — вешали на дубе коммунистов и офицеров, которых, надо полагать, выдавали предатели, находившиеся среди пленных.

Такая вот судьба у этих людей: мало, что погибли в ужасных, нечеловеческих страданиях, так и кости их не нашли покоя...

Прошло время, для строительных нужд необходимо было проложить кабель, и рабочие, копая, обнаружили в земле угол какого-то кирпичного строения, толщина стен — полтора метра. Были найдены остатки сгоревших предметов интерьера — немецкий рояль (как оценил специалист, преподаватель музыки: весьма редкой работы), медицинские весы, кровать с двойными пружинами (по тому времени — очень мягкая), кровать обычная, с металлической сеткой, шамотный камень с выработанным углублением от плавки, телефон 28-го года с надписью: «Сормовский завод имени тов. Ленина». Все это наводило на мысль: за такими стенами, да еще в углу, можно было надежно спрятаться от бомбежек. Да и мебель мягкая — не для военной обстановки, весы, шамотный камень... Скорее всего, дело было так... И я постепенно начал подкреплять свои догадки фактами. Шамотный камень с выработкой — это от расплавленных золотых зубов и коронок, вырванных у военнопленных, и не только, наверно, у них... Рояль — это именно та

вещь, которая служила извергу. Возможно, после казни узников, он слушал классическую музыку. Наверное, Вагнера, Баха, Верди… И других. Композиторы не виноваты, что их музыку слушают и изверги.

Весы — чтобы взвешивать золото с педантичной немецкой точностью для отчета.

Кровать мягкая — чтобы хорошо выспаться, кровать твердая — для наложниц, или, может, для любовниц; хотя любовницы — это все же женщины, вступающие в связь добровольно…

Телефон — партийный, заметьте, для того, чтобы вызывать из концлагеря коммунистов по их же партийному телефону — с именем Ленина.

Видимо, здесь находились апартаменты начальника концлагеря и службы охраны. Надо полагать, что поскольку золотые коронки плавил лично начальник охраны лагеря (абверкоманды), никому этого не доверяя, то он сам и выбивал табурет из-под ног своих жертв…

По национальности он был немец, с классическим музыкальным образованием, имел свой дом в Германии, и оттуда ему прислали мебель для кабинета (жилая комната). Восьмидесятилетний, он приехал, я почему-то верю в это, в первые годы перестройки, если, конечно, дожил до такого времени, в наш город под видом сытого и ухоженного туриста, возможно, заходил и на телевидение. Не забывайте: убийц всегда тянет на место своих преступлений. Возможно, тот кровавый турист побывал и в горисполкоме с просьбой перезахоронить на родине останки с немецких и итальянских могил, что в парке Паскевича. И это ему, извергу, мы отдали — возможно, да-да! — кости эсэсовцев, которые уничтожили сто тысяч человек в Гомельским концлагере. И даже были венки от председателя горисполкома Димитрадзе. Однако нашлись люди, которые посоветовали венки убрать, что и сделали: утром венков не увидели, ночью их куда-то выбросили. Подальше от позора, подальше!.. Как бы там ни было, но где цветы для тех, кто ежился от страха и боли в предсмертных конвульсиях на виселице, что была сооружена на том несчастном дубе? Где цветы? От нас, от всех нас?!..

И вот такая судьба: кости извергов увезли на родину, а кости их жертв внук отвез на свалку.

Точку ставить рано. Казалось бы, история с дубом, костями и откопанной жилой комнатой закончилась, как вдруг… Но обо всем по порядку. Когда сверлили землю под сваи нового здания, неожиданно на глубине пяти метров бур упал на глубину восемь метров. Все понятно: внизу была пустота. Откуда в овраге пустота? Овраг,

конечно же, был засыпан. Однако весьма возможно, что немцы согнали в него многие тысячи человек, расстреляли их и засыпали землей. Глубина могильника, полагая по шурфу, — три метра. Каким образом немцы укладывали тела убитых в могильники, — возможно, кто-то и видел на кадрах кинохроники. Если учесть, что все тридцать свай провалились, то это означает, что овраг был полностью утрамбован телами убитых. Так делали они и в Киеве — использовали овраги. Помните — Бабий Яр? Жечь убитых было негде —кирпичный завод находился далеко от этого места, на улице, которая сегодня носит название Чонгарской дивизии, где детский садик и общежитие летчиков.

И вот теперь на костях построено здание, где светятся телемониторы и шумят передатчики...

В Велесовой книге говорится словами старого жреца: «Где кровь русская пролита, там и есть русская земля. Где в раны воина земля русская попала и где он взошел на небеса — там русская земля и есть». Если так, то почти вся Европа — русская, поскольку кровь советских воинов в боях пролита на полях Польши, Германии, Венгрии, Болгарии, Чехословакии...

Смотрю на телевизионную вышку, упирается она своей макушкой в небеса, плывут в облаках в рай Сворога души тех, чьи кости спокойно лежат на дне оврага. Здесь пролита кровь русская, а значит, по старинной традиции предков, здесь самая святая наша земля. И надо надеяться, что новый передающий центр, который и я строил, будет вести трансляцию в уютные и теплые квартиры моих земляков со Святой земли — в том числе и от имени тех, кто держит этот центр.

Очень бы хотелось, чтобы на этом все и закончилось.

Чтобы закончилось, конечно же, хорошо...

Запись вторая. Она появилась благодаря рассказику Журавель Л. С., бывшей преподавательницы университета имени Ф. Скорины. Я познакомился с этой женщиной около Дома коммуны, где работаю теперь на его реконструкции после радио-телецентра, а она была там просто так, проходила мимо и заинтересовалась, что теперь там делается. Когда-то, говорит, жила здесь, в детстве, а воспоминания той поры, как известно, наиболее крепко хранятся в памяти каждого человека. Одни вспоминают деревни, другие — районные городки, а она вот этот Дом, который оставил в памяти женщины много ярких впечатлений...

Вот что я услышал от нее.

Когда Дом коммуны только заселился, один его житель, Корольков, организовал театральный кружок, в который записалось много молодежи. И надо заметить, что все они были одаренными, на сцене играли не хуже, а может, порой и лучше настоящих артистов. Второй спектакль самодеятельные артисты решили показать жильцам Дома. В финале спектакля положительный герой, роль исполнял молодой рабочий вагоноремонтного завода, — Журавель за давностью не помнит его фамилии, но, говорит, был красивым парнем, с густой черной чуприной, — должен был «застрелить» врага народа, роль которого исполнял сам режиссер Корольков. Раздобыли настоящий револьвер и холостой патрон. По сценарию после того, как парень с чуприной скажет: «Получай, предатель! Ты не заслужил прощения!», он должен был нажать на курок. Раздается выстрел, Корольков падает... Так все и произошло, кроме одного, чего не предусматривал спектакль: Корольков не поднялся, и вскоре все поняли, что он действительно убит...

На том спектакль и закончился. Получилась вот что. Следователь нашел в кармане убитого записку, где тот просил в его смерти никого не винить. Корольков очень сильно влюбился в девушку, которая также жила в этом доме, а она взаимностью не отвечала, любила того парня, который исполнял роль положительного героя... Корольков, как оказалось, хотел несколько раз покончить с жизнью, однако не хватало смелости для такого рокового шага, и тогда для этой цели он подобрал пьесу и специально распределил роли таким образом, чтобы уйти из жизни на сцене, и не самоубийцей, а от руки соперника. Заменил он и патрон. Еще в той записке были следующие слова: «Любовь — это буржуазный пережиток, и от него я могу избавиться только так...»

Особенно поразили меня последние слова: «буржуазный пережиток». Тогда почему же он хотел, чтобы счастливо жили та девушка и тот парень-артист? Им можно любить, а для него — пережиток?

А где сегодня та девушка, из-за какой застрелил по сути сам себя режиссер самодеятельного театра?

Интересно бы отыскать хоть какие следы!

***

Дневник Павловского случайно попал на глаза Эмилю Маликовичу. Этот человек был известен тем, что создал в городе хозяйственную расчетную организацию творческих инициатив, своеобразный культурный центр, который стал серьезным

конкурентом управлению культуры. Поэтому на него стали искоса поглядывать. Хотя, по большому счету, рождение таких организаций надо было бы приветствовать. Но не больно приветствовали, тем более, что знали Маликовича еще и как человека не только строптивого, но и не всегда дружившего с законам — он был осужден за какие-то махинации. Человек, одним словом, рисковый. «Кто не рискует, тот не пьет шампанское!» — любил повторять Маликович. А здесь отличился еще и тем, что написал поэму «Уберите кладбище с Красной площади!», по его меркам, острую и злободневную, которую напечатал отдельной книжицей и щедро подписывал автографы своим знакомым и даже первым встречным, пожелавшим иметь его творение. Некоторые коммунисты выступили против и поэмы, и Маликовича. Однако он, казалось, не обращал внимания на насмешки и неприязнь. Маликович организовывал обычно какие-то широкомасштабные акции, привлекая для участия в них не только известных в городе людей, но даже из-за границы. На Ланге в бывшем Доме политпросвещения на четвертом этаже пробил себе офис, привез откуда-то шикарную мебель, поставил несколько телефонных аппаратов — все как у настоящего руководителя. У него и правда все крутилось и вертелось — позавидуешь! Вот так, он считал, надо было работать и всем. Хотя бы через одного. Если верить Маликовичу, ему же старались подставить подножку при самом удобном случае. Чтобы грохнулся и набил шишек. Однако его остановить, казалось, ничто не могло — разгон взял Эмиль Маликович хороший и мог запросто козырнуть первому встречному мечтателю-завистнику: а вот он и я, салют! Однако у многих складывалось впечатление, что долго ему работать не дадут. Слишком уж стремится себя показать, много шумовых эффектов от его работы, непростительно такое в наше время. Остановят. Тем более, что начал строить торговую лавку напротив Дома коммуны — как раз в том помещении были железнодорожные кассы, вот и решил пристроиться к ним, чтобы сэкономить на одной стене. Собирался торговать пивом.

Эмиль, заметивший дневник в руках Павловского, как лицо творческое и инициативное, пожелал просто полистать...

— Пожалуйста, — протянул дневник Павловский. — Недавно начал...

— Я мельком! Не секрет?

— Да нет, кажется...

— Тогда хорошо!

Полистал и вернул. Вернул почти сразу, как-то прохладно и безразлично, будто ничего хорошего в этом дневнике не увидел, даже

зевнул, а потом безразлично посмотрел куда-то мимо самого Павловского и молча исчез. Даже не попрощался. А на следующий день Маликович позвонил хозяину дневника, выдержал паузу и предложил:

— Приходи завтра к Дому коммуны. Я буду там. Сможешь?

— Смогу, конечно, — пообещал Павловский.

Они договорились, во сколько встретятся, и одновременно положили телефонные трубки.

Раздел 8. Торшер

Володька без приключений не может. Но никуда не денешься — так складывается его жизнь. Задумает сделать так, получается иначе. Вот и на этот раз. Не успел он потянуть на себя дверь гастронома, а его соседка, досужая и болтливая старушка Настя, интересуется:

— Так ты что, корреспондент, отъезжаешь куда?

Тот не придал значения этому вопросу — у него часто бывает, что отъезжает: то в один район, то в другой, то в третий. А то и по городу носится. Сам же острит нередко: «Волка ноги кормят». Работа такая. Однако женщина не отступила, она догадалась, что Володька так ничего и не понял, поэтому переспросила:

— Не едешь, значит?

— Нет. С чего взяла-то?

— А куда же вещи Нинка твоя загружает? С какой целью? Я думала, ты знаешь. Подогнала грузовик — и таскает вместе с какими-то мужиками. Так ты что, не в курсе? А как же?.. — И женщина, казалось, проглотила язык: Володька, не дослушав ее, ловко развернулся на одном каблуке, как гусеничный трактор на кругу, и побежал — да, да, побежал! — от гастронома, хоть и не забыл, зачем приходил. «Данилыч, некогда нам партию обмывать-воскрешать! Подожди, Данилыч! Тут своя партия отваливает куда-то!..»

Соседка не врала. Около подъезда стоял бортовой «ЗиЛ», а на нем Володька увидел действительно все свои знакомые вещи: телевизор «Горизонт», холодильник «Минск», радиолу «Сириус», которую подарили ему — ему, Нинка, ты слышишь?! — коллеги по работе, когда приходили на новоселье. Еще, может, не так и злость обуяла бы его, но позариться и на радиолу!.. Ну, это уж извините!.. Это — слишком!... Всякого нахальства повидал на своем веку Володька, а чтобы подгребать без всякого суда и следствия вещи, в том числе и те, что подарены были лично ему!.. Руки прочь от чужих

вещей, Нинка! Да и додуматься же: втихую, ни слова не говоря. Утром виделись же, и переезжает. Вчера, правда, вечером, сказала ему: «Опротивел ты мне, Володька». И — все, больше ни слова. А нет, чтобы признаться: «Я нашла себе другого, перехожу жить к нему. Извини, не такой мне нужен мужчина, как ты. Не такой...Ты не устраиваешь меня». Ну, тогда — пожалуйста. Свобода выбора.

Да и что это за мужчины пошли такие, что бросаются на Нинку? Что в ней такого, чтобы польститься?.. Я, может, еще и перекрещусь... порадуюсь, может... Хотя — стоп! Вот и она, принцесса, торшер тянет. Торшер? Ну, елки-палки! Так и есть! Торшер! Так это же он покупал его за гонорар. Такого нахальства Володька еще не видал, поэтому не стал возражать Нинке, а просто выхватил у нее торшер и, прыгнув в кузов, начал оприходовать, широко размахивая им, все, что попадалось под горячую руку. Досталось телевизору, холодильнику. Не промахнулся, когда взял на мушку и шкаф, хоть тот стоял и далековато — впритык к кабине.

— Не дам оголять очаг!.. Не позволю!..

Жена вдруг завизжала:

— Люди-и! Мальчики-и!

Люди не услышали — услышали только мальчики, а это, как оказалось, были те самые мужчины, которые выносили из квартиры нажитое Володькой вместе с Нинкой богатство. Но у нее же оклад — пшик, что ее здесь имеется в чистом виде? Покажите ему пальцем! Ткните! Володьку это особенно заводило, и не будь мужчин, то наломал бы дров. Но что же делает Нинка, холера? Звонит в милицию, чтобы уняли дебошира, там не долго думали — прилетели за очередной жертвой семейного конфликта и отвезли в вытрезвитель, хоть он сегодня даже ничего не понюхал. Безобразие, а!.. Да и остыл уже. Сидел на скамейке около подъезда и плакал. Видать, посчитали, что так махать торшером может только нетрезвый человек. В вытрезвителе оказались знакомые люди, а капитан Гусев, который раньше был вторым секретарем обкома комсомола, даже пожал ему руку и поинтересовался, как дела. Чтобы рассказать про те дела, Володька потопал за ним в кабинет, сел на мягкий стул, забулькал из графина в стакан, и когда выпил одним махом воду, произнес, не глядя в глаза капитану:

— Дрянь дела! Сам же видишь!..

Ключ от квартиры у него имелся, и Володька, почему-то уставший, как никогда до этого, упал на диван, который оставила ему Нинка, и уснул. Надо же — уснул! После такого возбуждения людей обычно мучает бессонница, а его — нет.

Когда проснулся, за окном была глубокая ночь. К Хоменку было уже поздно идти. Володька горевал, что Нинка съехала к какому-то мужчине, роман с коим был у нее давно, он догадывался об этом и даже слегка радовался, что все так разрешилось. Могло быть хуже. Повезло, что у того хахаля есть квартира, а что забрала Нинка почти все вещи, так оно и понятно: в обмен на них оставила однокомнатную квартиру. Баш на баш. Могла б привести того хахаля в квартиру и заявить: он будет жить со мной, а ты иди, куда хочешь! А как, кстати, с разводом? Жди, жди, значит, Володька, приглашения в суд. Ну, баба-а! Унижает на весь белый свет. В вытрезвитель зафуговала. Теперь — в суд.

А у Володьки везде знакомые, и всем им надо смотреть в глаза, вилять, как щенок хвостиком, просить милости и спасения. Тьфу ты!

Однако же — квартира. Отдельная. Живи и радуйся. Володька сразу начал перебирать в памяти женщин, одна из которых могла бы украсить это жилье. Светка? Ту не прокормишь. Всегда что-то жует и жует, может, и зубы все съела к этому времени — давно не видел. Катька? Красивое имя... Однако же сама она не сахар... Даже ни разу не была замужем. Что это за женщина? Когда никому не нужна, тогда зачем и ему? Вот его Нинка! До того, как связаться с Володькой, дважды выскакивала. И дальше помчалась. Он был для нее просто перевалочным пунктам... Кто там у нас дальше? Наташка? Женщина красивая, хорошая... С ней познакомился Володька в Друцке, когда оформлялся в гостинице. Стоял за ней в очереди. Тогда же осмелился пригласить к себе на чай. Она, к его удивлению, согласилась. А когда пришла в номер для важных гостей, где были отдельные две комнаты, душ, телевизор и холодильник, удивленно посмотрела на него: «А вы, извините, где работаете?» Он соврал: «Там, где молчат...» Она, по-видимому, подумала, что в КГБ. И более ничего не спрашивала. А когда Володька привлек ее к себе, прильнул к губам, женщина не упрямилась, а, наоборот, обняла его тонкими руками вокруг шеи и начала жадно целовать в ответ. Призналась: «Я не замужем, и завидую тебе: у тебя, говоришь, есть жена, ты можешь заниматься любовью хоть каждый день, а мне перепадет раз или два в год — как вот теперь, то не отказываюсь... Если, конечно, мужчина понравится...»

Наташка приезжала в командировку на три дня, а когда Володька сообщил, что возвращается в Гомель, вернулась с ним. Глянула тогда на него: «А где мы будем встречаться?» Ответил: «Подумаю. Я позвоню». Она опять поехала в Друцк, он позвонил ей туда, договорились, что встретит автобус, на котором Наташка будет

возвращаться из командировки. Но она опоздала, как потом выяснится, на тот рейс... Володька больше не позвонил. Судьба. Теперь вот лежит на диване и жалеет, что все так получилось. Может, попробовать отыскать? Жила она с родителями в частном секторе где-то около психбольницы в Новобелицком районе, телефона не было, это он точно помнит, а фамилию забыл. Один раз, правда, позвонил ей на работу, там сказали: уволилась. А потом закружила жизнь, втянула в свой водоворот, и он забыл совсем, что где-то есть эта красивая Наташка.

Засыпая, Володька твердо решил начать поиски Наташки. Непременно. А приснился ему торшер, который будто бы стоял в аппаратной радиоцентра вместо микрофона, и он рассказывал в торшер о себе. Откровенно, до мелочей. Поплакался, что от него убежала с другим жена. А потом все же сообразил, что негоже это делать. Услышат ведь люди, — радио есть в каждом доме, в каждой квартире, не считая если только разве Хоменка, — и начнут показывать потом на него пальцем, ухмыляться, стыда наберешься, не пройдешь даже по улице — будут взглядами дырявить: смотрите, все смотрите, это же тот, от которого сбежала жена! Хорош сам, значит!..

Когда проснулся Володька, ох как порадовался, что это — лишь сон!

Хотя неуютно ему было в квартире. Да и не мог он до конца поверить, осознать, что теперь вот эта квартира — его одного, куда не страшно будет прийти поздно, даже хорошо выпив горькой. И при этом никто тебе не станет читать мораль. Так это ж здорово, оказывается! А может, и нет?..

Володька на какое-то время даже испугался, что остался один в квартире...

И опасался этого не зря.

Раздел 9. Райком закрыт

Катерину Ивановну, словно шашель дерево, все еще точило, не давало покоя свое горе. Это ж до чего дошло — уже почти год как она не может похоронить своего мужа. Была бы здорова, то села бы в поезд и отправилась в столицу, отыскала б крематорий — и всех делов. И муж ее, Николай, тоже хорош был: хочу, чтобы не как всех похоронили, а чтобы сожгли! Везите в столицу — и не возражайте. Не довелось побывать там при жизни, не довелось, то побываю хоть тогда, когда умру. Слыхали? Исполняйте. Командир говорит.

Подполковник. А ей теперь ломай голову, как вернуть его домой в той урне, чтобы по-человечески придать земле. Дальше дома она не выбирается. В магазин если когда только. А теперь решила съездить и дальше — в райком партии, вспомнила, что там работает первым секретарем брат невестки, получается, дядя неслуха-племянника Кольки: назвали так в честь деда, а он деду фигу крутит. Ехать — на тот берег Сожа, в Новобелицу, но ничего — автобусы, и особенно троллейбус «пятерка», ходят исправно. Волновало старуху другое: а что, если и Павел Сергеевич пошлет ее туда, куда послала и его сестра? Извини, скажет, тетя, я тебя знать не знаю, первый раз вижу. Заплутала, смотрю, не туда попала. Однако же нет, не должен так обойтись с ней Павел Сергеевич, вместе же были несколько раз в компаниях, пели-танцевали, а когда умер Николай, принес цветы, поклоном уважил его, а ей сказал, легонько положив руку на плечо: «Держитесь, Катерина Ивановна. Держитесь». Неужели забыто все это? Не должно быть. Одно, чего боялась старая, — тот мог поинтересоваться: «А почему военкомат не привезет урну? Чем они там занимаются? Отвезли же...» Ну, правильно, отвезли... Однако же тогда там служил знакомый Николаю офицер, а позже его перевели куда-то, а тот, который занял его место, долбит свое: «Мы в два конца покойников не возим. В один — пожалуйста. У нас же не контора по оказанию ритуальных услуг». И Катерина Ивановна не нашлась, что ему ответить. Наверное, и правду говорит, окаянный? Отходит много отставников, на всех транспорта не наберешься...

Вся надежда, таким образом, была только на Павла Сергеевича Минерова. Спросила на первом этаже, где он сидит, а дежурная девушка, хмыкнув, улыбнулась:

— Ты, тетка, никак с луны упала?

Катерина Ивановна, услышав такой бессмысленный, по ее мнению, ответ, посчитала это не иначе как издевательством, строго посмотрела на шутницу, серьезно заявила:

— Я не к тебе, красавица, пришла домой, а в райком партии!

Девушка приняла строгий и важный вид, поняла, что посетительница не притворяется, действительно отстала от жизни, поэтому ответила кратко и сухо:

— Райком закрыт.

— А куда все подевались? Или от кого заперлись?

— Партии, тетя, нет уже более.

— И Минерова — также? — раскрыла рот, подобрав прядку волос под платок, Катерина Ивановна.— Распустили разве партию?

— Фу-у, вспомнила! Теперь здесь просто райисполком. И райсовет. Выбирай, что тебе надо.

— А где ж Минеров?

— Поднимает сельское хозяйство. — Девушка помолчала, не сводя глаз с растерянной Катерины Ивановны, потом спросила: — А вы что, действительно не знали, что партии больше нет?

— Нет. Ей-богу, — откровенно призналась старая.

Девушке, по всему видно, Катерину Ивановну было трудно понять. Отстала от жизни старушенция, ничего не поделаешь. Это так. Один раз, правда, услышала, будто на самом деле забрали партию у Горбачева и раскололи ее, словно тот грецкий орех: щелк — и нет. Но не поверила. Думала, мало ли что иной раз могут сказать по телевизору? А ее, оказывается, и нет, партии. Райком, значит, закрыт? А ее знакомый Минеров, получается, пошел туда, откуда и взялся — в колхоз? Он, подумала старая, и там не пропадет, не с вилами ж будет работать. А, может, ему там и лучше, не то, что в этом кабинете с графином воды на подоконнике. Что ни делается — все к лучшему.

Катерина Ивановна, прежде чем пойти, спросила:

— А где тот его колхоз? Далеко? Близко?

— Да нет, близко — в Глущце.

— То и правда, близко, под городом. И место красивое. Бывала там. Доводилось. А тебе, девушка, спасибо за справку. Но я сегодня уже не поеду к Минерову: поздно.

— Не за что, — кивнула девушка.

Про телевизор она почему-то не вспомнила. Наверное, подумала, что телевизор люди смотрят и так, хотя, бывает, и видят другой раз не то, что им следовало бы видеть....

Вечером пришел... Колька. Внук. Катерина Ивановна, услышав за дверью его голос, остолбенела: «Неужели?» Не сразу открыла — растерялась, а когда зашел Колька, не знала, куда его посадить. Это ж, считай, не появлялся уже почти год — как не стало деда, приходила раза два невестка, просила денег, жаловалась, что стипендии внуку не хватает. Известное дело. И стипендии не хватает. И зарплаты. И Государственную премию дай — ее также будет мало. Все зависит от того, как тратишь те деньги. А тратить их теперь умеют. Только отсчитывай.

— Садись, внучок, — кивнула Катерина Ивановна на стул, махнув над ним полотенцем и подставив поближе к гостю. — Чем бы тебя угостить? Варенье вишневое будешь? Или, может, медком полакомишься? Мед — хороший, башкирский, парень один нам

привозит, он грузы на поездах сопровождает, то бывает и там, в Башкирии. Хороший мед. Вкусный, не горький.

— Да нет, бабушка, ты не беспокойся: я сыт. — Внук осмотрелся и только тогда обратился к Катерине Ивановне: — Да, в общем-то, и некогда рассиживаться. Я по делу.

— Да понимаю, так, без дела-то, к бабушкам и дедушкам теперь не приходят внуки. Только по делу, — печально улыбнулась Катерина Ивановна, но все равно была рада: как же, наконец-то Колька, сорванец, заявился!..

— Не сердись, бабуля.

— Учишься ж хоть как?

— Академический взял.

— Прервал учебу? — не поверила старуха.

— Ну.

— А что же ты делать будешь, недоучившись? Кому недоученные люди нужны? — глаза у Катерины Ивановны гневно засветились, а голос задрожал. — Я у тебя, внук, спрашиваю?

Колька ответил сразу же, не долго думая:

— Сегодня недоученные люди нужны стране. Срочно. Доучимся. Будем работать и учиться.

— Не верю, ой, не верю! Нечто ты не то делаешь, внук...

— Куй железо, пока Горбачев! Слышала? Не слышала. А весь город так говорит. Бабуля, я к тебе...

— Что, может, в Минск едешь? — вспомнила о своей болячке Катерина Ивановна — про урну. — Заодно и деда привезешь, а?

— И Минск от нас никуда не денется, — Колька все же сел на стул. — И зарубежье будет нашим. Все, решено: начинаю заниматься бизнесом. Открываю туристическую фирму «Мечта».

Катерина Ивановна слушала внука, боясь шелохнуться. А Колька продолжал:

— Человек мечтает побывать в Париже? Мечтает. В Египте? А как же! В Арабских Эмиратах? Конечно! И вот я помогу ему, человеку, осуществить эту мечту. У меня будет своя фирма, будет!..

Катерина Ивановна не знала, что ответить внуку, а тот, похоже, не находил слов, чтобы говорить дальше. Думал, бабушка будет вся светиться, сиять, начнет хвалить его за проворство, за то, что он дальновиднее, чем другие, а она — молчок, даже нахмурилась, лицо сделалось суровым, строгим. Катерина Ивановна не первый день живет на этом свете и понимала: если пожаловал внук, то ему что-то надо. А что? Конечно же, деньги. Однако ни за что не смогла бы догадаться старуха, и если бы услышала от кого, плюнула б тому в

глаза, что внук попросит у нее... квартиру. Под офис. Ну, это уж слишком!.. Ему, видите ли, в ней будет удобно. Центр. Первый этаж. Не сказать, чтобы Катерина Ивановна слишком опешила, услышав про Колькину затею. Нет, она уже и сама не раз подумывала, что когда-то надо будет и с ней, с квартирой, распрощаться — с собою же ее, квартиру, не унесешь, однако не предполагала, что вот так все повернется. На триста шестьдесят градусов! Видали вы его, додумался. И ноги не показывал, а как квартира понадобилась — тут как тут. А дочь что скажет? Если кто и придет на могилку, то только она, а не Колька. Урну не найдет времени забрать, год стоит в том крематории прах мужа, а он и не подумал, не позаботился... И хватило же наглости прийти и выпрашивать квартиру? И в кого он, интересно, таким уродился? Отдай ему угол, а сама куда?

— А тебе, бабуля, я квартиру нашел... — поднял наконец глаза на нее внук. — Рядом с нами. Комнатку. В соседнем доме. Я буду оплачивать. Не волнуйся. Пойми меня: нельзя упускать момент, надо раскручиваться, пока твою ячейку в бизнесе кто-нибудь другой не занял. Главное — не проспать. Ну, что, будем готовить бумаги? А в принципе, что готовить? Юридический адрес есть, а там будет видно... Вывеску повесим на стене и дверях, дадим рекламу... Спасибо, бабуля, ты меня поняла...

Катерина Ивановна сперва что-то мекала и бекала, а потом отчетливо и со страхом почувствовала, что начинает терять сознание, вдруг все так и поплыло перед глазами, начало опрокидываться вверх тормашками, зашаталось, но она успела еще проговорить:

— А дочь... а дочь как же?.. Она ж меня проклянет!..

Раздел 10. Квартирант

После ГКЧП сложно было понять, кто здесь победил, кто проиграл. В Москве — там все разложено по полочкам: на одной проигравшие, на другой — победители, на третьей те, кому все равно, кто проиграл или выиграл. Лишь бы день был да еда имелась. Почти всех горожан также можно было отнести к третьим. Слоеный пирог, одним словом. Хоть в отдельных организациях и заведениях Москва аукнулась, в городе было будто бы спокойно, он, город, жил размеренно и мирно. Однако где-то наводили порядок, искали виноватых. Журналисты оправдывались, что писали, дескать, не по своей воле, когда поддерживали гэкачепистов. Признавали свои ошибки и некоторые коммунисты. Один Володька сказал, что не может терпеть Горбачева, потому и заступился за гэкачепистов, а то,

что он выдал в эфир подпольно, без согласования с начальством, материал о путчистах, то ничего страшного в том нет: народ должен знать правду со всех сторон. Какую правду — Володька до конца не стал объяснять, когда его решили пропесочить за хулиганство во время эфира, а стукнул дверью, выходя из кабинета председателя комитета:— «Да пошли вы!..»

Назавтра он забрал свои вещи и больше на работу не вышел. Володька был о себе весьма высокого мнения, считал себя незаменимым человеком, хотя так не считали коллеги: они замечали, что тот все чаще и чаще приходит на работу с помятым лицом, от него несет перегаром, а когда берет у кого интервью, то в его руке слегка подрагивает микрофон. Не тот и голос — как правило, нервный, неровный, словно не знает Володька, когда и где надо ставить на том или другом слове ударение. Когда он забрал вещи, руководство с облегчением вздохнуло: хорошо, что все так закончилась. Красиво ушел человек, не создал лишних забот, счастливой ему дороги.

Володька же просто устал одновременно пить и работать, надо было выбирать что-то одно, и он выбрал первое... Хотя, если быть откровенным, Володька думал, что его начнут уговаривать остаться, а не делать глупостей. Но никто не промолвил и слова. Говорил только он. Даже похвастался, что нашел уже работу не чета этой, хотя зачем врал, и сам не знал. По-видимому, был твердо уверен, что его подберут в других местах, еще и скажут в адрес радио: дураки они там все, такими работниками разбрасываются?!

Хоменок, узнав, что Володька устроил демарш, только кисло сморщился. Хотя Володька рассчитывал услышать от Степана Даниловича слова похвалы, однако ошибся. Выдержав паузу, старик даже изрек, хоть и нелегко это ему далось, всего одно слово:

— Дурак!

Володька даже подскочил на табуретке:

— Ну, не скажи, Данилович! Цыплят, как известно, по осени считают! Так что подожди! Так что!.. Ага!.. Будь уверен!..

Почти на месяц Володька исчез из поля зрения Хоменка. Тот даже заскучал по нему, подсаживался к окну не только для того, чтобы глянуть на Дом коммуны, а в надежде увидеть где-нибудь на улице Володьку. Не мог, не мог тот обидеться на него только за то, что не похвалил за его демарш на радио и назвал дураком. Он не злопамятен, нет. Значит, что-то с ним случилось, и возможно, что-то серьезное, а то бы обязательно прибежал. Перед окном не показался ни единого раза. Хоменок начал не без оснований волноваться — все

же Володьку он считал никак своим вторым сыном, да и тяжело теперь было без него: просит кого-нибудь из соседей, чтобы принесли чего из магазина, и раза два спускался с четвертого этажа сам. Непросто это давалось. Однако таких желающих услужить, как Володька, не было.

А Володька никуда не девался. У него теперь была свободная квартира, а работа, вернее, отсутствие таковой, — целиком развязала ему руки. К тому же, когда есть такой угол, как у него, то друзья откуда только и берутся, окружат, как стая волков свою жертву, разденут до нитки, а потом начнут замышлять что-то и покруче.

Дверь не закрывалась, на кухне было тесно от мусора и Колек-Васек, которых сменяли, как на вахте, Петьки-Мишки, Зинки-Машки. Но должен же был, впрочем, наступить такой период, когда все, что только можно, будет пропито, и останется последняя, порожняя бутылка, за которую ничего не купишь — даже спичек. Приехали!

Несколько дней Володька обычно выходил из запоя, в рот ничего не лезло, кроме одного-двух глотков воды. По утрам, поднося банку с водой к сухим губам, он почти всегда говаривал: «Только тот, кто не пил вечером, не знает утром вкуса воды...» В последнее время рядом с его диваном спал на полу квартирант из Молдавии Лукас, так называл он себя, подчеркивал и хвалился, сколько у него в погребах вина. Бочки!.. Володька тогда облизывался и мечтал, что поедет к тем сокровищам. Быстрее бы!.. У Лукаса деньги есть, в отличие от прежних его собутыльников, но он поставил Володьке жесткое условие: чтоб никаких пьянчуг. Лукас мог в любой момент принести фляжку вина, но Володька почувствовал и сам, что пора остановиться.

Так прошло еще несколько дней. Здоровье будто пришло в норму, начал появляться аппетит, и Володька даже подумывал навестить Хоменка, ведь как он там один, без него. Его же обязанность и в магазин сходить, и оплатить коммунальные услуги. Имел намерение познакомить с ним и Лукаса. Тот сперва и сам высказал такое желание, но потом, когда узнал, что Хоменок тверд как кремень, умеет выпить и закусить, имеет зоркий орлиный взгляд, то почему-то потерял к нему интерес и всячески избегал встречи с ним. Володька сперва удивлялся, отчего это он так крутит хвостом, а потом махнул рукой и совсем перестал вспоминать про Хоменка.

Лукас куда-то исчезал средь белого дня, возвращался веселый и бодрый, выкладывал на стол пакетики с едой, приглашал пировать. Приносил, конечно же, и водку. Сам пил мало, а все больше подливал

Володьке, потом доставал и вторую бутылку, и третью... Лукас, как ни в чем не бывало, спал теперь на диване, у него были свои чистые простыни, а Володька на фуфайке рядом, возле стены. Поменялись местами.

Володька же, продрав глаза, гордился, что Лукас спит на диване:

— Чтобы я своего гостя, квартиранта, да положил на фуфайку! Никогда! Лукас, будь как дома!.. Ты мне нравишься, дай, я тебя поцелую.

Лукас всячески уклонялся от поцелуев, советовал Володьке лечь отдохнуть. Тот послушно тянулся к фуфайке и замолкал.

Однажды Лукас принес целый ворох каких-то бумажек, подал Володьке.

— Все подписано. Дом хороший. Туалет, правда, во дворе. Две комнаты. Здесь — одна, а там — две!.. Сечешь разницу, друг?..

Володька ничего не мог понять. Моргал часто глазами, глядя на Лукаса, словно только на свет появился:

— Какой... дом? Какой двор? Ты что плетешь, квартирант? Кого в лапти обуваешь?..

Квартирант просил не волноваться и не кипятиться, все сделано по закону, подписаны же твоей рукой бумаженции. Когда? Когда подписаны, спрашиваешь? Что? Зачем? Ах, ты не помнишь! Это твои проблемы, Володька, пить меньше надо. Так что переезжай в деревню, там тебя уже прописали, ждут. А здесь буду жить я. Как и договорились. Мы же взрослые люди. Посмотри, посмотри: вот и мой штамп о прописке. Что скажешь теперь? Ну, а деньги Лукас тебе после отдаст... Компенсацию... Лукас не обманет. Лукас хороший человек. Ты же знаешь, Володька. Когда я для тебя денег жалел? Рассчитаюсь, не волнуйся, но маленько позже, брат.

Только теперь Володька понял, кто такой Лукас, и оттого, что его так круто обвели вокруг пальца цыгане, он готов был завыть, как волк в пилиповку. Он схватил табуретку, поднял ее над головой и, озверев, запустил ею в Лукаса:

— Гад! Падла-а!

Табуретка ударилась о стену и рассыпалась.

В это время дверь распахнулась, и на пороге появились еще два Лукаса. Они молча взяли Володьку за шиворот и выбросили на лестничную площадку.

Раздел 11. Нужные люди

Не его, Данилова, вина, что так получилось: пригласили на работу в областную газету, а от таких предложений обычно не отказываются. Из столицы вроде бы дали взбучку за никудышный стиль, кинулись искать стилиста и вспомнили о нем: все же пишет человек рассказы, пьесы.

Извини и прости, Сельмаш!..

Чтобы никто не препятствовал править «все, что написано пером», ему отвели место в зале для заседаний, который находился на первом этаже, там было несколько столов — выбирай любой. За одним, правда, тем, что в углу и у самого окна, сидел иной раз Алесь Широкий, секретарь областной журналистской организации и мастер писать короткие заметки про художников, которые подписывал солидно и достойно: искусствовед. Затерзал он Данилова, пока тот не привык, чтением своих строк. Обычно ходил по залу и вслух читал, а после каждого предложения обязательно спрашивал: «Ну, как?» Надо было отвечать конкретно: хорошо или плохо. Алесь Широкий, а человек он грузный, неповоротливый, словно борец-тяжеловес, и спокойный, как скала на морском берегу, когда ему нравилось замечание Данилова, немедля возвращался к столу, вносил правку, опять возвращался на середину зала, читал очередное предложение и смотрел на Данилова, суетливо моргая глазами: «Ну, как?»

Но в кабинете Широкий сидел мало — обычно спозаранку, а потом звонили то ли ему, то ли он сам кому-то, и тогда Алесь прятал бумаги, просил Данилова:

— Скажешь, только вышел.

Однажды Широкий срочно понадобился редактору Артему Пазько, человеку энергичному, заводному, маленького роста, но в меру коренастому, и надо было видеть, как раз за разом — минут через несколько — тот заглядывал в кабинет, бросал кратко и резко:

— Не появлялся?..

Широкий вернулся перед самым обедом, красный, словно печеный рак, и еще более неповоротливый, чем обычно по утрам, он долго топтался перед зеркалом, что висело на стене сразу же за дверью, разглаживал лицо, кривлялся-косился, чем-то брызгал в рот, а потом посчитал, что пора обратиться к Данилову:

— Ну, как?

Тот улыбнулся: заметно, конечно, что хорошо выпил. Широкий понял стилиста без слов — стилист он и в жизни стилист,

оказывается — и опять начал топтаться перед зеркалом, опять показывал лицо Данилову, интересовался:

— Ну, как?

Однако на этот раз Данилов ничего не успел ему ответить — в зал, словно вихрь, влетел Пазько, сразу понял, только глянув на Алеся, которого столько времени жаждал увидеть, что тот под хорошим градусом, а когда он под ним, то сильно заикается, а плюс к этому и теряется вчистую. Значит, лучше не задавать ему лишних вопросов: вразумительного ответа все равно не получишь. Поэтому Пазько, едва сдерживаясь, только рявкнул:

— Где доклад?!

Широкий совсем растерялся. Он словно забыл, где находился. Надо было искать тот злосчастный доклад, а ноги не слушались. С горем пополам добрел до стола и стал перекладывать с места на место все подряд: резинку, карандаш, пресс-папье…

Наконец-то, не без помощи самого Пазько, доклад был обнаружен: он лежал сверху в ящике, который надо было только потянуть на себя. Редактор сгреб доклад и молча вылетел из зала. Широкий еще долго сидел за столом и сопел, словно горн в кузнице.

Иной раз, когда Данилов сидел над горкой рукописей, в комнату просовывала голову буфетчица Марийка, делала такой вид, будто вот-вот конец света и она, бедная, не знает, что ей делать, как спасаться. Чтобы не тратить напрасно время, сразу разводила руками, цепляла на симпатичное личико солнечную ладушку-улыбку и переходила поближе к делу:

— В подвал зайти не хочешь?

Повисало, конечно же, молчание. К Марийке? В подвал? Она приятно и многозначительно улыбаясь, ждала ответа. Заодно поправила и прическу. Данилов слышал, будто к ней в тот подвал ныряли наиболее шустрые мужчины, но считал, что это только сплетни, и не более.

— Повторяю, новенький: в подвал не хочешь? — переспросила Марийка, теперь только упор сделала на вторую ногу, легко и натренированно перенеся на нее точку опоры. — Ну, отчего молчишь, как воды в рот набрал, юнец?

Данилов поперхнулся:

— А что, извините, делать будем?

Марийка захохотала:

— Он у меня спрашивает, ой, Боже! Прямо не могу!.. Сегодня же пятница. Привоз. Машину разгрузить надо. А вас, мужчин, и днем с огнем не сыщешь: не буду ж я Лаховского просить. Потом подметать

песок за ним надо. А у меня метлы нету. И большинство таких. Попрятались, что ли, все? Как тараканы в щели?

— Теперь понял! — бодро и энергично ответил Данилов. — Давно физическим трудом не занимался.

Марийка многозначительно хмыкнула... В самом деле, как это он забыл, что сегодня в буфете привоз. Марийка будет отоваривать сотрудников редакции тем, чего не найдешь в обычных торговых точках: сервелатом и колбасой других сортов, печенкой, мясом, рыбными консервами. За всем этим вытягивается очередь не меньше, чем в мавзолей, но тому, кто носил дефициты в подвал, выдается набор продуктов без очереди. Когда Данилов узнал про буфет, сначала почувствовал неловкость: дескать, так поступать не совсем пристойно, однако постепенно привык, втянулся, и домашние уже ждали его в конце рабочей недели со свертками. А Данилов, в свою очередь, не отказывался ни от чего, что привозила Марийка и что можно было приобрести у нее довольно дешево. Не думалось, что такие же буфеты есть в обкоме партии, в горкоме... и много где еще. Было бы, конечно, хорошо, чтобы все это могли приобретать все люди в обычных гастрономах. Вдоволь. Без очередей. Как-то поинтересовался у сослуживцев со стажем, кто те незнакомые люди, что пришли в редакцию за дефицитом? Ему — на ухо, полушепотом — отвечали: тот вон, усатый — парикмахер, обслуживает редактора... А вон та женщина — стоматолог... а молодой парнишка — автомеханик... Нужные, одним словом, люди... Они стояли в очереди, как и надо вести себя в гостях, тихо-мирно, ни с кем не вступали в разговор, а только когда встречались взглядом с Марийкой, то что-то с приязнью говорили ей, а она, буфетчица, чуть ли не заглядывала каждому из них в рот. И Данилов делал для себя очередное открытие: люди, которые стояли в очереди, нужны и ей... Свои. Без них — никак, похоже на то. Рука, как говорят, руку моет.

Что интересно, и сам он, Данилов, почувствовал, что является не последним человеком, а все же кому-то еще нужен в этой немножко корявой жизни. Конечно же, не считая семьи. К нему подходят с материалами сотрудники редакции, кладут листки перед ним на стол, каждый стремится пододвинуть свое писание поближе к стилисту, — чтобы побыстрее прочел, поставил свою подпись, и тогда этому материалу будет сразу дан ход — секретариат, типография, газетная страница... И каждый старается угодить Данилову, льстит, старается улыбнуться ему или что-то сказать хорошее и ласковое.

Всегда находился кто-то, кто обязательно попросит, чтобы прочел его материал в первую очередь. «Срочный!» Чего скрывать, к

некоторым журналистам областной газеты Данилов относился с личной симпатией — как, например, к Зосимовичу, и когда тот просил прочесть его материал, Данилов, бывало и такое, просто ставил свою подпись, не читая: как пишет Зосимович, он знал. Хорошо пишет. К тому же и его учитель. Даже, можно сказать, крестный отец в журналистике. Когда Сережа Данилов закончил школу, то обратился в обком партии с просьбой — посоветовал писатель Михась Даниленко — чтобы его взяли куда-нибудь на работу в районную газету. Про учебу не думалось. Хотелось побыстрее работать: «трое суток не спать, трое суток шагать ради нескольких строчек в газете...» На газету и на тех, кто ее делает, юный селькор молился, словно на икону. Так он оказался в кабинете Дубовца, или просто Зосимовича, который заведовал сектором печати в обкоме партии. Деревенский парень, Сергей был всего лишь второй раз в таком большом городе, как Гомель, а в обкоме партии... Да что там говорить! Ходил по коридорам и боялся. Однако выходил оттуда, будто на крыльях летел: Дубовец встретил его, пацана, по-отечески тепло, даже не поскупился на шутку: «А у тебя, Сережа, сумка больше, чем ты сам. И ноги, вишь ты, до пола со стула не достают... А я же, когда встречал твою фамилию на страницах газет, то думал, что ты — богатырь: больно много и хлестко писал». Он предложил Данилову на выбор три редакции, паренек, конечно же, выбрал ту, что была поближе к дому. Так он оказался тогда в Корме, а на следующий год, осенью, пошел в армию.

Через несколько лет, приехав в отпуск, Данилов навестил бывшего редактора кормянской райгазеты Павла Олеговича Павленко. Тот уже был на группе, стопку, как это мог в прежние годы, не брал, потому пили только чай. А Данилов вспомнил, как зимой, когда его отправили в командировку в один из колхозов, автомашины тогда и близко не было в редакции, автобусы не ходили — езжай на чем хочешь, вернулся с пустыми руками, ни строки в блокноте, только промерз до костей. И плакал, что ничего не получилась, что не выполнил задание. Зашел прямиком к редактору на квартиру, которую тот снимал в обычном деревянном доме. Они с женой растирали ему щеки, уши и нос, и вдвоем утешали: да не горюй ты, чудак, и не плачь, ну, не получилось сегодня, завтра получится. Помнится, еще подчеркнули, если уже плачешь, то будешь хорошим журналистом. Есть ответственность. Молодец...

Что было, то было.

Позже Данилов узнал, что Павленко умер. А коллеги-журналисты, которые выносили гроб из квартиры, острили: «Этот день мы приближали, как могли...» Озорники, что с них возьмешь!..

Круто повернулась судьба и у Дубовца. Обычно с сектора по печати идут на высокую должность в областную газету — редактором, в конце концов заместителем, а он пришел рядовым корреспондентам. Дубовец не был служкой, имел острый язык, сыпал шутками где надо и не надо, и потому, наверное же, считался не совсем серьезным человеком. Не скомороху же возглавлять орган обкома партии. Да и стопку брал. Даже в рабочее время. А как не возьмешь, когда приезжают журналисты из районов, когда гонорары приходят? Стопка сама лезет в руки. Это надо быть или больным, или полным идиотом ... А он и не прятался!

Иногда Данилов замечал, что у шефа — Зосимовича, слегка дрожат руки, и он предлагал ему:

— Может, прогуляемся?

Напротив, через дорогу, столовая, где в буфете продавали дешевое сухое вино, и Данилов не жалел денег, чтобы поправить здоровье своему шефу. Шефу — можно и в рабочее время, ведь это единственный человек в редакции, которому такое позволялось. Об этом все знали и не обращали внимания, есть запашок у Зосимовича или нет. Он мог также обнять Пазько в коридоре при всех, помять его в своих объятиях, а потом предложить:

— Пошли, Артем, в подвал. Там у Марийки коньяк есть. Я угощаю.

— Ай, была не была!.. Пошли! Где наша не пропадала! — махнет рукой Пазько, и они застучат каблуками по ступенькам. И все представляли, как Зосимович, встретившись взглядом с буфетчицей, скажет: «Только тот, кто вечером не пил, утром не знает вкуса воды!..»

Сегодня, как никогда раньше, завалили рукописями Данилова. Очередь. И каждому надо побыстрее, немедля. Известное дело. Кто в очереди хочет быть? Но пока не разберется стилист со статьей сотрудника Лаховского — хода другим нет: как всегда, ветеран накрутит, что голову сломаешь: надо хорошенько подчищать рукопись. Лаховский не любил, когда его правили, один раз даже набросился на Данилова: «Ты это что, молокосос, меня еще будешь учить, как писать?! Да я в «Правде», если хочешь знать, печатаюсь»! Данилов, и действительно, видел там информушки, которые Лаховский, скорее всего, передавал по телефону. Сделал вид, что не услышал, хотя внутри закипало. А Лаховский висел над столом, как тот надоедливый комар: «Здесь не черкай! Тут правильно! Грамотей, однако!..»

Лаховский списался, конечно, вчистую, был выжат, как лимон, попробуй поработай пером каждый день в течение всей сознательной жизни — что останется? Пшик. А ему все еще надо зарабатывать на кусок хлеба. Хотя голова — не вечный двигатель: снашиваются и там разные шестеренки-извилины. Даже учитывая и то, что мало кто помнит, когда Лаховский пригубил хоть раз рюмку. Работая в партийном отделе, он так приноровился писать отчеты с разных партийных собраний и конференций, что мог и не выезжать на место, дай ему по телефону фамилии выступавших — и читай назавтра статью с полным анализом всех проблем и перспектив. Один раз Лаховский проявил на дежурстве бдительность, за что законно получил благодарность от редактора. Тот уже подписал номер в свет, а Лаховский (про таких не зря говорят: ветеран не дремлет!) свежим глазом увидел, что какая-то несуразица получается. Сверху шел заголовок «Прыжок антилопы», а под этим материалом — тассовское клише, на котором очередь в мавзолей, и подпись: «К Ленину!»

Ляп был бы ого-о!..

После Лаховского на очереди материал Владимира Светлого, который, к удивлению, имел такую вот фамилию, а сам был похож на кавказца — волосы черные как смоль. Владимир Светлый дружил с Зосимовичем, они часто хохотали в коридоре: видимо, что-то интересное вспоминали из своих приключений. Светлый работал заместителем ответственного секретаря Рутмана, поэтому всегда ходил со строкомером.

Как-то Владимира Светлого разбирали на партийном собрании — жена пожаловалась, что тот приходит домой, особенно, когда возвращается из командировок, где щедро угощают, с запахом, которого она не может и на дух терпеть. Поскольку жена работала в райкоме партии, то ее жалоба, как посчитали, самая что ни на есть авторитетная и весомая. Не шуточки — довел женщину. Серьезней и быть не может. Собрание! Ну, собрались, пожурили, как и должно быть, нарушителя партийной дисциплины. Потом и ему слово предоставили: давай, выкручивайся, оправдывайся. Светлый был на удивление спокоен, уравновешен, кашлянул в кулак и серьезно произнес:

— Когда ж прихожу домой, как в райком партии!

Брызнул смех, и хотя секретарь и цыкнул, чтобы не забывали, где находятся, — не подействовало: ведь не секрет, что участники собрания не любят ходить в райком партии даже изредка. А здесь — каждый день.

Светлый отделался выговором. Но после того собрания домой зашел всего один раз — чтобы забрать вещи. Ключи оставил соседям.

Заглянула Тамара Баритонова, заместитель редактора, посмотрела на стопку рукописей, что лежала перед стилистом, осталась довольна: строчат, не сидят сложа руки, так что можно жить и завтра, и послезавтра. Хватит материалов на несколько номеров. А там еще ТАСС подкинет, БЕЛТа, АПН. Газета — молотилка, ей только подавай, перетрет, перемелет и спрессует все факты и новости, отчеты и криминальную хронику в подшивку, а Дубовец и Светлый, взяв по стопке, затянут свою любимую песню, из которой и знали, наверное, всего две строки: «На пыльных страницах... районных газет останутся наши следы...» Областная сбивает ритм. Поэтому хорошо будет и «районных». Это же в песне так, не в жизни.

А Данилов, ощущая приятную усталость в теле и легкий туман в голове, будет сидеть напротив в кафе, восхищаться певцами и серой пеленой сумерек на улице Ленина, миганием огненных брызг, и думать о том, что и они, как ни крути-верти, — нужные люди. Ведь они нужны читателям, которые живут и в этом красивом и уютном городе, и в самых отдаленных уголках области. Там ждут и читают газету. И вовсе незачем им, читателям, знать, что не заладилась у Зосимовича и Светлого семейная жизнь, а после работы, когда на город надвигается вечер, они любят посидеть в этом вот обычным кафе, где не всегда подметен пол и блестит стол, на который не поставишь локти — соскользнут.

И Данилову хорошо с ними. Иногда он вспоминает односельчанина деда Стефана, соседа и родственника, который сам не выписывал областную газету, а приходил каждый вечер к ним в хату, надвигал на свой нос, похожий после ранения на картофелину, круглые, с желтыми от времени стеклышками, очки и читал вслух газету... И все, окружив деда Стефана, слушали.

Тогда было мало телевизоров. Зато было много газет. С ними, с газетами, — чрезвычайно уютно и хорошо — как у аккуратной хозяйки в светлой, чисто прибранной избе. Газеты приносили в каждый дом такую же светлую радость.

И разве Данилов мог представить, что будет когда-то и сам работать в областной газете, которую так любил читать дед Стефан. Жаль, что его не стало. А то бы не поверил, засомневался. Нацепил бы на нос свои выпуклые старенькие очки, посмотрел бы сперва на газету, потом — на Данилова, словно сверяя его с ней, нахмурился бы и покрутил лысой головой. Но вероятно, все же порадовался бы:

— А кто тебя учил козье молоко пить, антихрист этакий! А ты сперва упрямился, неслух!.. Кем бы вырос, если бы не дед Стефан!.. Или не так говорю?..

Раздел 12. Глушец

Таких хозяйств, как это, вблизи города несколько. Здесь кормился свининой и говядиной обком партии. Это плохо или нет — сказать трудно, ведь человеку всегда надо есть, чтобы работать. Обкомовцы, возможно, много ели, однако же, согласитесь, и трудились они не меньше, с утра до позднего вечера. Не надо бросать в их огород камень, тем более, что тогда, как и теперь, многие ели более сытно, но палец о палец не ударяли без выгоды для себя.

Глушец. Может, когда-нибудь, давным-давно, когда на Полесье мстил полякам дед Талаш, здесь также была несусветная глушь, люди и звери вязли в болоте, и на болоте привычно и знакомо скрипели коростели и стрекотали сойки. Сегодня — иначе. Болота отошли в небытие, дороги заасфальтированы, дома, в которых живут сельчане, радуют глаз белым кирпичом и голубыми ставнями. Почти возле каждого двора стоит легковой автомобиль. Или на просторном, также заасфальтированном, как правило, дворе. Да и сами гаражи городским не уступят.

Научились и здесь, в Глушце, жить люди. И слава Богу.

В тот день хоронили бывшего председателя колхоза Михаила Калистратовича Плотникова. Гроб с его телом люди несли над головами, с улицы на улицу, не спешили, как и положено во время траурной процессии. Жил человек — и нет. Нет? Как это — нет?!..

О Плотникове так не скажешь. Людям тяжело поверить, что его не будет рядом с ними.

Среди тех, кто шел за гробом, был и Павел Минеров. Он появился в Глушце недавно, с полгода назад, и люди ему сразу не позавидовали: после мудрого Плотникова, понимали, вряд ли кто сможет так умело управлять колхозом. Вряд ли. Хотя Минеров и был первым секретарем райкома партии. Плотников, возможно, и не смог бы управлять всем районом, как тот, а вот сможет ли после всего района управлять одним колхозом Минеров?

Многие, конечно же, идущие за гробом, вспоминали, каким человеком был умерший. А каким? Болел за каждый стебелек, что колосился на колхозном поле, был порой грубоват с людьми, жестковат, но быстро отходил, мог извиниться. Иной раз не сдерживался, пускал в ход свой большой, словно пудовый, кулак: еще раз увижу, что напился на работе, убью, мать твою так!.. Его и осуждали за это, и хвалили. Одновременно. Но уже когда нужда прижмет, за помощью обратишься, —тут уж не ошибались: не откажет, хоть сперва и подергает, лекцию прочтет, что где-то

набедокурил, не послушался и вообще обманул председателя и колхоз, а когда надо — похвалит, припомнит что-то хорошее, если имеется за тем человеком что-то заслуживающее добрых слов. Однако поможет в любом случае! И люди старались отвечать ему тем же. Потому и богател колхоз, что работали здесь хорошо и не бежали в город, хоть город тот — вон, рядом, трубы некоторых заводов торчат на горизонте, будто очиненные разноцветные карандаши.

Плотников и работал бы, хоть лет ему многовато было, за семьдесят, мужчина он крепкий, здоровяк, ангел-хранитель, видимо, берег его, хоть не всегда сам он и слушался ангела. Но судьба всего одного человека иногда зависит от судьбы страны. Если бы не развалили коммунистическую партию, то Минеров сидел бы, как и прежде, в своим кабинете, а Плотников носился бы сломя голову по фермам и полям в своем Глущце и дальше. Пока не упал бы где-то на ходу. А так пришлось ему, Михаилу Калистратовичу, стать заместителем у бывшего своего районного начальника. Ему — заместителем? Ну, братцы, и ситуация. Извините. Не позавидуешь. Возможно, для кого-то бы она и была наилучшим выходом, наиболее благоприятным, только не для этого неугомонного человека: Плотников не пережил, на сердце прибавилось шрамов, и его хватило только на полгода. Хоть приезд Минерова и не ускорил смерть Плотникова, но теперь, когда он умер, люди думали именно так. А коль в их головы закралась такая мысль, выбить ее оттуда сразу невозможно, не надо и предпринимать каких-то усилий: это может сделать только время.

На кладбище прощальное слово произнес Минеров. Он отметил, что Плотников имеет много наград, и все они получены заслуженно, даже есть ордена, не считая медалей, почетные грамоты ЦК Компартии Беларуси, Совета министров, областного и районного комитетов партии. Память о Плотникове будет жить.

Катерина Ивановна также слушала Минерова, она протиснулась поближе к выступающему, чтобы убить сразу двух зайцев: глянуть хоть одним глазом на того человека, который лежит в гробу и которого никогда раньше не видела, а заодно и обновить в памяти портрет ее далекого, в общем-то, родственника Минерова: не изменился ли, ведь понес, как ни суди, человек определенные потери, когда лишился такой солидной и высокой райкомовской должности, мог и лицом осунуться, похудеть заметно, что не узнаешь. Удовлетворенная, сделала для себя заключение: каким он был, таким остался. Кровь с молоком. Орел.

И что ему, действительно, Минерову, сделается? Теперь еще свободнее человеку — сам себе хозяин, не висит более над ним дамоклов меч в виде бюро райкома, бюро обкома... Не стало партии — наступило ослабление, и вожжи, в каких держала она всех своих членов, куда-то бесследно исчезли, и он, Минеров, ощутил, что и сам сделался враз вольным казаком, словно хомут сняли с шеи. Теперь он может встречаться с секретаршей Верочкой где хочет и сколько хочет. Верочка, как и он, живет в городе, женщина она незамужняя, могла б участвовать в конкурсах красоты, но зачем? Победит она там или нет, а у Минерова свое получит всегда. Каждое утро он заезжает за ней, когда есть желание, задерживается, наслаждаются жизнью, а потом едут в Глушец. «Волгой» управляет сам, хоть по штату имеется и водитель, но если тот и садится за «баранку», то в исключительных случаях: когда шефу надо присутствовать на банкете, когда дорога дальняя, например, в столицу или куда в ближнее зарубежье, в тот же Брянск или Чернигов. Но когда Верка сидит в салоне — им, водителем, и не пахнет: ревнивец Минеров еще тот, хоть, казалось бы, кто ему она, Верка. Обыкновенная любовница. Молодая и красивая, даже замужем не была еще. Хотя Верка помнила, кто помог ей получить двухкомнатную квартиру в центре Новобелицы, в новом и престижном доме, но начинала иной раз бояться, что Павел Сергеевич Павлом Сергеевичем, а ей надо когда-то строить свою собственную жизнь — выходить замуж, рожать детей. Она думала об этом со страхом: сможет ли маскировать от мужа свои отношения с Минеровым? Понимала, что от Минерова так просто не отделается, хоть ты подыщи ему кого-нибудь вместо себя. Но кого? Да и положа руку на сердце, надо же быть дурой, чтобы спокойно смотреть, как то, что получала в течение многих лет она, будет получать другая женщина? Нет, вздор все это, вздор. Пускай будет так, как есть. И чем закончатся отношения, тем и закончатся. Еще и неизвестно, выйдет ли вообще она замуж. Чтобы найти кого, необходим счастливый случай, надо вытянуть своеобразный лотерейный билет. А где он, тот билет? Покажите. Да и чтобы вытянуть его, надлежит участвовать в розыгрыше, а она лишена такой возможности — все время при Минерове, без его разрешения и негласного надзора не может сама сходить на ту же дискотеку или в какую-нибудь компанию. Только проснется, раскроет глаза — вот и он сам на пороге, всей своей персоной. Иногда Вера и утешала себя: «А может, и совсем не выходить замуж? Родить от Минерова ребенка да и растить его, сына или дочь, как мать-одиночка при богатом отце? Минеров не оставит, тем более, что ребенок же будет от него. Куда он

денется!» Она хорошо знала его слабые и сильные стороны, потому понимала, что все будет так, как захочет она. Такая затея и ее заинтересовала-заинтриговала, она даже порадовалась, что догадалась решиться на этот шаг. Была не была! К тому же представила, как не только в Глущце все начнут молоть языками, что Верка забеременела, да и понятно, конечно ж, от кого, ведь так на коленях и сидит, стерва, у Минерова, как ни посмотришь, больше и не от кого, а дойдет — конечно же, дойдет! — молва и до жены Минерова, вечно неудовлетворенной жизнью, надменной Галины Викторовны. Брюзжит на мужа, фыркает, если что не по ней, не обращая внимания, что Минеров и тогда был, и теперь остается птицей высокого полета, и ее брюзжание при людях льет, конечно же, воду не на мельницу мужа. Как только она представила лицо Галины Викторовны после того, как та услышит про ее беременность, у Верки настроение сразу улучшилось. Получи подарочек, принцесса!.. А в своей комнате она была одна, поэтому могла даже громко и выразительно, как актриса на сцене, разговаривать, кривляться перед зеркалом и показывать в ту сторону, где находится за толстыми стенами коттеджа нелюбимая и некрасивая в ее понимании Галина Викторовна, вкусные фиги: на, на, на! А та прибежала потом к ней вот в эту квартиру и начала заглядывать во все уголки — искала, конечно же, мужа. А Минеров нюх имеет: перед самым носом жены умотал домой. И как не встретились в дверях! Разминулись, таким образом. Не найдя его, накрутила этих самих фигишек Верке. А теперь, если такая умница, получай сама. Долг платежом красен.

И Верка твердо решила забеременеть от Минерова. Предупреждать не будет, что собирается родить, а поставит позже перед фактом. Чему быть, того не миновать. С рождением ребенка, Павел Сергеевич!

А позже — и надо же такому случиться, аппетит, говорят, приходит во время еды, — она, Верка, и совсем решила прибрать Минерова к рукам: отбить, отбить мужа у Галины Викторовны. Не беда, что Минеров намного старше Верки, она это знает, и пока он мужчина что надо, ее удовлетворяет во всех отношениях, а когда завянет, как пересаженный на другое место кочан капусты, тогда надо будет искать свежий.

Думая об этом, Верка и сама заметила, что городит чепуху какую-то. Минеров никогда не оставит семью, ведь знает свою жену — она такой бедлам устроит, что мало не покажется. Вспомнит, за что и как строил коттедж, повытаскивает на свет божий столько

грязи, что тот никогда не отмоется. У него, конечно же, рыльце в пушку, это факт: попробуй такой особняк отгрохать на зарплату, купи иномарку, сделай дочери и сыну по квартире. Выставит напоказ та и ее, Верку: она уже обещала окатить ее бензином и подкечь при первом удобном случае, а квартиру, которую выбил для нее Минеров, чтобы было им где встречаться, сжечь или взорвать. Хотя, как бы она это сделала, Верка до конца не понимала и сама: рядом живут люди, они ни в чем не виноваты, ее же однокомнатная квартира — не коттедж, да и не избушка на курьих ножках. Не возьмешь так запросто, поломаешь зубы. Часто скрипит ими жена Минерова.

Этот скрип зубов Галины Викторовны Верка, казалось, и услышала. На кладбище они встретились взглядами, и Верка не отвернулась, а на удивление нагло дырявила глазами свою соперницу. Не выдержала Галина Викторовна — у той нервы оказались послабее. Сразу же с этаким вызовом повернулась к Минерову, взяла того за руку и повела с кладбища. Минеров подвел жену к «Волге», та вальяжно расселась на переднем сидении, и машина тронулась с места — повез, значит, ее водитель Сергей в город. Хотя могла б и остаться. В колхозной столовой будет поминальный обед, и Минеров, конечно же, пойдет туда. Ее, правда, не звал. А с какой стати должен это был делать именно он? Все в конторе заранее договорились, что пойдут на обед, неудобно не пойти. Это касается и секретарши директора. Обед делается, естественно, за счет хозяйства — еще бы нет, по кому же тогда делать тот обед, если не по Плотникову, да и все каким-то образом помогали готовить его — привозили-приносили продукты, водку, сервировали столы. Людей ожидается много, и две поварихи не управятся. Толокой и делали. Успевали и там, и здесь. Хорошо, что столовая, клуб и контора рядом.

Катерина Ивановна на какой-то миг упустила из виду Минерова. Сперва хотела подойти к Галине, с которой у нее были неплохие отношения, чтобы поздороваться, однако не успела: Минеров, как показалось ей, втолкнул чуть ли не силой жену в легковушку и быстренько махнул рукой водителю, чтобы ехал. А затем председателя обступили какие-то мужчины, по-видимому, начальники, все были одеты богато и выглядели хорошо, так что было не добраться до него, Минерова. Она смирилась уже с тем, что сегодня выбралась в Глушец, и не совсем удачно, как оказалось. Если бы знала, что здесь будут похороны, тогда сидела бы лучше дома, не суетилась. Хотя как сказать — побыла на людях, на поминки вот

попала, давно как-то не получалось, чтобы на поминки, поплакала вместе со всеми. Теперь же время такое, что, бывает, зароют соседа и потом только узнаешь, что он умер. Тайком, втихую, что ли, чтобы, не дай боже, лишнего куска хлеба не истратить, не говоря про стопку. Вон, хоронили соседку Мирониху недавно. Собрались ее подружки, хотели зайти, чтобы попрощаться с покойницей, ведь не один же год на скамейке перед подъездом сидели, а их и не пустили. С таким кощунством старушки раньше не сталкивались, поэтому долго осуждали соседей.

Сегодня Катерине Ивановне обязательно надо было встретиться с Минеровым. Эти вот похороны, на которые попала случайно, всколыхнули все внутри, словно там вулкан какой-то ожил, и она готова была разорваться на части, только б похоронить по-человечески наконец и своего Николая. Урна так и стоит в крематории, оттуда уже письменно напоминали два раза, чтобы забрала. Стыдили…

Людской поток внес Катерину Ивановну в столовую, неизвестная ей женщина показала, куда лучше всего сесть, она послушалась. Довелось услышать много хвалебных слов о покойнике. Первым опять брал слово Минеров, говорил он почти то же, что и там, на погосте. Хвалил. Конечно же, этого и стоило ожидать: про покойников или хорошо, или ничего. Только заметила Катерина Ивановна, — не заседала бы она в женсоветах при гарнизонах, ничто в жизни, как видимо, не проходит бесследно, — что когда речь держал Минеров, люди старались не смотреть на него, и, похоже, умышленно отворачивались, делали вид, что им все равно, что говорит новый председатель. Она поняла, что не вписался все же в новый коллектив ее родственник, пока он здесь чужой человек. Да, да: чужой. И хоть старался Минеров понравиться людям, у него ничего не получалось. Почему так — Катерина Ивановна начинала догадываться, основываясь на простой женской логике: с бывшим председателем люди жили долго, было у них много и радостных минут, и грустных, но делили все это они вместе со своим, доморощенным, руководителем. А тут — новичок, городской, посидел в кабинете, поездил по полям, да и подался в теплую городскую квартирку. А бывает же, что и электричества нет, к примеру: порыв на линии или что. Бывает. Тогда не было света и в доме Плотникова. А теперь если не будет электроэнергии, то у нового председателя в квартире лампочка не погаснет. Общие проблемы сближают людей и роднят. Пускай Плотников, как говорят, не заканчивал «академиев»,

зато жизнь понимал и управлять научен был не хуже чем если бы у него был тот диплом. Самородок, каких поискать!..

Обо всем этом думала Катерина Ивановна, время от времени поглядывая на Минерова: не упустить бы его.

Хм, это ж скажи кому, что внук, Колька, переселяет ее куда-то... на квартиру. Даже свозил на такси, познакомил с той женщиной, у которой она якобы будет на постое. Ему, видите ли вы, понадобилась ее квартира под офис. И слово же придумали — офис! Бизнесом захотел заняться. Наобещал много чего, даже привезти урну из крематория. Нет, не верит она почему-то ему, внуку. Ветер в голове гуляет, горькое дитя, когда хорошенько присмотреться. Если кто и привезет — то вот он, Минеров, человек самостоятельный и деловой. Она сейчас подойдет к нему, поздоровается, и сразу, без вступлений, попросит его, чтобы выполнил он ее заветную просьбу.

Пора. Минеров наконец вытер губы салфеткой, что-то сказал женщине, что сидела рядом с ним в черной одежде, похоже, вдова Плотникова, встал. За ним стали подниматься и другие. Вскоре многие вышли на улицу. Мужчины промокали носовыми платками мокрые лысины, закуривали. Катерина Ивановна сразу же устремилась к Минерову, поздоровалась с ним.

— Как вы здесь, Катерина Ивановна, оказались? — сразу же поинтересовался он, ответив на ее приветствие.

— К вам, к вам, Павел Сергеевич! — кивнула, улыбаясь, женщина. — Специально приехала. По делу. А попала вот на поминки.

— Так, а что вы хотели? — Павел Сергеевич пускал дымок от сигареты, для чего отводил голову чуть в сторонку. — Случилось что? Срочное?

Катерина Ивановна отметила про себя, что настроение у Минерова неплохое, даже обрадовалась этому, и, не теряя даром времени, призналась, с какой просьбой прибыла в этот Глушец: урну с Николаем, чтобы она боком кое-кому вылезла, та урна, забрать некому, все еще в Минске. По сей день.

Минеров ответил не сразу. Долго смотрел на старушку, и та заметила, что лицо у него как-то перекосилось, помрачнело, затем перекинулся словом-другим с одним интеллигентным мужчиной, который подходил к нему с какими-то непонятными для Катерины Ивановны вопросами, и только тогда промолвил:

— Катерина Ивановна, как же так! Год Николай лежит и не похоронить чтобы!.. Я же не знал обо всем этом. Что, не могли мне раньше сообщить? Зайти или позвонить — не могли?

Катерина Ивановна растерялась и почувствовала, что начинает краснеть; ей и в самом деле сделалось стыдно, от того стыдно, что правду говорит Минеров, правду, если задуматься. Надо было ей быть более настойчивой, решительной, не надеяться на внука, соседей, а сразу идти к высокому родственнику, он бы выручил. А так получается, что она, только одна она виновата, что урна с прахом мужа лежит в крематории.

Катерина Ивановна по-прежнему как-то растерянно моргала, отводя глаза от Минерова, и не находила, что ответить. Зато нашел тот, что сказать ей:

— А можно было, сердечная, и самой съездить в столицу, самой забрать. Там же нечего везти. С буханку хлеба урна. И привезли б.

— Так — далеко ж...

— И Америка далеко. Для того, кто там никогда не бывал. А раз один слетаешь, и станет близко. Нашли, Минск — далеко. Ну-ну. Ко мне ж приехали, Катерина Ивановна? В Глушец. А в наш Глушец, скажу вам, труднее доехать сегодня, чем в Минск. Вы же около вокзала живете, а поездов много ходит. Это ж не после войны.

Он повернулся и собрался, видимо, пойти, посчитав разговор оконченным, но все же глянул на старую женщину, посмотрел той в глаза и попросил, чтобы она позвонила ему домой. Катерина Ивановна не знала, что ей делать, — или решать, как добираться до города, или что-то еще... Хоть плачь. А потом, сама не понимая для чего, потопала назад в столовую, где оставались за столами земляки Плотникова. Подсела к ним и она. Выпила стопку водки до капли, потом вторую. А закусывать не стала. Она сидела и ждала, что будет дальше, чем закончится поминальный обед...

Катерине Ивановне хотелось запеть, и она ждала, чтобы кто-то начал это первым. Не ей же заводить. Она подхватит, подтянет. В том, что тот первый будет, не сомневалась.

Можно ведь на поминках петь грустные песни.

Раздел 13. Трезвый день

— Все, баста: с сегодняшнего дня не пью, — как на исповеди, сказал, привычно дернув щекою, Хоменок.— Убери эту гадость со стола. Ну-у! Ты что, глухой? Володька-а!.. В кубрике — сухой закон!..

Володька, услышав такое, даже остолбенел от неожиданности, а бутылку самого дешевого вина, которую он не успел еще и поставить на стол, еле не уронил на пол.

— Ч... чего так? — понурив голову, спросил он.

— Завязал. Морским узлом, да-да!..

Володька захохотал, разинув свой почти беззубый рот — ему бы теперь только на радио и работать, шепелявому, — да так громко захохотал, что Хоменку пришлось цыкнуть на него, призвать к порядку.

— Ты не один тут, за стеной люди живут, — сказал все же спокойно и благоразумно Хоменок.— И малый ребенок у них. Не гугни. А вино пей один. Понял? Коль принес, то что с тобой, горемыка, поделаешь.

— Хочу. Жажду, — осмелел Володька и забулькал в стакан, предварительно протерев его искомканным рожком своей сорочки.— Почему так поздно завязал? Не скажешь, подводник?

Хоменок, выдержав паузу, подошел к окну, прикрыл форточку и тогда только ответил:

— Лучше поздно, чем никогда.

— Это не ответ. Но подожди, я выпью, а тогда продолжим интервью. Так и быть. Заинтересовал.

— Интервью, сукин ты сын! Интервью, гляньте вы на него! — Хоменок улыбнулся, покрутил головой. — И не забыл это слово: интервью. Сколько это уже прошло, как тебя вытурили с радио?

Володька сделал вид, что не расслышал, а Хоменок, не дождавшись ответа, махнул рукой: что с него возьмешь!..

— Ну! — повеселел Володька. — Рассказывай! Что, как, почему? — Он потер ладони, звонко хлопнул ими. — Главный вопрос дня, который, собственно говоря, интересует публику: почему это ты бросил пить? А, флот?

— А вот захотел и бросил.

— Не юли. На тебя, Данилович, это не похоже.

— Если хочешь правду, тогда скажу: свое выпил. Это, во-первых. Ну а во-вторых, помирать собрался.

Далее Володька сидел скучный, хоть и выпил. Закусить бы, но ничего не лезет в рот. Еще один напарник, значит, отпал. Как сосулька от крыши. Хотя он и не мог поверить, что Хоменок это серьезно сказал, однако надо учесть, что человек он вполне серьезный, как говорит, так и делает. Слов на ветер не бросает. Колебался Володька: и верилось, и нет. А может, и правильно? Ему бы также избавиться от этой заразы, однако ж попробуй! Не получается, она крепко взяла его за горло и, чувствует, давит, давит — скоро совсем зажмет, холера, что не продохнешь. А чтобы сказать — вон от меня, я жить хочу! — не получается. Только во сне иной раз. А проснется, и голова работает в одном направлении — где взять, за

что выпить? Однажды, правда, Володька набрался мужества, открыл дверь в наркологический диспансер и с порога заявил: «Пришел сдаваться!» Ему посоветовали проспаться, а тогда прийти. Пообещал заглянуть, так и быть, проспавшись, а когда протрезвел, понял, что отмочил очередной номер спьяну, не иначе. Больше он туда — ни на шаг, а когда проходил около наркологического диспансера, старался не смотреть в ту сторону. Омерзительно как-то, жутко!..

Володька поднял глаза на Хоменка, Хоменок на него: взгляды встретились.

— Пей, — показал глазами Хоменок на бутылку. — Коль пьется. А нет, то и ты бросил бы, Володька, да за ум взялся. За компанию. Бросай, а?

И он, и он учить! Что это они все одновременно, как сговорились, поучают, умники. Бьют с размаху. Легко сказать, а возьми да брось. Хотя Данилович может, у него характер есть. Он и в лодке пропадал, и в шахте на Севере, потому водке его голыми руками не взять. А вишь ты, все равно не сразу дал ей под дыхало: ха-а! Стоять и не двигаться! Взять бы да и действительно остановиться. Надо. А пока Володька булькает, как и всегда, натренированно в стакан. Это мог бы делать он и с завязанными глазами — опыт большой имеет, ничего не скажешь.

Хоменок, когда Володька опорожнял стакан, отвернулся. А потом сказал:

— С завтрашнего дня, как ты слышал минутами раньше, запрещаю приносить сюда бутылки. Пей где хочешь.

Этот запрет Володьку мало напугал:

— Было б что. А где — найдем. Не тужи. А тебя хвалю, что бросил отраву эту. Мне б твой характер!

Хоменок ничего не ответил. Володька изрядно захмелел, стал, как и всегда, выпив, ругать Нинку. На этот раз ей досталось на орехи за то, что она вывезла все вещи из квартиры и ему нечего было продать, чтобы погасить задолженность по квартплате. А той накопилось — апчхи и будь здоров, приходили, одна за другой, бумажки, которые напоминали ему, чтобы погасил задолженность, иначе будут приняты надлежащие меры. А что он, внук Рокфеллера? Не от хорошей жизни пустил квартиранта, того подлюку Лукаса. Да и никакой он не Лукас, там сам черт не разберет, как его звать. И что, разве она, Нинка, не виновата, что он, Володька, остался гол как сокол, без своего угла, значит? Без всего!.. А учить других все любят. Хлебом не корми.

Вон и Хоменок заладил: ищи работу, иначе хуже будет. А куда его берут? В фотоателье месяца два назад направили, а там сказали, чтобы ходил по квартирам и собирал заказы на портреты. Люди боятся ему даже дверь открыть, где уже там думать им про тот портрет. Сперва на его портрет глянут в «глазок» — и пропадает всякая охота идти с ним на контакт, хотя человек он мирный и безвредный. А было, что и открывали по неосмотрительности — дверь, но сразу же и закрывали: еще бомжа здесь не хватало. Он и сам тогда понял, что эта должность не для него. Ему б такую, чтобы сидеть где в кабинете, с бумажками, подальше от людского глаза. А они, в том бюро по трудоустройству, что предлагают? Грузчиком в продуктовый магазин. Слыхали? Нет, вы слыхали, люди? Это Володьку — грузчиком? А придет в тот магазин главный редактор областного радио Горбачев, тезка бывшего генсека, только того зовут Михаилам, а этого Николаем, а он, Володька, будет грузить коробку с консервами или мешок сахара. А сам грязный с ног до головы — словно только что из канализации вылез. И что тот подумает и скажет на радио? Его же засмеют. Вот, скажут, допился человек, совсем пропал. Хотя и правда. Но, ой как не хочется слышать ее, эту правду о себе! Или направят в колхоз картошку перебирать и морковь выдергивать. Куда-нибудь в пригород, где он частенько бывал с микрофоном и где его даже местные собаки знают. Как он потом людям в глаза посмотрит? Нет и нет! Пускай ищут ему работу стоящую, пускай подбирают, не ленятся. Дипломы же положил на стол, перед самым носом. Два. Есть у него и третий, об окончании университета марксизма-ленинизма. Тот пока не пускает в ход, держит в резерве. А вдруг пригодится еще. Всякое может быть в этой жизни.

Хоменок, хоть и слушал Володьку, думал о своем. Он не показывал тому письмо, которое принесла прямо на квартиру почтальон, поскольку у него внизу даже и ящика не имеется. От Петьки, от кого ж еще. Пишет, что возвращается на родину, с женой полный разлад, никакой жизни. Предупреждает, негодяй: так что, отец, жди, прошу любить и жаловать. Эх, Петька, Петька! Спился, поди, совсем. Что это они все ударились в нее, в заразу эту? Да глянули б, окаянные, сколько вокруг здоровых и красивых баб! Их же ласкать надо, да некому. Такой разворот, такое поле деятельности!.. А они — одно что булькают, шелудивые! Знакомо, ох как знакомо ему, Хоменку: все они, выпивохи, когда-нибудь остаются перед разбитым корытом и просят у золотой рыбки не дворцы-хоромы, а — опять же! — то, что и погубило их, нехристей. Вот почему Хоменок заявил

открытым текстом Володьке, что более не пьет. Ни капли. Ведь, понятное дело, когда сын с отцом начинают выпивать вместе, это добром не заканчивается. Да и всыпать ему надо будет по самое последнее число, если и в самом деле заявится, а это лучше всего делать на трезвую голову.

Со дня на день Петька должен быть здесь.

Откровенно говоря, Хоменку было стыдно за свое прежнее безразличие к судьбе сына. Хотя что он, собственно говоря, мог сделать, когда тот забрался куда-то в тайгу и его никаким способом оттуда не вытащишь? Да и будь рядом — какая польза! Кто теперь их, стариков, слушает. Еще если бы мать хоть была жива. А так! Читал ведь когда-то про эдипов комплекс. После рождения ребенок — неважно, сын или дочь — всю свою привязанность направляет на мать, а насилие — на отца. Так что подставляй ухо, Хоменок! По носу дали чужие, по ушам, чего доброго, получишь от своего отпрыска.

Степану Даниловичу почему-то припомнилось, как Петька, когда еще собирался только служить, попал в больницу — воспаление легких получил. Мужчины, соседи по палате, решили какой-то праздник отметить. Сбросились по рублю. А кого послать в магазин? Ага, Петьку — он самый молодой, салага! А того не учли, что сынок его выписался минутами раньше, только вот одежду еще не получил в больничном гардеробе. Когда его попросили мужчины сбегать за выпивкой, он для приличия поупрямился, а сам решил заранее, как будет действовать. «Давайте, что у кого есть. Так и быть — выручу. Сбегаю, ага. Одевайте, чтобы как с иголки! А то моя вся одежда взаперти. Да и не забывайте, что я человек городской, мне лишь бы как одеваться не идет, ведь встречу кого знакомого — стыда не оберусь». Его и одели, как того хотел. Кто вытащил из тайника ондатровую шапку, кто пиджак, кто брюки, а кто зимние сапоги... «Ждите!» Ждали слишком долго — не дождались, а когда догадались, что произошло, мужики те бросились спасать свои вещи. А Петька, прежде чем оставить больницу, забрал, конечно же, и свои вещи, а в чужих вернулся домой. Как с заработков приехал. Хоменок тогда с Дуней перекинулись недоумевающими взглядами — догадались, что здесь что-то нечисто, набросились на сына, а он возмутился, как никогда до этого: что вы меня учите, как жить? Да я уже солдат, защитник!.. Одним словом, фигу показал тем больным. И не побоялся же. Если бы не армия, то, возможно, и намылили ему шею, и бока бы намяли. Прибежали, правда, парни те в Дом коммуны, начали искать проходимца Петьку, но они, бедняги, не знали, что Дом коммуны своих не выдавал — наоборот, как мог защищал.

Видно, и там, под Уссурийском, такие фокусы выделывал. Вот и сидел в тайге до поры до времени — рядом с тиграми клыкастыми. Но пора, пора выбираться, сынуля! Не вечно ж! Хоть и не обрадовал ты отца, а, наоборот, прибавил забот и тревог. Однако же — свое...

Володька прикорнул прямо на табуретке, и Хоменок не стал его будить. Он подсел к столу, взял тетрадь, которую специально приберег для этой цели, ручку и собрался писать воспоминания. Что-то нахлынуло на него, подтолкнуло, а тут еще и Володька поддержал, пообещав потом отредактировать.

Степан Данилович решил за море пока не браться, а писать сразу про Норильск, о восстании, о том, что думалось-снилось в тех заснеженных и морозных краях. Море — это тяжело, молодой был и зеленый, ему не поднять так просто тему, наверное, вот так — с наскоку, а про то, однако, как ему нос свернули набок и лицо расквасили, руки зудят похвастаться. Ну, так что, в бой?

Он разгладил лист бумаги, который почему-то вздыбился, словно на его дохнуло норильским холодом, и сверху написал неровными большими буквами заголовок: «Норильск». Посмотрел на него, на заголовок, ему понравилось, как написалось: крупно и ровно, заголовок был чем-то даже похож на город; он, Норильск, запомнился ему красивыми и аккуратными кирпичными домами с лепным обрамлением на карнизах, с арками, изогнутыми дугой. А потом начал водить ручкой, и ложились строка к строке, одно слово повыше, второе ниже, словно маленькие сосенки на опушке, и получилось у Хоменка следующее: «Наша семья с 1929 года и до войны жила в собственном доме на углу сегодняшних улиц Кирова и Комсомольской, а тогда — Могилевской и Александровского сквера. Последний, застроенный одно- и двухэтажными домиками, был улицей, и на удивление уютной. Посреди нее — каштановая аллея. Вечерами мама любила посидеть на скамеечке. Иногда, когда были дома старшие сестры и брат, которые проводили время вместе с мамой, я, самый меньший в семье, играл со своими ровесниками под теми же каштанами.

При доме у нас под огород имелось около пяти соток земли. Ах, как же любил я тогда помидоры со своих грядок! Ждал их созревания, наверное, с таким же нетерпением, как ждут дети волшебных чудес или самого светлого праздника. Но всегда почему-то получалось так, что первый спелый помидор находила мама. Она приносила его в дом и говорила: «А у нас созрели помидоры», — и отдавала ту желанную радость мне. Потом, когда на грядах уже вовсю рдела розовощекая вкуснятина, из свежей свеклы мама варила

чудо-борщ, заправляя его помидорами... Батюшки мои, как же любил я те борщи! Столько времени прошло, а мне и сегодня все еще помнится запах их, особенно остро он, тот запах, ощущался там, в Гулаге, когда хотелось есть. Кажется, я постоянно бредил теми борщами, ведь голод ходил за мной по пятам, неотступно...

А еще у нас в огороде росла большая груша бергамот с весьма странными плодами: расплющенными, кругленькими, словно колесики, да такими вкусными, такими сладкими. Когда ко мне заходили друзья, мама напоминала, чтобы я не забыл угостить их нашими грушами. Не знаю, может быть, благодаря тем угощениям, но ко мне на улице относились с уважением. А сейчас этого сорта в городе уже наверняка нет. Жалко — для детей такие груши вкуснее меда!..

Еще вспоминается с того далекого времени, как однажды, когда мне было девять лет, мама взяла меня с собой на свою родину — в околицы шляхетских Ново-Терешковичей. Там жила старенькая бабуля Малиновская. Мать говорила, что ей 132 года. Она уже не ходила — лежала в постели, и к ней люди водили своих детей. Завела мама и меня. Думаю, не просто так завела, не без своего потаенного намерения. Меня посадили рядышком с бабушкиной кроватью, и мне почему-то стало очень жалко ее, я, кажется, пустил слезу.

— Как тебя зовут, мальчик? — спросила меня Малиновская, и когда я ответил, она положила мне на голову свою руку и, обращаясь к маме, сказала: — Хороший у тебя мальчик, Дуня. Пускай живет долго и богато.

И еще жил у нас там же, в Ново-Терешковичах, мой дед Степан — мамин папа. Он любил меня без меры. Может быть, даже и за то, что я носил его имя. Завел нас к себе на пасеку и угощал свежим медом. Удивило и поразило, однако, не множество красивых ульев, не пчелиная суета около них, даже не мед, которого было много и в сотах, и в глиняных кувшинах, — ешь, хоть лопни, как то, что на пасеке стоял деревянный крест с иконой, — дед перед ним молился...»

Хоменок положил поверх написанного ручку, перечитывать не стал, но вспомнил, что собирался писать о Норильске, а написалось совсем другое — про детство, про мать, про деда... И про мед. Про светлое и сладкое написалось. Это хорошо. Про Норильск — потом, поскольку таким писарям, как он, на сегодня хватит: руки натрудил, словно гвозди вбивал молотком, а не ручку держал. Тяжелая, оказывается, эта работа — писать. И думать надо, и сноровку в руке иметь. Однако решил твердо: отдохнет, поужинает, и опять сядет за стол. А пока надо растолкать Володьку, чтобы шел к себе. Проспался,

пожалуй. Хоменок глянул на Володьку и без притворства пожалел, что трезвый день сегодня только у него одного.

Да и то — поздно...

Раздел 14. Заговор

Народный поэт Беларуси Петрусь Бровка, когда гостил у своего брата Александра, любил смотреть поутру на реку, которая вся дымилась, словно жбан с парным молоком, причмокивал языком, крутил головой, восклицая:

— Как бы здесь писались стихи!

Брат Александр Устинович соглашался, подначивал и, возможно, жалел, что он не поэт, а всего-навсего журналист, в прошлом заместитель редактора областной газеты, а теперь редактор световой, которая стремительной лентой несется в предвечернее время и вечером над гостиницей «Гомель», ловко скользит над крышей, едва не задевая ее обычно одними и теми же аршинными буквами, и если кому нечего делать, они могут прочесть, высматривая за той строкой-змейкой, словно кот за птенцом, где в городе можно отремонтировать обувь, приобрести костюм, пообедать. И о многом другом.

Между тем, народный поэт световую газету не читал по одной простой причине — во время его коротких визитов в «братов город» из дому он поздно не выходил. Город он любил днем. Особенно этот район, где жил его Сашка. Подолгу бродил, не уставая, к своему удивлению, Петрусь Бровка по тихим, почти безлюдным улицам и переулкам, останавливался перед вывесками и памятными знаками, что несли на себе отблески прошлого. Если бы кто зафиксировал тот путь, который отмерял, к примеру, в течение всего одного дня Петрусь Бровка, то он выглядел бы следующим образом. Но сперва вот о чем. Весь этот район восточной окраины города появился в итоге его расширения на север от первоначального центра — парка и площади. «Свисток»! Так назвали когда-то эту красивую местность, где хорошо писались бы стихотворения, а отчего так — гадать не надо, все понятно: название дано только потому, что поселялись здесь исключительно гомельские чиновники и офицеры, а слово «свисток» имело общий оттенок или просто — популярное название. Оно прижилось, и когда сперва Петрусь Бровка думал, что здесь где-то поблизости железнодорожный вокзал или локомотивное депо, то он ошибался: ничего этого и близко не было.

Таким образом, народный поэт шел бы в тот день следующим путем. Приятно посмотреть на утренний Сож. Улица Набережная. Далее хорошо пройтись в направлении улицы Садовой к пересечению ее с Волотовской, затем — на улицу Пушкина... Пионерский скверик... Гостиница цирка... Улица Портовая... Разумеется, там, поближе к реке, — порт, судо-строительно-ремонтный завод... Улица Парижской коммуны... Сожская — это уже перед самым Сожем... Можно наклониться, зачерпнуть пригоршней водички и ополоснуть лицо... Благодать!

Когда-то центральными улицами Свистка были Липовая и Крушевская. В 1937 году Липовой дали имя Александра Пушкина в связи со столетием со дня гибели великого русского поэта. Петрусь Бровка где-то вычитал, что на улице Липовой в дореволюционное время имелось много одноэтажных добротных домов, а также на ней были и кирпичные строения — в том числе и железнодорожная лечебница.

Сад, какой здесь сад! Был... А где он сегодня? Народный поэт знал, что этот сад заложил еще граф Николай Петрович Румянцев. В саду были ухоженные тропинки, всюду — разбиты палисадники, оранжереи, парники. На крутом речном берегу стояла беседка Румянцева. Впрочем, после смерти графа от того сада не осталось и следа. Однако же приятно и вообразить, что он когда-то был, тот сад, а яблоками и грушами с его деревьев угощались люди, которые построили в городе дворцы и дома другого предназначения...

И стихи здесь ему, народному поэту, действительно давались.

Сам же редактор областной газеты Пазько, хотя и жил чуть ли не на берегу Сожа, любил ездить писать в Ченки, в дом журналистов, где имелось несколько комнат, был хороший свежий воздух, напоенный сосновым ароматам, а река — так и совсем рядом, через дорогу. Тихо, как в пустыне. Если кто и наведывался сюда, то в выходные дни, а Пазько позволял себе и в рабочие. Говорили тогда: шеф пишет передовую. Данилов удивлялся: сколько же ее, ту передовую, можно писать? Аналитическо-декларативный жанр, самый легкий почти, Набор штампов. Обязательно что-нибудь из речи руководителя страны или области, перечень лучших коллективов, перечень худших, одна-две фамилии, так называемых маяков — чтобы знали, с кого надлежит брать пример. Навести, прицелиться, выстрелить!.. Чего проще! А он, гляньте вы, пишет передовую статью три дня. Тогда в редакции, как никогда, тихо, никто не подает сигнал тревоги: «Пазько в воздухе!» Здорово чувствует себя Широкий, он сам себе хозяин, может даже и не поглядывать в зеркало.

Зосимович — Зосимович всегда: ему — что есть на работе редактор, что нет.

Наконец появляется редактор, вызывает к себя машинистку Михайловну, протягивает ей несколько листков на русском языке — газета тогда выходила на одном языке, белорусском, — и машинистка сама переводит статью. Причем, мастерски. За то время, что она работает, набила, как говорят, руку, так что — подавай только, отредактирует любой текст не хуже стилиста или самого секретаря Рутмана.

Всем было хорошо, казалось бы, что редактор по три дня пишет передовицу на редакционной даче, кроме его заместителя Леонида Коляды. Про себя он думал: «Пора с этим заканчивать, баста! Что, разве мы не знаем, чем он там занимается? Еще бы!»

Вот здесь и порассуждать следует: а что, нельзя было ему, редактору, спрятаться подальше от подчиненных и начальства, сослаться, в конце концов, на занятость и отвести душу крепкими напитками? Ну, когда нужда такая у человека бывает и совладать с той нуждой он не может: так приспичит, братцы, словно в уборную.

Данилов считал: ему — можно. Все идет гладко, есть два заместителя, им если не препятствовать, а дать волю, то и не заметишь, что Пазько где-то и что-то... Бывает же, кстати, и в отпуске. Что, разве газета не выходит?

Так думал не один Данилов.

А вот Коляда проявил принципиальность: не разрешу заниматься тем, чем нельзя! И понемногу начал готовить почву, чтобы устроить шефу хорошую взбучку, забыв даже о том, что когда-то учились вместе в училище речников и жили в одной комнате, а когда что-то у Коляды не заладилось на прежней работе, то никто другой, а именно Пазько, по старой дружбе, забрал его к себе: работай, Леня, где ты такой рай еще найдешь!

Только же не зря говорят: не накормив, не напоив, врага не наживешь. Нет, нет, господа: Коляда делал все правильно — так, как воспитали его партия, общество. Если с этой стороны смотреть, претензий к нему быть не должно, еще и похвалить надо, а вот с другой... Ну, а кто тебе, Пазько, виноват? Сам выбирал друга и заместителя, да и передовицы когда же пишешь подолгу, то в них, бишь, учишь людей, как жить правильно. Так что, извини: бумеранг. К тому же, если поругались Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, то почему не могут поспорить Артем Владимирович с Леонидом Петровичем? Могут, и еще как!

Было обычное плановое производственное собрание, и Коляда поставил на нем вопрос ребром, не без иронии и самоуверенности посмотрев перед тем на присутствующих: итак, почему подолгу пишет Пазько передовицы, спрашивается? Которые, кстати, и качеством не выделяются. И сделал такое выражение лица, выдержал такую паузу, что после всего этого коллеги наконец-то поняли всю серьезность дела: если уж Леонид Петрович действительно посмел выступить против самого Артема Владимировича!.. Получается — поступок? Не поверил только в такую наглость сам шеф, лицо сразу зарделось, а стул под ним предательски заскрипел: он смотрел на Леньку, с коим когда-то спали в одной комнате и швыряли друг в друга, было и такое, подушки. Так это — когда? При царе Горохе, в детстве, можно сказать. А теперь дело набирает, похоже на то, серьезный оборот. Ну, ну, и что там у тебя далее, критикан, правдоискатель? Ишь ты, почему подолгу пишет передовицы? Хм! Пазько понял, куда клонит Коляда, и ему стало жарко, он расслабил галстук. «Говори, я слушаю».

Здесь еще вот что случилось: когда Коляда поинтересовался, вроде бы невзначай, у коллег, почему редактор подолгу пишет передовицы на журналисткой даче, по залу проплыл шумок, ведь все знали ответ на вопрос, и давно, но знали как бы порознь, каждый держал это при себе, а тут разговор вышел за границы собственной головы, то это и вызвало определенное оживление. Джинн вырвался на свободу. Ура джинну!

Коляда повторил вопрос к Пазько. Тот никак, казалось, не мог понять, чего от него хочет подчиненный, ведь обычно вопросы задает он, а здесь — ему: не привык, потому не сразу и сообразил, что к чему.

— Я у вас спрашиваю, Артем Владимирович! — более строго посмотрел на Пазько Коляда. — От имени коллектива. Ответьте вот коллективу.

Мания величия, однако! Он просит! От имени и по поручению!.. Видали? Коляда тоже не промах: прежде чем задать такой вопрос, предварительно заручился поддержкой у некоторых сотрудников, те пообещали поддержать его, поэтому он, довольный собою, окинул взглядом присутствующих на собрании коллег. Но что это? Люди, которые обещали поддержать, воротят от него глаза, стараются не встретиться взглядами, и такое их поведение насторожило Коляду не на шутку. Однако отступать было уже поздно. Коляда понял, что проиграл схватку, почувствовал, как под ним пошел в преисподнюю пол, что он приехал и пора выходить.

— Так мне пишется... долго, — набрав полные легкие воздуха, наконец-то облегченно выпустил его, затем с таким наслаждением вздохнул Пазько, не вставая с места. — Или тебе показать, может быть, как я ручкой вожу по бумаге?

Вот об этом он, Пазько, зря, ведь Коляда сразу ухватился за ручку и бумагу, перевел все это в другую плоскость разговора, и вскоре опять все услышали то, что и знали до этого: оказывается, он там просто пирует. А передовицы — прикрытие.

— Поэтому я ставлю вопрос о дальнейшем пребывании в должности главного редактора областной газеты товарища Пазько... — произнес уже упавшим голосом Коляда и попросил проголосовать за это предложение.

Руку поднял только он один. Заговор провалился.

На следующий день Коляда вынужден был положить на стол Пазько заявление об увольнении по собственному желанию. Пазько молча подписал его, а затем посмотрел в глаза Коляде, покивал головой:

— Эх, Леня, Леня!..

Руки на прощание не подал.

Коляда вскоре надолго исчез, домашние не признавались, где он. И зачем они держали вокруг него такой занавес, было непонятно, однако где-то через год он сам нашел Данилова и передал тому привет из Туркмении от брата Михаила.

— А вы, Петрович, что там делаете? — удивился Данилов, поблагодарив за привет, хотя и сам все понимал: ну, уехал, уединился человек, чего здесь непонятного!

— Работаю в Красноводске, в многотиражке. На берегу Каспийского моря.

— Уго-о, куда занесло! И зачем вы так далеко забрались?

— Чем дальше, тем лучше.

— Неужели вам здесь нельзя было устроиться в какую-нибудь газету? Ну, был конфликт...

— Обиделся кое на кого. Просто не захотел с такими людьми даже жить в одном городе...— столь категоричен был ответ Коляды.

— Извините, Леонид Петрович. Это ваши личные дела. Ну, а с братом где встретились, при каких обстоятельствах? Он же в Ашхабаде живет — не в Красноводске.

— В Ашхабаде и встретились. Я знал, что ты оттуда приехал, а в твоей квартире остался жить брат, разыскал его по справочной. Надо было переночевать где-то, в гостиницах мест не было. А в Ашхабад

чего ездил? Я так же, как и ты, решил написать пьесу... Отвозил в театр, чтобы показать.

Однако Данилов почему-то тех людей, которые начинали писать пьесы, совершенно откровенно жалел, считал, что они только ублажают этим свое самолюбие, не более того. Был твердо убежден: чтобы преуспевать в драматургии, надо еще иметь своего режиссера.

Пожелав удачи один одному, они распрощались.

И, как оказалось, навсегда: Коляда неожиданно умер. Для чего приехал домой, как все равно чувствовал, что надо вернуться. Лег спать и не проснулся.

А хороший был человек. Хотя, для кого как...

Раздел 15. Рокировка

Колька, внук Катерины Ивановны, стал Николаем Валентиновичем. Так, по крайней мере, обращаются теперь к нему все те молодые люди, которые расселись в ее бывшей квартире, о чем-то громко разговаривают по телефону, перекладывают с места на место разные бумажки, выбегают, прибегают. Суета, иначе не скажешь. Захотелось же старухе посмотреть, как расположился внук в своем теперь уже, получается, офисе, пришла, стоит на пороге, а на нее и внимания не обращают. Потом только, когда она начала обращать на себя внимание покашливанием, одна девушка как-то неуклюже повернулась наконец-то к Катерине Ивановне:

— А вам, бабушка, чего надо?

— Я к внуку... — нерешительно промолвила старушка. — К Кольке.

— К Кольке? У нас, кажется, такого нет? — девушка пожала худенькими плечами. — Ошиблись, видно. Не по адресу.

Но вышел из второй комнаты, служившей ей когда-то спальней, Колька и выручил :

— Это ко мне. Моя бабушка.

Катерина Ивановна улыбнулась и посмотрела на ту девушку, с которой у нее первоначально завязался разговор: ну, видишь, а ты говоришь, что у вас таких нет! Есть. Старая молча прошла по своим комнатам, заглянула и на кухню, там стояли только плита и стол, на котором был один электрочайник и несколько фарфоровых чашек. Не совсем обжиты были и комнаты — только столы да стулья, на столах, правда, время от времени трезвонили телефоны. «Надо было им цветы оставить», — подумала старушка, когда глянула на подоконники, где ничего, кроме каких-то маленьких коробочек, не

было. Ну что ж, обживается внук. На здоровье. Она порадовалась за Кольку, но, быстро сообразив, что внуку теперь не до нее, направилась к выходу.

— Заходи, бабуля! — крикнул вслед Колька.

Катерина Ивановна, едва замедлив шаг, повернулась на голос, пообещала:

— Зайду, Николай Валентинович. Зайду.

Она впервые назвала внука так, как величали его все здесь в ее бывшей квартире. Звучит. Сразу же вспомнила сына Валентина, пожалела, что тому не повезло дожить до сегодняшнего дня и увидеть своего Кольку, особенно в те минуты, когда того называют его именем: Валентиновичем. Приятно. Порадовался бы и он, а как же.

Когда оказалась на крыльце, сразу задрала голову на стену, где бросалась в глаза вывеска с надписью «Мечта», а ниже, более мелкими буквами, было написано: «Туристическая фирма». Катерина Ивановна опять улыбнулась, на этот раз сама себе: «В деда пошел. Полностью. Тот изъездил весь Союз, а внук дальше заберется: за границу, говорит, людей повезем, пускай посмотрят, как там люди живут». Поедут ли только? Далеко ведь. Хотя желающие найдутся. Она и сама, Катерина Ивановна, куда-нибудь отправилась бы, но сперва надо в Минск съездить... Минеров правду тогда, наверное, сказал, дескать, почему сама не съездила. Незачем людей обременять. Как это он еще не догадался сказать ей: прожила всю жизнь за Николаевой спиной, привыкла, то сейчас, когда его не стало, надейся только на себя. А на кого ж? На меня? На внука? На дочь? У Николая хватает своих забот, дочь далеко, а Минеров сам задыхается от дел. Хотя, конечно, другой раз и помочь надо людям, тем более своим, тем более — старикам, таким вот уставшим, похоже, от жизни, бессильным, как вот и она, Катерина Ивановна. Но чтобы урну не привезти!.. Да и отчего она тогда послушалась тех военкоматовских, не стала ждать: им, вишь ты, некогда. А могли ж в тот день и забрать урну. Ну, на следующий, не обязательно в тот, а так вот и получается, что отклад не идет на лад. Колька, или Николай Валентинович, пообещал все же привезти. Даже сказал с каким-то воодушевлением, вселив тем самым надежду: «Сиди, бабуля. Не рыпайся. Ишь, заладила: надо мне в Минск наведаться в ближайшее время, ведь больше некому... Намек понятен?» Теперь он часто в Минске бывает и за Минском, то, конечно ж, вспомнит про деда... Так и быть: не поедет сама она, решила твердо и непоколебимо. Если уже и теперь Колька подведет, когда она и квартиры для него, окаянного, не пожалела, тогда совсем можно отчаяться, — она не представляет

даже, как с ним разговаривать в дальнейшем, на каком языке. Тогда, пожалуй, не будет знать, как жить самой, что делать!..

Побывав на бывшей квартире, Катерина Ивановна вернулась к себе. Вот как — к себе, да-да: от себя — к себе. Хотя какая она здесь хозяйка? Квартирантка. Думала ли, предполагала ли когда, что на старости лет будет жить, как набежит, да еще и у чужих людей. Хозяйка, Софья Адамовна, правда, женщина простая и сносная, встретила ее вежливо, как старую знакомую. Вот, говорит, твоя комната. Живи. Столом на кухне будем пользоваться одним. Нам хватит. Телевизор бери свой, ведь мой никуда не годен, так, может быть, и я когда гляну. Можно было подумать, что у Катерины Ивановны лучший. Однако промолчала, не возразишь ведь. Кровать забрала свою. Остальное, сказала хозяйка, у нее все есть. А то, мол, не повернемся, будем ходить впритирку. Софья Адамовна посоветовала лишние вещи продать, что Катерина Ивановна и сделала: Колька быстро провернул эту операцию, а вырученные деньги принес ей. Конечно ж, и прикарманил чуток, не без того, но она и внука понимала: ему теперь нужны деньги, поскольку активно развивает, как говорит, свой бизнес.

Все бы и хорошо, все бы и благородно было, если бы не одно обстоятельство. К Катерине Ивановне пришло такое чувство, будто начинает жизнь сызнова, и она не знала, радоваться этому или печалиться. Когда-то она уже так начинала жить, только была тогда молодой и красивой, работала на фабрике «8 Марта» швеей-мотористкой, а приехала в город из Бахмача, из соседней Украины. И как раз вот так, как теперь, жила у одинокой старушки. А тогда встретилась в троллейбусе с курсантом военного училища, и судьба ее была решена: она стала женой будущего офицера. Боже, словно вчера все было! А в промежутке между прежним и нынешним ее постоем на квартире выросли дети, внуки, не стало сына, умер муж. Все вместилось в короткий промежуток времени, в такой короткий, что нельзя не согласиться: жизнь — всего лишь миг, она стремительна и невероятно быстра. Ну, будто течение горной реки!..

Софья Адамовна заядлая дачница, поэтому летом и до первых заморозков живет где-то за городом. Катерина Ивановна пока не ездила, хотя и было желание глянуть, что уж у нее там за фазенда, хвалится больно, чего только там нет. И земля хорошая. Кол воткни — будет расти. Сумки едва дотаскивает с участка — тяжелы, Катерина Ивановна сочувствует Софье Адамовне: ну, и надо ли тебе, почтенная, лишняя забота на старости лет? А та стоит на своем, и твердо: надо, и не отговаривай, и не возражай! Если бы не воздух,

если бы не ковыряние на грядках, она б, наверное, и не жила уже. В это Катерина Ивановна слабо верила, ведь она же сама как-то вот живет и здравствует, хотя дачи у нее никогда не было и теперь уже, понятно, не будет.

Иногда, бывает, старушки угощают кое-чем друг дружку, но они обе такие едуньи, что мордатый кот Антон больший рацион потребляет. Катерина Ивановна, поскольку заслуги ее в том, что выросло на даче у хозяйки, нет, старается под любым предлогом отказаться от того, что та иногда предлагает ей. Стыдно быть нахлебницей, и так, считает, повезло, что Колька подыскал ей такую квартиру. Меру знать надо.

О своей жизни Софья Адамовна пока особенно не распространяется, все ощупью как-то, осторожно, издалека будто подбирается. Мужа нет, давно уже. Ну, нет и нет. Видно, такой муж был, что не хочет о нем много говорить. Две дочери есть, живут в городе, свои семьи имеют. Весьма счастлива, признается, что девчата, а парней иметь — одна головная боль: пьют, меры не зная, курят и хулиганят. На соседей кивает. Хотя, бывает, и девчата могут отмочить такой номер, что и парней обставят. Тут, молодица, не угадаешь.

Катерина Ивановна больше с соседкой тары-бары разводит, с Ларисой Сергеевной, поскольку ее хозяйка пропадает на даче, а на скамейке здесь почему-то старушки не сидят. То ли нет их, то ли что другое. Словно чужой город. Не так, как на прежнем месте: там компания была хорошая, информированная по всем вопросам, — начиная от своего дома и кончая столичными новостями. Так что хорошо вот, с соседкой познакомилась. Как раз вместе мусор выносили и разговорились. Лариса Сергеевна — ого, женщина! Не смотри, что лицо испещрено густой сеточкой морщин и лет ей, конечно же, много, — ученая, не лишь бы кто. Оно и заметно — умеет выслушать тебя и знает, где и когда свое слово вставить. Что заметила Катерина Ивановна, так одну особенность — она всех своих соседей хвалит, ни про одного из них плохого слова не сказала. А не может же быть, чтобы у тех все гладко было, шито-крыто! А она — молчок. Это и нравится в ней. Отчего ж и ее, Катерину Ивановну, в женсовет части выбрали, а потом и председателем? Также умеет людям сочувствовать и лишнего не ляпнет.

Лариса Сергеевна чаще всего идет в город с тоненькой ореховой тросточкой, Катерина Ивановна это видит, и однажды, осмелев, напросилась к ней в попутчицы.

— Вот здесь я когда-то жила, — показала Катерина Ивановна на дом, где на окнах — заметила — появились новые красивые занавески. — Также на первом.

Они остановились. Лариса Сергеевна посмотрела на дом, на окна, а потом повернулась лицом к Дому коммуны.

— Я вон там жила...

— В Доме коммуны?

— Да, да. Представить невозможно: с тридцать четвертого.

Постояли молча, и в это время каждая из них, конечно, думала о своем.

— Мы с вами, Сергеевна, пожалуй, и встречались?

— Видимо, нет: после войны мы мало здесь пожили, нам дали квартиру на Катунина. Трехкомнатную. Отцу дали, конечно же. А когда мой сын развелся, то мы разменяли трехкомнатную на одно- и двухкомнатную. Невестка согласилась взять однокомнатную. А вы же, Катерина Ивановна, в то время, когда мы жили в Доме коммуны, по-видимому, где-то в гарнизоне служили.

Катерина Ивановна в знак согласия кивнула: конечно, конечно. А может быть, и нет, ведь если взять ее годы, то она все же намного моложе, чем ее новая соседка, однако об этом говорить ей было не с руки как-то, и она посчитала за лучшее вообще промолчать. Только пройдя немного, опять кивнула головой на окно, за стеклом которого была отчетливо видна седая, с непричесанными волосами, голова Хоменка. Тот смотрел куда-то мимо или вообще не смотрел — трудно было разобрать, уже не такое острое зрение, как раньше. А может, Степан Данилович и вовсе никуда не смотрел, а ковырялся на подоконнике, занятый каким-то полезным и одному ему нужным делом.

— К жениху не зайдем? — улыбнулась Катерина Ивановна, поочередно глядя то на Ларису Сергеевну, то на лохматую голову в окне, и короткая улыбка вновь скользнула по ее лицу. — А? Что скажете? Есть у меня тут один кавалер.

Лариса Сергеевна, когда узнала подробности о женихе, да еще который живет на четвертом этаже, одержимо замахала руками, забыв даже, что в одной она держала тросточку, та упала на тротуар, и они подняли ее вместе. Она, Лариса Сергеевна, прижимая тросточку к себе, смотрела на Катерину Ивановну и улыбалась как-то совсем по-детски, наивно. А затем сказала:

— Да и мой Иван может приревновать, когда узнает, что мы были в гостях у мужчины. А мы же обязательно ляпнем при нем. Забудем — и ляпнем. Что тогда? Развод, не иначе!..

Насмеявшись вволю, старушки пошли дальше, а Хоменок все еще ковырялся на подоконнике: это он старался угодить своему Петру, тот принес откуда-то скрученный в трубочку лист табака «мультан» и просил подсушить, ведь теперь в торговле из курева ничего не купишь, хоть и талон имеешь на руках. Задушат в очереди.

Еще бы! Сын Хоменка вернулся. И хотя поезд из Белокаменной приходит утром, притянулся он тогда домой за полночь. Где носило человека, чтобы спросить? Сослался, что долго искал дом, еще более — квартиру... Обнял отца, помял того, словно игрушку, а потом увидел на раскладушке постороннего человека, то был Володька, возмутился:

— Встать! Встать, я сказал!

Володька не сразу продрал глаза, а когда все же проснулся, какое-то время еще моргал ими, не понимая, где он вообще находится. Сперва ему померещилось, что он опять в той Прибалтике, где не по-нашему написано на вывесках и чисто подметено, а когда увидел перед собой двух Хоменков, одного в майке и трусах, а рядом с ним второго, этого вот агрессивного человека в спортивном костюме и тапочках, догадался: никак сын, Петька, приехал. Оба были похожи как две капли воды.

— Встать, я сказал! Смирно-о!.. — опять подал команду Петька, а поскольку Володька не спешил ее исполнять, то глаза наливались, похоже, яростью. — Перед тобой прапорщик или еще какое говно, а?! Ну-у!

Наконец Володька все же послушался и даже выполнил несколько команд.

— Вот так! — злорадствуя и с чувством победителя глянул на Володьку Петька. — Почему в нашей казарме чужие люди? После отбоя, надо понимать? — И — к отцу: — Почему здесь чужие люди? Разжалую!.. Всех разжалую!..

— Это Володька, — тихо, словно оправдываясь, проговорил Хоменок. — Раздевайся, коль приехал... Или как. Люди спят. Тебе тут не тайга. Тише!

— Неважно! Неважно, я сказал! Чтобы больше не видел!..

И Петька жестом указал на дверь.

Володька, зевая, оделся, подал руку Хоменку, прикрыл за собой дверь.

Хоменок же тогда понял одно: на старости лет у него появилась очередная головная боль. Подводная лодка, норильская шахта — и теперь вот он, сын...

Раздел 16. Мина для Минерова

Верка, секретарша председателя колхоза Минерова, свое слово сдержала. Не через девять месяцев, нет, гораздо раньше она преподнесла ему подарок — сына. Отец приехал в городской роддом, здесь он забирал когда-то и своих детей от законной жены, от Галины Викторовны, поэтому место ему хорошо знакомо. То же четырехэтажное здание, тот же двор, где обычно толпятся под окнами счастливые папы и ждут, когда покажется в проеме окна не менее счастливая жена и мать, а то и выставит сверточек, в коем что-то рассмотреть почти невозможно. Далековато. А так хочется! Напротив, правда, стоит с недавнего времени памятник земляку Андрею Громыко, но трудно понять, поглядывает он на роддом или на гастроном. Если же понаблюдать за глазами знаменитого политического деятеля Андрея Андреевича, то он вообще не спускает с тебя бдительного и озабоченного взгляда: куда ты, туда и он. Успевает, значит, все увидеть, ничего не пропустить. Острое зрение у него, однако!..

Поэтому вполне вероятно, что наблюдает и за домом, где рождаются дети. Жалко, что не может поднять руку, поприветствовать их. Каменный. Хотя для многих — живой.

Павел Сергеевич помахал Верке цветами, она также выглянула из окна, и показал на сумку с гостинцами, которую надлежало передать ей. Почему-то он, всегда смелый и всюду проходящий, словно вездеход, на этот раз стушевался, похоже, забыл о своих способностях и качествах, — не знал, что делать, куда идти. Не иначе, точно — растерялся. Но когда показалась Верка, у него словно появилось второе дыхание, и, забыв обо всем на свете, он бросился к двери, что вела к лестнице на второй этаж. Ему туда надо. Немедля. Сейчас же. И пускай кто не пропустит, станет на пути. Счастливый отец за себя не отвечает. Но, как это ни странно, никто ему не препятствовал, только изредка женщины в белоснежных халатах удивленно поглядывали на него и разводили руками: совсем с ума сходят эти отцы! Хотя чего здесь понимать: поздний ребенок, разве же не видно, вот и не нарадуется. Однако не станешь всем, кто этого не понимает, объяснять: нет времени.

Минеров схватил Верку, прижал к себе, начал целовать, горячо и суетливо, словно действительно потерял голову.

— Спасибо, спасибо за сына, дорогая!

— За Пашку...— в глазах Верки была грусть.

— За Пашку? А — почему? Ах, да-да! Я все понял, вопросов более не имеется! За Пашку, да-да!..

А потом он ехал в Глушец, счастливый и взволнованный, и ничего страшного, что не пришлось глянуть хоть краем глаза на дитя, ребенок спал, и не дали тревожить, и так все понятно до мелочей: сын похож на него и Верку, у обоих взял он, конечно же, все самое лучшее. Отец хотел, чтобы глаза были такие же голубые, как у мамы, а рост — ну, а рост его, только его. Тогда удобно будет срывать вишни — не надо становиться на табуретку.

А в Глушце, а в Глушце что делается! Боже! Весь колхоз только и говорит о рождении у Верки и Минерова ребенка, даже, кажется, трактора и грузовики, что тарахтят на мехдворе, заладили одно и то же, прислушайтесь только: Верка родила... Верка родила... Верка родила... Однако ж Минеров хорошо знал людей — поговорят какое-то время, какую-то малость, им тоже разрядка необходима, а как же, и забудут, налетят, словно вихрь, свои дела-заботы, они и займут их окончательно и бесповоротно. А потом еще что-то похожее случится, еще... И о том, что Верка родила от председателя Минерова, подложила, как думают некоторые сельчане, ему мину, не вспомнят и вовсе.

Мина хоть и разорвалась, но не так, чтобы взрыв тот далеко услышали. Это если бы раньше, при партии! Хватило бы. Намылили бы шею. Галина Викторовна, правда, поинтересовалась не без горькой иронии у Павла Сергеевича, можно ли ей съездить в роддом и поздравить Верку. Тот глянул на нее с такой напускной строгостью и так передернул щекой, что она, бедняжка, сразу поняла: нельзя!.. И потускнела в лице.

А между прочим, накануне у Минерова и Галины Викторовны произошла очередная перебранка, по накалу страстей она могла быть отнесена к одной из самых серьезных и нежелательных, в первую очередь, для мужчины, потому что она, жена, кажется, попала в самое яблочко — в десятку, когда сказала:

— А знаешь, почему ты, Минеров, привязался к Верке?

— Мне интересно от тебя это услышать.

— Тогда слушай. Нет, не потому, что она красавица там какая-то! Совсем не-ет!.. Таких юбок, как она, — куда взгляд ни брось! Ты — слабак!

— Ну, знаешь!..

— И не возражай! Дай сказать!.. Женщин также надо завоевывать. А ты не любишь этого делать. Ты даже не выругался, по-мужски крепко и зло, когда у тебя кресло из-под задницы выбили, — тогда,

да-да, ты догадался, когда партию разогнали, ты не дурак, оценил ситуацию, а тебе хоть бы хны!.. Забираете, ну и берите!.. Ты не заступился за свое родное, за холодильник, за огород!.. И к Верке ты прилип, потому что она — не личность!.. Ты не терпишь людей, которые имеют характер, свои мысли, идеи, ведь ты боишься, мой милый, покрошить о них свои остренькие зубы!.. У меня — все!..

— Отчего же, продолжай... — Лицо у Минерова было красным и вспотевшим, он, наверное, забыл, что где-то в кармане лежит носовой платок.

Все это было несколько дней назад. Сегодня у него, Минерова, и другое настроение, и другие желания... По крайней мере, если бы так удачно, как на любовном фронте, складывались дела и на работе, то можно было жить — не тужить. В последнее время об этом и сам думал частенько Минеров. Что-то не так, как должно быть, и это он особенно остро чувствовал, не складывались отношения с людьми, с деревней. Она, деревня, вытесняет его, вытесняет... Как чужака. А подправить, подчистить отношения не удавалось. Сказывалось, и здесь ничего не поделаешь, какое-то невидимое глазу присутствие Плотникова, тот как будто всегда стоял рядом, даже было слышно его дыхание. И когда ты начинал принимать какое-то решение или просто отдавал команду сделать то или другое, он словно брал тебя за руку и говорил: а ты хорошо подумал? Не спеши. И вы, люди, не спешите. Подождите. Подумайте. Взвесьте. И — все, точка, жирная и большая! Люди не спешат, думают, взвешивают... А в сельском хозяйстве подолгу думать где там! А им всем, в том числе и ему, Минерову, Плотников приказывал именно так поступать. Хоть ты что ему, Калистратовичу! И тогда новый председатель терялся, как тогда в роддоме, и чтобы его подтолкнуть, сдвинуть с места, нужно было показаться в окне Верке. Всего лишь. Но это в том окне — в другой жизни. Однако же есть еще одна жизнь, не такая романтичная, где он должен быть не растерянным отцом с букетом цветов в руке, а отцом для многих — таким, каким был незабываемый Плотников.

Пока, увы, не получалось.

Минеров нередко вспоминал Сашку. Он закончил мало классов, наука ему, можно сказать, совсем не давалась: больной с детства, здесь ничего не поделаешь, а вот колхозник — безотказный. Куда ни пошлешь парня — только скажет «Ага!» — и больше ни единого слова, и — вперед, и бегом. Бывало, что некого поставить на сеялку или загуляет пастух — выручал Сашка. Минеров нашел с ним общий язык, обещал наградить почетной грамотой, и Сашка работал за троих. «Вот, чтобы все были у меня такие!» — думал иногда председатель.

Так хотелось, чтобы все крутилось, работало отлаженно и с блеском! Как в моторе. Одна шестеренка погоду не сделает, а вот когда все, цепляясь одна за одну, придут в движение — тогда, ясное дело, польза будет! Так что придурковатый Сашка пока только представлял одну шестеренку. Однако грамоту ему все равно надо будет выдать, а то и она, шестеренка та, кивнет головой в последнем поклоне.

Когда «Волга» председателя вкатилась, наконец, в деревню, около местного магазина ее остановили мужчины. Минеров спросил, что им надо. За всех ответил, хитро и многозначительно взглянув на остальных, бывший горожанин, а теперь просто Смык:

— Так, председатель, с именинами!.. А?.. Как?.. Г-гы!..

И залился смехом. Смык показал на магазин, однако Минеров только беспомощно хмыкнул, не найдя что ответить выскочке, и нажал на педаль газа.

Раздел 17. Крах

Так хорошо все начиналось, так красиво! Бывало, только открывали сейф, как из него сыпались на пол пачки денег: хоть ты ногой затаптывай их назад, деньги те. Не умещались. Николай Валентинович, здесь надо отдать ему должное, для своих работников денег не жалел, законы не запрещали платить им столько, насколько была возможность. И он платил. Обедать ходили только в рестораны, обязательно на столе стоял запотевший, весь в капельках-слезках на тонком стекле, графинчик, и поэтому, конечно же, с холодной водкой, а в конце каждой недели — обязательная баня. Иного транспорта, чем такси, не знали. Затем пригнали откуда-то из Сыктывкара, что ли, подержанные «Жигули». Гуляй, губерния! Они думали, что так будет вечно. А потом такие туристические фирмы начали появляться одна за одной, и работать стало намного труднее: конкуренция, ничего не поделаешь. Николай Валентинович начинал жалеть, что распылил много денег, пустил по ветру, не вкладывал их, как другие, в развитие бизнеса. Здесь он и действительно дал маху. Можно же было давно приобрести недвижимость, кроме организации выездов за границу делать еще что-то, подстраховаться, открыть хоть бы ту типографию, что ли. Не идет одно — идет другое. На что есть спрос, в том направлении и ведется деятельность. Так нет, видел у себя только под носом, не смотрел вперед, о чем и пожалел. Надо было бросить вперед, чтобы найти сзади. Теперь получай: несколько его сотрудниц, уже довольно опытных и добросовестных, переманили другие фирмы, что и вовсе поставило вопрос о существовании

фирмы, а ее директору испортило и без того никудышное настроение. Все труднее стало арендовать автобусы, а своего «Мечта» не имела, хотя, чтобы работать с солидной прибылью, их нужно было несколько. Деньги ходили по рукам: ты — мне, я — тебе. Все крутилось, словно в каком-то водовороте, и верх брал тот, кто был покрепче. Кто давал в конвертах. Такая появилась мода. Ему нечего было давать. Директор «Мечты» вскоре почувствовал, что терпит полный крах. Было очень больно от этого, однако что делать, как быть дальше, — не знал. Словно воткнулся лбом в какую-то толстую и высокую — непреодолимую — стену, и как пробить ее или перелезть — ну, не видел никакой возможности, и все тут. Тупик. Перспективы не предвиделось.

Теперь же, нахватав долгов, думал как-то разрешить вопрос с приобретением автобусов, хотя бы двух для начала, уже и подыскал, где их можно было взять дешевле, а здесь — гиперинфляция, деньги обесценились в один момент, стали, можно сказать, обыкновенными бумажками. А ведь их надо отдавать. Кредитор наступал, требовал, иначе обещал применить самые худшие меры... Николай Валентинович не на шутку испугался за свою жизнь и надолго исчез из города. Только правду говорят, что от себя не убежишь. Нашли его и там, где прятался. Забрали квартиру, «Жигуленка», всю оргтехнику, в том числе и компьютер.

Катерина Ивановна, когда прослышала о крахе внука-бизнесмена, долго пила валерьянку и не показывалась во дворе. Особенно жалела свою квартирку, уютную, теплую и всегда ухоженную. Так хорошо жилось в ней! И на тебе! Ума не приложить, что делать. А Колька не показался, паршивец. Нет, пришел бы сам, все рассказал, как было, так должна от других людей узнавать о его приключениях.

Посочувствовала ей и Лариса Сергеевна:

— Как же так, как же так! Но вы, Катерина Ивановна, держитесь. Ну что поделаешь, если жизнь такая?

Выбрав день, когда у Ивана Ефремовича, мужа Ларисы Сергеевны, был выходной, они вместе поехали в Минск. За урной. Чтобы раз и навсегда положить конец всем мытарствам с ней. С пенсии Катерина Ивановна купила билеты в два конца, взяла плацкарту. Иван Ефремович, который был у Ларисы Сергеевны не первым мужем и явно моложе, всю дорогу спал. А Катерина Ивановна думала. О своей жизни. О Кольке-дуралее, который связался с этим ненасытным идиотским бизнесом и потому остался гол как сокол. Наказал, получается, и ее. Ой, как наказал! Боже-е! Скажи кому — не поверят! Такого предвидеть она никогда б не

смогла и в самом страшном сне. Выгнал, а иначе и не скажешь, из квартиры на улицу. Жизнь прожить в достатке, быть офицерской женой и иметь такой высокий авторитет при живом муже у родственников и знакомых,— и вдруг, в одно мгновение, остаться у разбитого корыта. Все пошло кувырком. Ай-я-яй! Ну, хорошо, сегодня пока она еще живет у Софьи Адамовны, а завтра? Не станет той, что тогда? Кому она, старуха беспомощная, беззащитная, нужна будет? Кто это станет держать квартирантку, которая всю ночь кашляет, топает то в туалет, то на кухню, чтобы проглотить таблетку, то включит свет, то выключит. Да что там говорить!..

И она, Катерина Ивановна, представив свой завтрашний день, пребывала в большой растерянности, в таком отчаянии, что не хотелось жить. Умереть — и никаких тебе ни проблем, ни внуков! Но чтобы легко. Чтобы уснул — и не проснулся. Однако она понимала, что Бог не наберется для всех такой легкой смерти. Много желающих — чтобы легко...

Николая наконец привезли из крематория и похоронили на городском кладбище — в Осовцах. Груз, что тяжелым камнем лежал на сердце Катерины Ивановны, отпал, стало так легко, что она и забыла на какое-то время о квартире, которая ей всю душу выела и которой лишилась не по воле внука, а по мягкости своего характера, как думала сама. Эта боль как-то утихла сама по себе, все забылось постепенно, зарубцевалось, и она больше не вспоминала о ней, квартире. Точнее — старалась не вспоминать, всячески гнала мысли о ней прочь. Утешала саму себя: сколько тут осталось, как-нибудь доживу. А что изменится, если казнить себя? Ничего. Все равно ей пока лучше, чем Николаю. Надо было давно так сделать, не надеяться ни на кого, а привезти его и похоронить. А то задержался он, в Минске-то, Николай.

На кладбище кроме Ларисы Сергеевны и Ивана Ефремовича было еще несколько человек, в основным прежние соседи. Там и помянули его, Николая. Пожелали — лучше поздно, чем никогда: пухом земля.

Колька же так и не появился...

Раздел 18. Хоспис

Сегодня здесь ждали из города художников. Коридор, который служил актовым залом, широкий и вместительный, готов был уже с утра принять гостей — блестел выкрашенный в коричневый цвет пол, сияли свежестью рамы на всех картинах, а где надо было, и сами

полотна, подаренные мастерами кисти, а для хосписцев были поставлены в четыре ряда мягкие стулья и кресла, дополнительно, чуть в сторонке, — несколько табуреток. Здесь такая оказия: в больнице все старые, слабые, поэтому никто никогда не знает, сколько человек может прийти на встречу.

Художники позвонили, что выехали, поэтому обитатели хосписа начали занимать свои места. Кто — на костылях, кто едва переставлял ноги, опираясь на палочку или клюку, а кто и держался бодро, молодцом. Один дедок надел даже пиджак, на котором много наград, и время от времени поглядывал на них: ну, как, граждане? Это вам не хухры-мухры. Я — ветеран войны. Самый настоящий. Что, не знали? Нескольких бабушек, привели под руки женщины в белых халатиках. Их посадили впереди. Они отрешенно смотрели в одну точку, не решаясь, видимо, пошевелиться из-за своей немощности, мало верилось, что им будет интересно слушать художников. Художников — это громко сказано. Приедут также писатели, актеры драматического театра, самодеятельные артисты. Выступающих всегда больше, чем слушателей, как и каждый раз, когда здесь отмечается день престарелых людей.

Катерина Ивановна принесла с собой табурет, села под пальмой, и так получилась, что она была чуть поодаль от других старых людей, среди которых она жила уже почти месяц. Не хотелось, ой как не хотелось ей, еще довольно интересной и резвой, показывать гостям, что она такая бессильная, как и остальные. Чтоб не подумали чего. Вроде бы те, художники-артисты, только и будут поглядывать на нее, задаваясь вопросом: а почему это она, тетка вон та, сидит здесь? Каким образом попала сюда? Ей же можно еще семечками на базаре торговать. Но Катерина Ивановна, когда устраивалась поудобнее под пальмой, для чего и принесла табурет из палаты, рассчитывала на большее — ей, чудачке, почему-то хотелось замаскироваться под работницу хосписа, представляя себя уборщицей или еще более высоким лицом по здешним меркам. Однако рядом села, сопя и покрякивая, соседка по палате Митрофановна и все испортила. Еще и плечом прислонилась к ней, словно уснула. А так не хотелось Катерине Ивановне, чтобы видели, что и она своя, хосписовская.

— Нет еще их, артистов-то? — спросила Митрофановна, словно сама не видела.

Катерина Ивановна сделала вид, что не расслышала. Где не надо, ты, Митрофановна, умничаешь почем зря, а здесь спрашиваешь. А как встретила ее, новенькую, Катерину Ивановну, значит? Наварила где-то картошки, принесла в палату, достала из

холодильника бутылку кефира, поставила рядом. И спрашивает у Катерины Ивановны:

— Ты будешь фырканную картошку?

— Как это — фырканную?

Митрофановна набрала в рот кефира и прыснула им на картошку: ешь.

Есть? Так это кем надо быть, каким голодным, чтобы такая картошка полезла тебе в рот? Более того, у Катерины Ивановны надолго пропал аппетит. Еле переборола себя, постепенно забыла про тот случай с фырканьем, а Митрофановна увязалась за ней, ползает, будто нитка за иглой: куда та, туда и она, жизни не дает. Какая-то не такая она, как все, Митрофановна. Чудачка не чудачка, но жить с ней рядом неприятно — и хоть ты что. Тяжело жить вместе. Просилась уже, чтобы перевели в другую палату. Пообещали. Но позже. Дай сперва, дескать, художников принять.

Гости из города приехали как раз в то время, когда все хосписцы, которые смогли сами или которым помогли это сделать, расселись на отведенных им местах. В палатах, где лежачие больные, приоткрыли двери: может, и они что-то услышат. Хотя бы услышат. Картин художников, конечно же, не увидят, а вот песня или шутка писателя — долетит!

Наталья Милашкова, сотрудница городской библиотеки имени Герцена, была постоянной ведущей этого мероприятия. Хотя было непросто упросить творческих людей выступить перед больными. Одни ссылались на недомогание, другие — на исключительную занятость, а третьи совсем никогда и никуда не ездили: больно уж высоко ценили себя. Хорошо все же, что последних единицы.

Сценарии Милашкова умела делать, они у нее, как правило, всегда были пронизаны состраданием, строго выдержаны в идеологическом направлении, нашпигованы выдержками из литературных произведений. Приятно слушать, воодушевляет! И что интересно, действует на тех, у кого слезы очень близко. Хоть рядом не стой. А не спрячешься. Некуда.

Потом выступают гости. Первому предоставляется слово кому-нибудь от художников. По традиции. Почему так, известно: художники пообещали создать в хосписе картинную галерею, и вот уже несколько лет подряд привозят в подарок свои полотна. Поэтому, видимо, и правильно, когда говорят здесь, что приедут художники.

Анатолий Отчик, как главный художник области, показал, что они привезли в подарок на этот раз, а что — напоказ. Одна белокурая женщина, кто она такая — неизвестно, как выяснится, ее сюда в

общем-то не приглашали, и откуда взялась, оставалось тайной для многих, вскользь заметила:

— Могли бы все картины оставить больным людям!

Отчику пришлось оправдываться, что все оставить не могут, поскольку сегодня они, художники, много где бывают, и каждая картина — результат работы не одного дня, они не штампуются, как газеты в типографии. К тому же, художники также хотят есть и у них есть семьи. Плюс ко всему, как это — оставить? Тут едва выпросили у художников, чтобы показать.

Но главный врач больницы Зинаида Орешко сделала вид, что ничего не слышала, тепло и искренне поблагодарила художников, отметила, что те делают важное и нужное дело. Ее поддержали аплодисментами, в основном сами художники и примкнувшие к ним другие гости.

Потом рассказал несколько веселых историй писатель Сергей Данилов. Одна из них, про Лексу, вызвала наибольшее оживление. Приехала Лекса в город. После пенсии. Денег вроде бы много, а на ценник глянет — портится настроение: Боже, сколько нулей! Примерялась к вещам, а надо и сапоги, и фуфайка, и чулки, и еще всякая всячина, однако же — нули, чтобы им муторно стало!..

Ничего не купила старушка. Решила не торопиться и хорошенько подумать: нужны ли ей те вещи или пока можно потерпеть?

Пока ходила по магазинчикам и городскому базару — проголодалась. Поинтересовалась, сколько стоит беляш. Ответили. Ого! У Лексы глаза на лоб полезли. Но голод — не тетка. Старушка махнула рукой и громко сказала:

— Давайте беляш проклятый! Как вспомню, сколько мой мужик пропивает, так и не дорого!

Походила, поприценивалась — опять есть захотела. Остановилась у лотка с чебуреками. Один стоит?.. Ого! Но вспомнила Лекса, сколько пропивает ее муж, и попросила чебурек. Хотя и жалко было денег.

Съела — как языком слизнула: было бы что там есть!

«Может быть, и мороженого взять? — подумала старушка и долго глядела-дивилась, как люди им аппетитно лакомились. — Возьму. Пусть себе и дорого стоит. Как вспомню, сколько мужик пропивает...»

И протянула продавщице деньги.

Будет что вспомнить бедной Лексе...

Художник Станислав Дьяконов имел вид весьма больного человека, лицо казалось восковым, поблекшим до неузнаваемости, и

ему многие сочувствовали. Однако он, хотя и знал о своей неизлечимой болезни, старался держаться мужественно, не показывал и вида, что чахнет, а с разрешения ведущей даже исполнил романс. Слушатели чуть ожили, зашевелились. Кто-то из них попросил повторить.

— Песни у нас еще будут, — заметив, что непросто дался тот романс Дьяконову, выручила ведущая. — К вам приехали артисты, они и споют, и станцуют. Принимайте самодеятельный коллектив...

После самодеятельного коллектива слово дали старейшему артисту драматического театра Ивану Певневу, и тот, что называется, позабавил и своих, и чужих.

— Театральные байки, — начал он, выдержав паузу, словно решал, с какой начать. — Мне в свое время посчастливилось исполнять на сцене роль Владимира Ильича Ленина. Чтобы исполнить ту роль, надо быть самому человеком кристально чистым, ведь эту роль утверждали тогда в обкоме партии. На самом верху. Однажды мы должны были показывать спектакль не на базе, а на выезде. Поскольку я появляюсь только в конце спектакля, а грим был сложный, меня долго гримировали, ведь вы сами видите, как сильно я похож на Ленина... И вот уже идет спектакль, а я все еще в гримерной. Потом везут меня на микроавтобусе. Так было не один раз. Едем, значит. Я за ширмочкой сижу, текст просматриваю... а в это время останавливает нас гаишник. Проверил у водителя документы, спрашивает: «Кого везешь?» Тот отвечает: «Ленина! Владимира Ильича!» Надо заметить, что водитель был новенький, и когда я садился в микроавтобус, смотрел на меня большими глазами. Гаишник, конечно же, не любит, когда с ним острят, угрожает: «Я тебе сейчас покажу, понимаешь тут, такого Ленина!..» И отодвигает ширмочку, удивленно моргает глазами. А добил его я, когда заговорил голосом Ильича: «Что, батенька, случилось? Не пропускают нас к броневичку? Непорядок, непорядок!.. Позвоните, товарищ милиционер, в Смольный, и передайте, что подъеду и разберусь сам! Окончательно! Мало не покажется! Мы защитим свою революцию! Так и передайте!» А водителю: «Вперед, только вперед, батенька!.. Так победим!..»

Все посмеялись от души.

Про второй случай говорил более сдержанно, и поскольку сам был щуплый, то, возможно, над ним и пошутил коллега. Одним словом, был в театре шибко худой актер, и однажды на капустнике тому подарил другой актер ремешок от часов: на, говорит, Николай Васильич, дорогой ты наш, ремешок, пользуйся на здоровье, чтобы штаны не потерять...

Представители от руководства района вручили хоспису телевизор «Горизонт», а деду, что был с медалями, и Митрофановне — денежные премии. Объяснили: как участникам войны.

Кто-то полушепотом заметил:

— Дети приедут и отнимут...

А затем зашевелилась, забеспокоилась Митрофановна и, облизав языком сухие губы, пошаркала к пианино. Все удивленно наблюдали за ней. Куда ж она? Старуха тем временем подняла крышку, села на мягкий стул-круглячок, и ее костлявые пальцы рассыпались по клавиатуре, и — на удивление хосписцев, не гостей, тех мало чем можно было пронять! — полилась мелодия «Венского вальса» Штрауса. Митрофановна играла еще что-то, еще, еще... И в ее глазах были слезы, казалось, она забыла, где находится и что делает... Для нее словно остановилась жизнь, вокруг ничего не существовало, кроме музыки!..

На фуршете опять пел Станислав Дьяконов, ему подпевала та белокурая женщина, что минутами раньше упрекнула художников, почему, дескать, они не оставят в дар хоспису все привезенные картины. И опять же, никто так и не знал, откуда взялась здесь эта женщина, кто она такая. Гости, по-видимому, думали, что она местная, а хосписцы — что приехала вместе со всеми... Позже женщина сказала, что она родственница одного главного начальника.... И вскоре будет вступать в Союз писателей, вот только допишет ей вторую книжку стихотворений ее подруга, которая уже давно в том писательском союзе. Она бы, мол, и сама написала эти стихотворения, что за проблема, но завтра едет в Москву, послезавтра — в Киев, а там и еще куда-то. Самой некогда. Ничего, посидит подружка, у нее времени полно, тем более, что пошла на пенсию и уже не ездит в Россию торговать разным ширпотребом. А она сама, хоть тоже на пенсии, еще подработает: теперь, когда много больных людей, спрос на народного доктора есть, и шанс не надо упускать. Хватит денег не только писать книги, но и напечатать в типографии. Так что посмотрим, кто чего стоит, господа художники и к ним примкнувшие!..

Лишь один Данилов знал эту женщину, но вида не показывал, и радовался, что она хоть не пьет водку, поскольку бесцеремонности у нее и так хватает — может наплести такого, что другой в пьяном виде до этого никогда не додумается.

Уже дома Данилов прочел на бумажке, какую подала ему после встречи старушка в хосписе: «Заберите от меня соседку Митрофановну. Она попортит мне всю нервную систему. К. И.»

Странно: просит человек, чтобы ей помогли, а полностью не указывает ни фамилии, ни имени... Ломай голову теперь. К. И. И почему она обратилась к нему, к писателю? Были же там люди из отдела социальной защиты. Есть местное начальство, в конце концов. Так нет, обратилась к нему. Хотя, что ж здесь непонятного: писатель всегда был для всех людей носителем совести, правды.

И хорошо, и приятно, что им еще верят и на них надеются. Запятнать такое доверие Данилов не хотел и решил вернуться к той женщине, которая подала ему этот клочок бумаги с не совсем обычной для него просьбой.

Он узнает ее, когда встретит.

Раздел 19. Исповедь

И через несколько дней Данилов выбрался в Старые Дятловичи, решил навестить К. И. Добирался на попутной до Чкалова, там много дачников, поэтому проблемы не испытал: подобрали при выезде из города. Почти не стоял на дороге. Труднее было с транспортом до хосписа — туда пешью далековато, надо только ехать. Неблизкий, как говорят, свет. Но — повезло опять. Как раз подвернулся знакомый агроном, он и доставил почти прямиком к месту назначения.

— Через часик заеду, — не прощаясь, пообещал агроном. Его легковая покатила дальше по лесной дороге, над которой висели, почти перехлестываясь, густые чуприны старых, вековых сосен, а Данилов зашагал к двухэтажному зданию хосписа, которого из-за зелени почти не было видно.

Здесь он не впервые, и наведывался не только к больным. Вон в том доме, построенном на городской манер, в типовой двухэтажке, живут учителя-пенсионеры, муж и жена Моторенки, Иван Михайлович и Мария Степановна. Недавно про Ивана Михайловича писали много и в разных газетах — отметили его восьмидесятилетие. Один очерк написал и он, Данилов. Приезжал сюда тогда с фотокорреспондентом БелТА Сергеем Холодилиным. Дети у этих уважаемых учителей-пенсионеров занимают высокие должности в областном центре. Один работает главным экономистом в производственном объединении комбайностроителей, второй — заместителем начальника управления здравоохранения облисполкома, третий успешно занимается бизнесом: его фирма «Меркурий» широко известна.

Проходя мимо дома своих старых знакомых, Данилов их не увидел. Оно так, может, и лучше: иначе нужно было бы обязательно остановиться, поговорить, а те — люди гостеприимные, стали бы

приглашать в дом. И отказаться неудобно, а зайти — значит, потерять время, тогда Кириллу, агроному, пришлось бы ждать. А тому, как правило, всегда некогда, начнет нервничать.

Вот такое оно, это хрупкое колесо жизни!

Катерину Ивановну Данилов встретил, на свое удивление, сразу же во дворе. Она подходила откуда-то по лысой тропинке к крыльцу. Поздоровались. Старушка зарделась, засуетилась, не знала, как и что ей делать, однако выручил ее сам гость:

— Мне к К. И. Не подскажете, как пройти к ней?

— Я — Катерина Ивановна.

— Надо даже! — растерялся Данилов. — А я и вообще сомневался, что встретимся... Очень приятно. Удачно как встретились!..

— Да, это я и есть.

— Давайте посидим на скамье. Не холодно. Согласны? Слушаю вас, Катерина Ивановна. Расскажите, как дела. Как Митрофановна, соседка ваша?

После некоторого молчания, старушка подняла взгляд на писателя:

— А мне уже и не надо помогать. Все само образумилось. Теперь я совсем одна в комнате. Уже второй день...

Данилов по тому, как посмотрела на него Катерина Ивановна и по ее голосу, тихому и дрожащему, все понял: Митрофановны не стало. Он ощутил, как горечь подкралась и к его сердцу, хоть кто ему та Митрофановна. Но на всякий случай, скорее для того, что бы заполнить неловкую паузу, спросил:

— Умерла?

— Вчера похоронили. Наигралась на пианино тогда, когда вы приезжали, и убралась. Боже, можно подумать, что это я помогла ей... Гнала же из палаты. Не терпела ее. Но я не хотела, чтобы она умерла. Вы мне верите?

— Ну конечно. Вы-то здесь при чем?

— А раз вы, товарищ писатель, приехали, то, чтобы не напрасно, расскажу я вам... послушайте... Или, может быть, не надо?

— Отчего же, говорите.

— Про Митрофановну? Ага, значит... Я сразу как-то к ней с подозрительностью отнеслась. Бывает так: только встретишь человека, и не возлюбишь. Душа отталкивает. Так и я. Невзлюбила ее, и хоть ты что мне сделай. Правда, манеры у нее просматривались городские. Больно она какая-то накрахмаленная, что ли, была. Когда заиграла на пианино, то я сразу вспомнила свою подружку

Сергеевну, та просила, прямо наказывала: проследи, играет ли она на пианино, если играет, тогда... она... Играет! Играет! Написала в тот же день Сергеевне. Та ответила: ты не ошиблась. Немецкая подстилка. Да, да, вы не удивляйтесь. В войну, когда Дом коммуны заняли немцы, там организовали кабаре. И вот эта самая Митрофановна, тогда просто Нинка, тешила немцев... У нее в Доме коммуны, говорят, и комнатка была, где принимала женихов-то. Сергеевна слышала про Нинку много чего уже после войны и весьма часто ее видела, когда она в том доме играла на пианино в пионерской комнате. До нашествия. Немцы же платили ей хорошо. Девка она была красивая, фигуристая. И свою семью кормила за ту музыку, и тело. Я, получается, осуждаю ее. Да? А имею ли на это право? Кто я такая, чтобы осуждать? Каждый выживал, как мог. Но ей же премию денежную вручили, вы же видели, товарищ писатель. Вместе с тем дедом. Как участнице войны. Как это понимать? Я уже начинаю сомневаться, что и дед тот, Петрович, воевал. Как воевала Митрофановна, мы с вами знаем. Нет, нет справедливости в этом мире. Если не будет ее, справедливости, и на том свете, то к какому ж Богу тогда нам обращаться? Господи, ты слышишь нас или нет? Дай веры и правды, молю тебя, Господи! — Катерина Ивановна перекрестилась. — Ну, да и пухом земля ей, Митрофановне. Пускай там ест свою фырканную картошку. Одна. Ведь желающих не будет. Это все одно, что плюнуть в колодец, чтобы никто не пил из него воду... Ну да ладно. Нет Митрофановны. Пусть спит. А про себя я не буду ничего вам говорить, товарищ писатель. Разве только о том, как на улице оказалась. Вы про это не пишите. Прошу. А то внук, Николай Валентинович, обидится... Квартиру мою он проворонил, да-да... Время теперь жестокое... Не всем по характеру. Не выдержал. А отчего? Сдается мне, что внук людей не любит — только себя, всего, с ног до головы. Вот и получил за свой разврат. Судный день должен наступить. Обязательно. Софья Адамовна, у которой я квартировала, женщина хорошая, однако и у нее свои проблемы — квартира тоже понадобилась детям. Еще вот здесь, в хосписе, и встретимся. Всякое бывает. Хотя в наш хоспис не каждый попасть может. Блат нужен. Мне Минеров, Павел Сергеевич, помог. Спасибо ему. У него тут поблизости колхоз, в Глущце. Сам и привез. Живи, говорит, Катерина Ивановна, и не думай ни о чем. За тебя будут думать другие. И полечат на месте, и накормят. А теперь вот, когда убралась Митрофановна, то и мне веселее будет.... Подселят кого или нет — еще неизвестно, но пока то да се, хоть поживу спокойно...

Раздел 20. Участок Недоли

Он и теперь приходил сюда нередко. Высокий и худой, или, точнее, сухой, одежда на нем все равно как на вешалке-плечиках, но ходил всегда быстро и как-то строго целеустремленно — только вперед. Ощущалась в нем струнка милиционера, да не лишь бы какого, а участкового.

Участковым Недоля стал нежданно и случайно, он, казалось, сначала и сам до конца не осознал, для чего ему выдали амуницию и что надлежало далее с ней делать. Сказали только: в армию тебя не возьмут, и не просись, ведь вчера война закончилась. Разве же не слышал? Так что, молодой человек, надо охранять мирный сон и созидательный труд наших людей-победителей.

Его участком стал Дом коммуны. Там же выделили и комнатку, маленькую, с окном во двор — чтобы участковый иногда мог, не выходя из жилища, увидеть, что делается на его территории. А там много чего делалось, порой даже и больше, чем надо! Вон тот бритоголовый верзила опять собирает вокруг себя зевак, будет предлагать играть в карты. Сперва в обыкновенного дурака. И тогда сделает кислое лицо, нахмурит лоб и скажет: «Бляха-муха!.. Кто-то карту спер. Но ничего, я сейчас научу вас в такую игру, где не все карты и нужны. Что, пугаетесь? Тяжело наука дается? Не волнуйтесь, братцы, все будет в полном ажуре. Да моя теща, если знать хотите, научилась в эту новую игру за одну минуту! А у нее всего два класса! Начинаем, внимание!..» Он раскинет карты, а затем почти сразу же будет слышен во дворе плач, и обязательно женский голос сообщит всем, выглянувшим из окна или случайно оказавшимся рядом, что этот бритоголовый прощелыга и шулер вытряс последние деньги, даже меди не оставил. Недоля высовывал голову в окно и сообщал требовательно-строго, пугая таких, как тот бритоголовый:

— Я иду!.. Я сейчас!.. Минуточку!.. Где кобура?..

Двор пустел.

А на этот раз за столиком под тополем сидит Титыч, тихий и застенчивый. Он пробует затянуть песню про Катюшу, но не хватает духа и, возможно, желания, поэтому поднимает глаза на окно, за которым где-то должен быть участковый, и зовет того:

— Недоля, выходи, побеседуем! Мне скучно одному!..

Участковый, если только он действительно дома, не принуждает тогда себя долго ждать, выходит, подсаживается к Титычу, и тот сразу набирает воды в рот — молчит, как рыба.

— Ну?— шевельнется на скамейке Недоля, поторапливая того.

На глазах Титыча появляются слезы.

— Поплачь, Титыч, поплачь, — говорит участковый и поднимается.

Недоля знает уже этого человека, тот иногда заходит к нему в комнату, садится на табурет и сидит так же молча, словно вспоминает, зачем пришел. А потом встанет, тихонечко прикроет за собой дверь, и только будут слышны в коридоре затихающие шаги. Исчезнет Титыч, так не проронив и слова. До следующего раза.

Недоля видит, что Титыч выпил, а он, когда выпьет, сразу начинает плакать, жаловаться первому встречному, что остался совсем без средств к жизни: жена его, Клавка, погибла в эвакуации в Уфе (а кто это умирает в войну, в войну гибнут люди; значит, и она погибла, рассуждает Титыч), а сын Мишка подорвался, разбирая с друзьями мину в бомбоубежище. А вот как и почему он сам не погиб на фронте, — не поймет, бывает, даже подолгу допытывается у людей. Те не находят, что ему ответить, низко опускают головы, ведь не знают, куда девать глаза, словно во всех этих напастях виноваты и они...

Про старенькую мать, которая уже почти не выходит во двор, он совсем не вспоминает — словно и нет ее. Но она же есть.

Интересно познакомился Недоля с Титычем. Тот как-то представился ему, подал руку, попросил походить с ним по двору, а потом заглянуть и в дом. Вот они тогда и пошли. Впереди — Титыч, чуть позади — молодой участковый.

— Яму надо засыпать, — показывал Титыч. — Непорядок. А вот и вторая, она, оказывается, еще глубже... Ну-у, это совсем!.. Убрать кол! Убрать!.. Почему он стоит почти прямо перед входом в подъезд? Лоб разбить? Или что другое? Мало нам войны было, так что, и в мирное время будем уродовать людей? Теперь, в доме...

В доме Титыч также высказал немало претензий-пожеланий, а Недоля лишь моргал глазами и не мог понять, зачем все это нужно ему, Титычу? И почему он высказывает претензии ему, участковому, когда есть коммунальные службы? Что, он больше никого не знает? Так получается.

Недоля поинтересовался:

— Зачем тебе все это, Титыч?

А тот вполне серьезно ответил:

— Я пить начинаю... Вот зачем!

И потопал, не оглядываясь, со двора. Видно, в кульдим. Недоля молча провел его взглядом и не знал, то ли ему смеяться, то ли что. Ну, не шутник? Он, гляньте вы, пить начинает. Поэтому присыпьте

ямы, чтобы ненароком не попал туда ногой, уберите столб, а то, приняв на грудь, могу шишкой на лбу обзавестись. Недоля сделал вывод: до такого же дурак не додумается, нормальный человек этот Титыч, хоть и говорят…

Где-то в середине пятидесятых на участке Недоли стремительно прыгнул вверх показатель по правонарушениям. Его вызвали на ковер, предупредили, чтобы не спал в шапку, а смотрел более бдительно за той категорией людей, что и давала плохой показатель. Недоля пообещал исправить положение, хотя и не понимал до конца, как сможет это сделать. Рассчитывал, скорее всего, на завтрашний день — что он покажет, тот день, то и будет. Главное сегодня — выжить.

Ведь, собственно говоря, его участок оказался в центре городской жизни, а в центре всегда крутятся разные подозрительные личности. Рядом — железнодорожный вокзал, чуть дальше — автостанция, и люди, прибывающие в город, вначале видят Дом коммуны. Здесь тебе и шоколад, и пиво. А кто горькую любит, почему-то лезет с бутылкой во двор или в подъезд. Там и начинаются представления!.. Случается, и его, участкового, чего и близко не было раньше, начинают учить, как жить, что делать. Ну, знаете!.. Пусть бы жильцы, так и трутни те, выпивохи. Совсем распустились, однако. Глаз да глаз за такими нужен. И все равно не устережешь, разрази их гром!..

Опять же, город строится после войны, встает из руин. Многие жильцы Дома коммуны начали получать более престижное жилье. Вместо них заселялись не всегда авторитетные семьи. Недоля, наблюдая за всем этим, брался за щеку, словно у него остро болел зуб: «Если так и дальше пойдет, мне хана!»

Впрочем, жизнь продолжалась, иногда Недоле и действительно мылили шею, но он как-то ухитрялся оставаться на своем участке и обещал в будущем навести образцовый коммунистический порядок на зависть своим и чужим. Однако же в его возрасте надо было думать не только о службе, но и о дружбе… И он начинал все внимательнее и внимательнее присматриваться к женской половине общества. Непросто, оказалась, сделать свой выбор. Будто и порхают девчушки, будто и он парень ничего, да еще при должности — милиционер, не лишь бы кто! Безбедная жизнь обеспечена в любом случае. Но пока сам себе готовил, стирал, утюжил. Не находилась та единственная. Хотя слухи про его похождения на женском фронте распространялись по Дому коммуны, и многие мужчины недолюбливали участкового, ревновали своих жен к нему.

Нравилась Недоле красавица еврейка Мира, тут ничего не скажешь. Когда встречался он где-нибудь с ней мимолетом, то ощущал, как наливалось теплой нежностью тело, и он, почти не контролируя своих чувств, старался уступить ей дорогу, путался, словно среди деревьев, в своих длинных ногах, вызывался что-то ей поднести. Женщина также заметила, что теряется, встретив участкового. И это неспроста.

Как-то Недоля пригласил Миру на чай. Они пили чай, смеялись, и вот тогда Недоля впервые в своей жизни поцеловал женщину, как он сам считал, по-настоящему. Прижал к себе, и жадно припал своими губами к ее. Она не упрямилась, обхватила его за шею, словно давно ждала этой минуты, одержимо и горячо начала целовать в ответ. Недоля растерялся не на шутку и ощутил, как крепко билось у женщины сердце. Тогда она и заночевала у него. Прощай, молодость!..

— Выходи за меня замуж, Мира, — среди ночи, когда висел в окне ковшик месяца, прошептал он. — Я буду любить наших детей.

— Я подумаю...

Подумать надо было — все же Мира не одна, с дочерью, которая уже ходила в седьмой класс, надо было учесть и ее интересы. Хотя Галька и догадывалась, отчего мама неровно дышит, когда видит участкового или когда заходил про него мимолетный разговор. Галька — еврейка наполовину, отец у нее был русский, летчик, он погиб на войне. И если раньше еще жила какая-то маленькая надежда, что тот вернется, ведь всякое может быть, то теперь, когда прошло более десяти лет после окончания войны, об этом уже не думалось.

— Я выхожу замуж, дочь, — набравшись смелости, сообщила Мира о своем решении.

Та улыбнулась, обняла маму, сказала:

— Я очень, очень рада за тебя. И за участкового Недолю. К тому же, его надо откормить, ведь он совсем худой. Словно щепка. А ты умеешь, мамуня, вкусно готовить!.. Он знает, кому предлагать руку и сердце! Не был бы он милиционером!..

И все бы ничего , и все было бы хорошо, если бы не эта проклятая война. В одном случае она будто бы подарила Недоле счастливую возможность иметь рядом с собой любимую женщину, а во вторым — забрала ее, ту возможность. Нашелся муж Миры. Лучше б он уже молчал, лучше б!.. Так нет — откликнулся. Зачем? Ради чего? Или почувствовал каким-то внутренним чутьем, что его — и также, по-прежнему, любимая! — Мира выходит замуж. «Ты будешь моей, Мира! Только моей! Я не отдам тебя никому!..» Так бы мог сказать не

только летчик Санковский, так бы мог сказать и он, участковый Недоля. Но он, Санковский, сказал все же эти слова первым, и победа оказалась на его стороне. Хотя — какая ж это победа, когда муж, и законный, получается, живет сейчас в Аргентине и, конечно же, вернуться домой не имеет никакой возможности. Если вернется, то что его ждет, он, бесспорно, знает.

В те дни Недоля был сам не свой, места не находил: переживал, что все так получилось. Теперь о женитьбе не могло быть и речи, ведь милиционеру не фарт сочетаться браком с женой пленного летчика-офицера, который предал Родину, и неизвестно еще, чем дышит и сама Мира, избранница участкового.

А больше всего Недоля почему-то жалел самого Санковского, который был далеко, — где та Аргентина, — и представлял, как страдает там без Миры, если даже не выдержал и напортачил ей. Да-да, именно — напортачил: теперь, когда муж перестал считаться погибшим, то и дочь лишилась всяческих льгот. А у нее же вся жизнь впереди, в том числе и учеба. Разве же он, Санковский, глупый и не понимал всего этого? Еще бы! Но, видимо, настолько было невтерпеж человеку, так приспичило признаться близким людям, что жив, что не умер и помнит о них, что пошел и на такой, необдуманный, на первый взгляд, шаг.

Не надо особенно укорять их, Недолю и Миру: они тайком продолжали встречаться, хотя и у Миры, и у Недоли появились позже свои семьи.

Участковый обзавелся двумя сыновьями. Парни росли шустрые, были такие же рослые, как и отец. Вскоре у сыновей появилось много друзей, и они разбегались, словно испуганные воробьи, когда в квартире появлялся Недоля. Кыш, однако!.. В квартире, на шкафу, в беспорядке валялись патроны от пистолета, — выдавали тогда их участковым никак пригоршнями, без особого учета, — и малышня, прежде чем незаметно заныкать один-другой патрон, чтобы потом бабахнуть во дворе, перебирала их, словно желуди, взвешивала в руках. Дети мечтали, что когда-нибудь Недоля даст им пострелять из настоящего пистолета. А тот имел неосторожность пообещать. Только не дождались — один из них, друзей детей Недоли, сделал «колотушку», та разорвалась в руке, раздробила несмышленышу палец. А когда началось расследование, выяснилось: украл патрон у Недоли. Участкового по голове не погладили, конечно же. И заставили навести на шкафу порядок.

Смешно вспомнить, но пустил какой-то пустомеля слух, будто в Доме коммуны появилась неприкаянная душа, которая летает, где ей

вздумается, кого хочешь может навестить, но не с самими добрыми намерениями. Будто даже видели ее. И слышали гул, который та оставляет за собой, когда летит. Такой своеобразный гудящий хвост. Не удивительно, что той души боялись не только дети, но и взрослые. Всем им она представлялась живым существом, страшилищем, и однажды участковому Недоле приказали понаблюдать за тем существом, выяснить, наконец, где оно конкретно летает, и «взять за жабры». Приказ есть приказ, и участковый приступил к исполнению... Неприкаянная душа, благодаря бдительности Недоли, все же попала в силок. Это был все тот же больной Титыч, которого ежегодно отпускали из больницы на несколько недель домой, поскольку для окружающих людей он не представлял опасности. И Титыч, когда Дом коммуны отходил на отдых, носился по коридору, гудел, гремел жестянками, которые были нанизаны на веревочку и привязаны к его спине.

Титыч сделал вид, что не узнал Недолю, вытаращил на него глуповатые глаза, всячески старался освободиться из крепких, словно клещи, рук. Участковый отвел больного на квартиру, где тот жил со старушкой матерью.

Тогда он видел Титыча последний раз.

И постепенно люди забыли о неприкаянной душе.

Часть вторая. ЖИЗНЬ – ТЕАТР, ТЕАТР – ЖИЗНЬ

Раздел 21. Улей и пчелы

...У людей есть на первый взгляд простой и неотъемлемый, жизненно необходимый, утвердившийся обычай, который ведется от наших пращуров с далеких времен: когда рождается человек, ему обязательно дают имя. Каждому свое. Ни птицы, ни звери не имеют его. Дома же имеют номер и улицу, на которой стоят. Бывают, правда, исключения, но весьма редко. И самый яркий пример такого обстоятельства — Дом коммуны. А действительно, где еще в городе есть дом, который мог бы похвастаться такой вот своей метрической карточкой? Вряд ли найдете. Дом и дом. А здесь — коммуны. Он и предполагался, задумывался, что под его крышей будут жить люди почти как в том пчелином улье. Семья же, припомним, медоносных пчел представляет собой сложный механизм, она создается из нескольких тысяч пчел, связанных между собой в одно целое. Благодаря этому единству пчелы одной семьей могут поддерживать в

своем жилище необходимую температуру, успешно защищать его от врагов, собирать много меда.

Не о такой ли вот сладкой — медовой! — жизни и думали наши предки, когда создавали этот Дом. Он, по крайней мере, много чего повидал на своем веку. Когда еще был «ребенком» этот Дом, во дворе появился старый человек, одет был в лохмотья; устало переваливаясь из стороны в сторону, тот катил перед собой коляску на двух деревянных колесах, а посреди — только голова торчком — сидел совсем маленький и беззаботный, если со стороны понаблюдать, белобрысый мальчуган Егорка. Вез его в самодельной коляске дедушка Грицко, вез и приговаривал: «Мир не без добрых людей, внучок... Мир не без добрых людей, Егорка... Они помогут нам... И когда ты вырастешь, то отблагодаришь хороших людей, я не смогу, меня, видно, скоро не станет, а тебе — жить... Запомни это, внучок...» Егорка слушал дедушку и ничего не отвечал, а только размазывал кулачком соленые слезы по щекам и всхлипывал, всхлипывал... ему очень хотелось есть. Давно они уже так едут — от деревни к деревне, от города к городу... Давно. Был день, была ночь, опять день, опять — ночь... А они все едут и едут. И наконец — настоящий город, и какой красивый дом! Дедушка Грицко нутром почуял, что здесь, в этом доме, им помогут, не дадут умереть.

— Ге-ге-ге-е-й! — приложил дедушка Грицко руки ко роту, позвал, надеясь, что кто-нибудь обратит на них внимание.— Ге-ге-ге-е-й!..

Не ошибся старик Грицко — его услышали. В окнах кое-где показались лица людей, кто с состраданием, болью и горечью смотрел на старика с мальчиком, кто уже спешил во двор — чтобы дать голодным людям хоть маленький, но кусочек хлеба, и вместе с тем кусочком надежду — ты будешь жить, Егорка!..

С того времени, как у соседей в Украине начался голод, это уже не первые люди, которые появились во дворе Дома коммуны, словно чуя сердцем, что тут помогут им, не оставят в беде.

Старик Мордух Смолкин также видел, как перед его окнами остановился седой дед с коляской и ребенком в ней; сперва он подумал, что это какая-то игрушка, не иначе, но позже, когда малыш начал вертеть головой по сторонам, догадался: так и есть, очередной нищий, на этот раз не один... Пока спустился по ступенькам во двор, успел отругать того непутевого, на его взгляд, старика, который посмел тащить в белый свет младенца: «Это если б моя Сара была жива, у нее б сердечный приступ случился, и не возражайте мне, Мордуху: разве ж нормальный человек вытерпит все эти страдания,

что выпали на этого мальца-гольца! Хорошо, что тебя, Сара, и нет с нами — ты бы не выдержала, увидев эти безобразия, ты бы умерла снова!.. Но — подожди, подожди, не торопись, стало быть!.. Однако ж с малышом, может, скорее пожалеют, здесь логика есть, так тогда, получается, напрасно я плохо подумал про хорошего, по всему видно, человека? Если надо, Мордух Смолкин извинится, и ему не откажут в уважении и сострадании... Ему простят, а как же!.. Кто ж не ошибается в наше время прогресса!..»

К нищим первым и подошел он, Мордух Смолкин. Отбил поклон, для чего придержал на темени кипу, что-то невнятное прошептал, да настолько тихо и неразборчиво, что старик Грицко его не расслышал, а Егорка был в таком состоянии, что почти не реагировал на происходящее вокруг.

— И если на нашем дворе солнце будет светить и завтра так, как сегодня, — ярко и жарко, тогда мы сможем сделать пользу для каждого человека, изведавшего голод и заплутавшего в длинном коридоре, из которого не видно выхода, — перекрестился Мордух Смолкин, высоко задрав голову на небо, опять придержав кипу растопыренной пятерней. — Помоги, Боже, горемычным людям! Спаси их! Они пришли к нам за помощью, но под нами видели тебя, и ты не должен их обидеть. Я понимаю, да-да, ты прав, ведь если кто и есть здравый в этом мире, то это ты и еще один человек, его все и так знают — ат, разве ж теперь время, когда людям тяжело, когда люди страдают и нужна им твоя помощь, почтенный и благороднейший наш повелитель об этом говорить! — Мордух обозначил себя щепотью из трех пальцев, как-то виновато и совестливо улыбнулся Богу, которого, показалось, он хорошо видел где-то на облаках, и затем только посмотрел на старого и несчастного Грицко: — Он поможет вам, Бог. Он не оставит в беде. Но терпение, товарищи, и еще раз терпение... Так Бог велел.

Пока Мордух Смолкин разговаривал с гостями, их обступили, взяв в кольцо, несколько женщин, подошел и мужчина на костылях, суровый с виду, но только с виду, однако уже через некоторое время он шмыгал носом и глотал слезы. А два мальчугана щупали потрескавшимися руками колеса коляски — проверяли на прочность и надежность, а может быть, и просто восхищались этим самодельным творением, ведь такое чудо каждый из них видел впервые. Кто-то принес и протянул голодающим ломоть хлеба, кто-то несколько картофелин, а тот инвалид-плакса — копченую рыбину.

Мордух Смолкин едва успевал следить за каждым движением подающих, а после того, как старик Грицко принимал очередное

приношение и склонял голову к земле, стремился заглянуть тому в глаза:

— А я что тебе говорил, почтенный Грицко? — Он уже успел познакомиться с ним. — Бог услышит и выручит, потому что нет такого Бога, который бы не услышал Мордуха Смолкина. Или, скажешь, есть? Может, где и имеется, да только не у нас. У нас Бог хороший. Да-да, с сострадающим сердцем и мягкой, понимающей душой. О Боже, как тяжело жить на свете, и особенно, когда некому положить голову на колени и никто тебя не погладит по голове! А так хочется, чтобы тебя иной раз погладили!.. Так хочется!.. А моя Сара взяла и умерла!.. Ну, и как я к ней теперь должен относиться?!.. Кто мне скажет?... Какой Бог?.. Оставить бедного Мордуха одного!..

И как только услышал старый хохол Грицко такие утешительные слова от этого, по всему видно, хорошего и доброго еврея, он растрогался и заплакал. Стоял и дергался всем своим уставшим костлявым телом, а слез будто и не замечал: те струились тоненькими ручейками по старческому, испещренному морщинами лицу.

Вскоре Мордух Смолкин помог старику Грицко сесть на скамейку, усадил рядышком Егорку, тот грыз хлеб и молчал, и наконец сел тоже.

— Теперь и я могу посидеть, когда сидят мои друзья, — тихо промолвил он. — Посидите. Отдохните. И куда же вы, если нет у вас для Мордуха Смолкина секрета, путь держите, друзи?

Старик Грицко говорил на красивом украинском языке, но Мордух Смолкин и сам, конечно же, давно знал, что он идет туда, где не дадут ему и внуку Егорке умереть с голоду. Если есть где на этой большой — глазами и душой не обнять — земле такое место. Они убегают от голода, а это значит — от смерти. Чем дальше от нее, косой, тем надежнее!..

— Тогда вот что, друзья мои, — задергался на скамейке Мордух Смолкин.— Не задерживайтесь. Я дам вам надежный адрес. Я не городской сам, Боже упаси, это меня Сара сюда привезла, а сама — ну что ты скажешь ей! — взяла и померла... Ах, Сара, Сара, что же ты наделала, светлая твоя душа!.. Я в Журавичах жил все время, работал кузнецом и еще много кем. В Журавичах на меня не лаают собаки и молятся люди. Я уверен, что если бы вернулся туда хоть сегодня, но я еще не спятил совсем, чтобы вернуться, то меня бы на руках носили: Мордух Смолкин вернулся, ура-а!. Посмотрите, кто явился!... Но мне уже тяжело в кузнице... А здесь дом. Квартира. Вы не были еще у меня? Не гостили? Тогда ничего — будете назад возвращаться, и заходите, и заглядывайте, я специально по такому поводу приготовлю

вкусный обед... И мы вместе насладимся! Я уже теперь слышу тот запах, тот аромат!.. Какая это будет вкуснятина!.. Ты что, старик Грицко, все еще плачешь? Ну, не надо, умоляю тебя. Брось поганое дело. Мордух Смолкин не любит, когда кто-то сидит рядом с ним и льет слезы, как бобр. Что люди подумают? Люди подумают, что это я, Мордух Смолкин, довел до слез такого хорошего человека. Молю тебя: не надо. Ты не перестаешь плакать? Ай-я-яй! Ну, вот видишь, и у меня слезы близко, оказывается, я также негодник! — И Мордух Смолкин сперва зашмыгал носом, а потом по-настоящему заплакал, и тогда он положил руку на костлявое плечо старому Грицко, и они оба плакали, поочередно всхлипывая. Только маленький Егорка сосал хлеб — он боялся, что будут падать крошки на землю, потому и сосал, подставив ладошку одной ручки ковшиком под подбородком...

Когда наплакались, Мордух Смолкин вздохнул, встал и, ничего не сказав, потянулся на квартиру — надо записать этим людям адрес, по которому они должны отправиться. Чтобы не бродили зря по белу свету. А вручая бумажку, наказывал:

— Примут как своих. Верь мне, Мордуху Смолкину. Только скажи, от кого пожаловал, и вы будете приняты, хорошие люди!

А старик Грицко, прощаясь, подарил Мордуху Смолкину аккуратненькую шкатулку с замочком. Выделялись на ней и простенькие узоры, сделанные, очевидно, карманным ножиком, от чего шкатулка имела весьма привлекательный вид.

— Это — вам, — протянул подарок старик Грицко.

Мордух Смолкин хотел сперва схватить ее, будто раскаленный уголек голыми руками, — быстро, в одно мгновение, однако тут же отшатнулся:

— Мне? За что? Это ему, Богу, надо давать. Его Величеству! — и он ткнул пальцем вверх.

— Возьмите, дядя, — впервые подал голос мальчик, и Мордух Смолкин аж передернул от неожиданности плечами — испугался, не иначе. — Берите. Хлеб вкусный...

— О, за хлеб! Так вам же не будет больше чего давать потом, — развел руками старый еврей. — Вы это учли, а? Ах, какая коробочка! Ах, какая!..

Ему не ответили.

— А напрасно. Вот в Гуте, около Журавичей, деревушка есть такая, зайдете к Якову Тарасову. Когда я бывал у него, он всегда меня усаживал за стол... под иконами, и сытно угощал. Яков так не отпустит. И — верите? — Мордух Смолкин за доброту платил тем же — добротой, да-да: за ласку лаской. Когда его молодица, Пелагея, в

том году ходила в Киев в церковь, то ночевала вместе с другими женщинами у меня. Передай ей, пускай еще заходит. Мордух Смолкин помнит!.. А коробочку я возьму, так и быть. Уговорили. Знаете, зачем она мне? Нет, не догадываетесь, вижу. Пленил меня замочек. Положил что ценное, щелк — и порядок! А наш Хиня на юриста учится, то будет иметь дело с документами, и ему будет где их держать. Аж в Ленинграде Хиня. Сара умерла, а он, подскребыш, не успел... чтобы проводить ее, Сару, в последний путь... Неслух! Говорил, учись где поближе, а он — мне в колыбель надо... Хиня этот не мой сын. Я бездетный. Но парень послушный, будто его отец — это я, Мордух Смолкин, и есть. Ну, счастливо вам, хорошие люди! На обратной дороге жду!..

Как раз в тот же день, когда во дворе Дома коммуны встречал и провожал одновременно словоохотливый Мордух Смолкин старика Грицко и его внука Егорку, ставили самодеятельные артисты спектакль, во время которого и погиб режиссер и исполнитель одной из главных ролей Корольчук. А чуть позже вернулся из Ленинграда Хиня, и ему передали то судебное дело — об убийстве на сцене. Мордух Смолкин почти каждому встречному, придерживая того, как правило, за уголок рубашки или просто беря под локоть и отводя немножко в сторонку, словно хотел поведать какую-то большую тайну, полушепотом, но выразительно, с акцентом говорил:

— И вы думаете, они ошиблись, когда доверили вести судебное дело моему Хине об убийстве в нашем театре того артиста? Ни на грамм! Ни на!.. Да-да, товарищ! Если кому и можно было доверить, то конечно же — Хине! Не забыли, помните, где учился мой сын? В Ленинграде! По тем улицам ходил сам Ленин и тот негодяй Троцкий, который, хотя и еврей, а, мне кажется, — плохой, никудышный был человек!.. А мне также кажется, я здесь не буду оригиналом, что и Ленин... Хотя, кто признается? Владимир Ильич? Если я Мордух Израилевич — то сразу видно, кто есть кто. Правильно? Ну да, конечно же!.. А Хиня вам выведет на чистую воду всех, кто причастен к убийству. И как вы тогда мне будете в глаза смотреть? С какой завистью и сожалением, что Хиня не ваш сын? А может, и правильно, что поехал он в Ленинград учиться. Хиня знает, где надо постигать науку!..

Где-то здесь поблизости и Америка. Своя, конечно же, местная. Иной раз люди настолько точно дадут человеку кличку, или, как вот в нашем случае, — району, улице, что диву даешься: настолько это метко, в самую точку! Америка — еще один район старого города. Поблизости все — и железнодорожный вокзал, и центральные улицы.

Еще в начале века люди устраивались на работу в кузницы, на лесопилки, в швейные и сапожные мастерские, а также на завод Фрумина (с 1934 года — завод имени С. Кирова) и в Либаво-Роменские мастерские (вагоноремонтный завод). А Америка, видимо, потому, что заселяли этот район ремесленники и рабочие. Так, как когда-то люди со всего света заселяли настоящую Америку. Со всех концов съезжались в одно место.

Между прочим, на углу теперешней улицы Интернациональной и проспекта Ленина, по правую сторону, стоял двухэтажный частный дом, и его хозяин обычно сидел с чашкой чая на балконе и наблюдал за городской суетой. (Примерно на том месте сегодня сидит губернатор...) Иной раз тот кого-то приветствовал взмахом руки, случалось, приподнимался, отбивал поклон, а кое-когда угрожал кому-то пальцем:

— Я те покажу, где раки зимуют, крутель!..

А потом начнется война, и на город полетят вражеские бомбы; и Америка, и Свисток, и железнодорожный вокзал, и Дом коммуны содрогнутся от взрывов, пошатнутся сперва немного, а потом, отправив своих защитников на фронт, будут жить так, как и положено им было жить на оккупированной территории...

Хиня прибежит домой, передаст Мордуху Смолкину ту шкатулочку, попросит, чтобы спрятал надежно, так, чтобы она никому не досталась. Ни своим, ни чужим.

— Наш архив эвакуировали, а ... это вот все, что осталось... мое. Сбереги, отец! — Хиня впервые назовет Мордуха Смолкина своим отцом и обнимет его как самого родного человека. — Ну, прощай!..

И побежал, только были слышны его шаги на лестнице, а потом из окна старик видел, как он пробежал по двору и скрылся за углом.

Шкатулку Мордух Смолкин спрятал, как и просил Хиня. Замуровывая ее в стену Дома коммуны, где имелась небольшая ячейка, как будто для шкатулки и была сделана, он сопел, кряхтел, мысленно обращаясь к сыну, который, может быть, находился где-то уже на войне: «Ты, Хиня, знаешь, золотая твоя голова, что спрятать надежно шкатулку или еще какую дребедень здесь во всем этом доме может один человек... Не стану терять времени, чтобы тебе его назвать. Ты и так знаешь. Не глуп. Лишь бы кого в Ленинград не возьмут учиться, там своих революционеров хватает, аж в избытке, поди. Замурую, надо ли говорить! Молодец, отцом назвал... А то все юлил... и отец и не отец... А вернешься с войны, Хиня, — пожалуйста, вот она, твоя шкатулка!»

Мордух Смолкин наконец замуровал шкатулку, сверху приспособил кусок обоев, тот самый, что оторвался, отошел чуток от схрона, склонил на бок голову, и был он грустный и радостный — одновременно:

— Эх, Сара, Сара!.. Ты вот и не знаешь, что война началась, а Хиня меня отцом назвал. И надо тебе было убраться, чтобы самым близким человеком у него остался я?.. Ты слышишь меня, Сара?..

Раздел 22. Пейзаж с обнаженной женщиной

Художник Антон Жигало носил шикарную седую бороду, за которой почти никогда не ухаживал, однако она почему-то всегда имела привлекательный вид: другим даже казалось, что его борода как выросла однажды, на том и остановилась, ее не надо было регулярно подстригать. У Жигалы мягкое и нежное лицо, красивые голубые глаза, пронизывающие и с характерным блеском: как бы ненасытные, жаждущие и страстные, и многим казалось, что у женщин он пользуется несравненным успехом. Борода, голубые глаза, умение мастерски плести паутину из красивых и нужных слов... Да и фигура, как у атланта. Однако ж нет: Антон Жигало любил только свою Лариску, с которой у них на двоих была сначала единственная дочь, а теперь вот и внук, Лешка. Бывает, что тот приходит с кем-нибудь со взрослых в мастерскую к дедушке (а чаще дед берет сам его за руку и приводит, гордо вышагивая по тротуару), долго топает тогда малыш по ступенькам, потом идет по очень длинному коридору, и, наконец, вот она, дедушкина работа. А одолев дорогу, прильнет щекой к ноге Жигалы, вздохнет, как взрослый:

— И высоко же ты, дедушка! Под самым небом!..

Про небо это он правильно, пострел. Высоко, так и есть. Может быть, кому и покажется, что нет, тогда он ошибается: а где же еще Антон Жигало, как не там? Как не на высоте? В прямом и переносном смысле! Уже хотя б мастерскую взять — с того времени, как досталась она ему после неожиданной смерти Бобровского, в Доме коммуны и вообще выше места нет. Если учесть, что на крыше никто не живет. Но крыша — не в счет. Да и так добился уже многого в жизни, о-го! Член Союза художников — это же разве плохо? Рисует много кто, а признают не всех. Его увидели, заметили. Хотя смешно так рассуждать: увидели, заметили. Кто увидит, кто заметит, когда сам себя не поднесешь, не постучишь в нужную дверь и в нужное время! Антон Жигало это понял сразу, когда окунулся, словно в водоворот, с головой в мир искусства. Он сразу взял себе за правило

всегда, в любых ситуациях быть на виду. Чихнул — скажи, что это ты. Не стесняйся. Застрянь в чьей-то памяти. Ну, а когда что-то получится похожее на настоящее произведение искусства, тогда с этим надо носиться, как дурак с писаной торбой.

Художники — люди, конечно ж, слишком заядлые в своем деле, и они должны, хочет того кто или нет, творить. Однако не всегда творчество может прокормить. К сожалению. Поэтому, как правило, все они работают — кто преподает рисование в школе, кто на телевидении, как Володя Сивуха вместе со своей красавицей Людмилой; они не иначе подрядным методом делают разные заставки и занимаются оформлением студии — ну, кто где устроится, одним словом. Можно было на то время неплохо зарабатывать и в комбинате, созданном при Союзе художников. Но там надо уметь получить выгодный заказ. Выгодный — значит, денежный. А кто тебе, молодому художнику, поднесет, словно зажаренного цыпленка на подносе в ресторане, тот заказ? Держи карман пошире. Антон Жигало однако же получал, чем удивлял не только зеленую молодежь, но и опытных, прожженных мастеров кисти. Каким образом? Э-э, братцы, сперва надо выбрать объект... Это же до того просто все делается, только уметь надо. Ну, например, взять на мушку известного художника Козачкова. Человек он покладистый, мягкий, честный, а авторитет имеет. А с кем дружит Козачков? С Ландурским и Крылаткиным? Поближе, поближе к ним. Вот так. Рядом с ними места хватит. Всегда. Надо только знать, у кого когда день рождения, кто что курит и пьет. Поэтому Антон Жигало первым делом приобрел большую черную сумку, в которой всегда что-то носил. Прилип, одним словам. Крепко, не отдерешь. Потому его за глаза и начали вскоре так называть: прилипало. Ну, а потом самое время пожаловаться на недостаток денег, будто семья голодает, а он, видите, к тому ж, и сам обносился, обтерся, как седло на старом велосипеде, что стыдно на люди показываться. И все, выпивая и закусывая из Антоновой сумки, обещают не оставить такого одаренного и хорошего человека в беде, пробить тому денежный заказ. Если и забудут про обещанное, Жигало тактично напомнит им, а делать это он умеет. Притом не станет сразу хватать человека, как говорят, за грудки, брать напором, а подведет так обстоятельно разговор в нужное русло, что тому ничего не остается, как посодействовать в достижении обещенного.

По старой памяти как-то в мастерскую пожаловал режиссер Герд Плещеницкий, поздоровался коротким кивком головы и сразу же беспардонно начал раздеваться и укладываться на диван. Жигало

в недоумении наблюдал за всем этим, даже отложил в сторону работу, а потом развел руками, удивляясь:

— Не понимаю...

— Спать, спать, спать! — скорчившись на диване, словно еж, глубоко зевнул режиссер и захрапел.

— Послушай, дружище режиссер, я не настолько тебя хорошо знаю... я не настолько с тобой знаком, чтобы пускать в свою мастерскую и чтобы ты здесь высвистывал носом, будто дрянной соловей! — решил выпроводить Герда Плещеницкого хозяин мастерской. — Вставай и давай, давай домой! Иначе милицию вызову!..

Услышав про милицию, режиссер сперва притих, перестал храпеть, а затем раскрыл глаза, часто заморгал ими, недоумевая, а еще через мгновение вскочил на ноги.

— Ты настоящий художник! — ткнул он пальцем в Жигалу. — Дай я тебя, старик, расцелую! Дай, моя ягодка-а!..

— Не надо, — отвел руки Плещеницкого подальше от себя Жигало. — Я не баба.

— Не хочешь — и не надо, но слушай сюда, старик! Слушай! Ты — художник! А знаешь, почему я так решил?

Жигалу заинтересовало, а более всего ему было приятно, что этот известный в городе режиссер хвалит его как творца, потому и засветился аж весь и с настороженной осмотрительностью поглаживал свою седую пушистую бороду, смотрел на нежданного гостя, и настырная мысль долбила голову: почему он и в самом деле так решил? Может быть, картины заинтересовали, зацепились за глаз? Так на них он даже и не смотрит. Что же тогда?

Выручил сам Плещеницкий:

— Настоящий художник всегда создает конфликт! А? Что скажешь, старик? — И режиссер так громко захохотал, что, показалось, аж задребезжали стекла в окнах. — Конфликт в искусстве, старик, — основа удачи! А ты умеешь создавать!

Услышанное не слишком обрадовало Жигалу, и он принялся мыть руки, понимал: чтобы вывести из мастерской этого человека, надо выйти с ним вместе и самому, а потом, попрощавшись, опять вернуться. Здесь у него срочный заказ, а режиссер дурит голову!..

Так и сделал. Уже прощаясь, Герд Плещеницкий угрожающе погрозил ему толстеньким коротким пальчиком, икнул, затем изрек:

— А Бобровский был человеком!..

Жигало же, как и планировал, вернулся в мастерскую и взялся за пейзаж с обнаженной женщиной. Пейзаж почти уже был готов,

оставалась только женщина... Натура нужна, натура! Иначе не получится ничего.

А здесь и случай подвернулся: из динамика он услышал, что сегодня вечером в городскую библиотеку имени Герцена «Салон на Замковой», приглашаются поэты и поэтессы, разумеется, а также все желающие. Поскольку Жигало стихотворений не писал, то он отнес себя к последним — к желающим.

Читальный зал, в котором собирались литераторы и любители изящной словесности, был совсем небольшой. Сергей Данилов как-то пошутил в беседе с библиотекарями по возвращении от Ивана Шамякина, к которому ездил брать интервью для областной газеты, что у великого писателя квартира чуток побольше, чем вся библиотека. В ответ раздался иронический смех, и все знали — почему: уже сколько лет добиваются городские библиотекари, чтобы им подыскали новое, более просторное помещение. Не отказывают власти, но и не подыскивают. Их тоже понять можно. Рванул Чернобыль, и в городе тогда в срочном порядке начали создаваться различные структуры, связанные с ликвидацией последствий аварии. На улице же их не разместишь. А библиотека подождет. Может быть, и действительно подождет... Ну, не резиновый же, в конце концов, город.

Жигало же, взяв для вида журнальчик с какого-то стенда, сидит в зале, листает его и наблюдает за теми, кто сюда приходит. Сегодня санитарный день, поэтому читателей нет, а работает только салон.

Первым появился известный прозаик Анатоль Боровский, высок и статен, крепок с виду и довольно красив лицом. Он смерил взглядом Жигалу, и тому показалось, что писатель будто придавил его этим своим пронизывающим и острым взглядом к полу. А какая-то девушка, что сидела до появления художника уже за столиком и листала, как вот и он сейчас, журнал, поздоровалась с Боровским по-русски, тот тактично перевел ее же слова на белорусский и вернул ей назад. «Учитесь разговаривать по-белорусски, сударыня! Вы где живете?» Девушка смутилась, виновато утопила личико опять в журнале. А между прочим Антон Жигало успел увидеть в ее лице нечто такое, что подвигнуло его пригласить девушку в мастерскую. Она! Чем не натура? На фоне цветов, какими густо усеян заречный луг, среди куцых ив, что виднеются вдалеке, на фоне самолета, которого на картине, правда, нет, однако в небе рассеивается след от него, чем не решение, — она будет сидеть, как королева, как царевна, как!.. Сбил с толку тот же самый писатель, который сделал замечание теперь уже старику, пришедшему на салон с тростью в руке. Боровский довольно громко заметил тому на ухо, что надо

разговаривать на родном языке, а он подставлял его, ухо, все ближе и ближе, не понимая, видать, чего от него тот хочет, и тогда писатель не выдержал, спросил:

— Ты чего сюда пришел?!

— А... ага! — моргнул глазами старик, кивнул утвердительно головой и сел.

Почему так настойчиво и методично отстаивал белорусский язык Боровский, знали не многие. Нет, он не был чудиком, когда делал замечание прокурору области, что тот поздоровался с ним на русском, или кому-нибудь другому даже из числа руководителей города и области. Боровский был председателем областного общества белорусского языка имени Ф. Скорины, а поскольку он, где б ни работал, какую б должность ни занимал, относился к своим обязанностям с исключительной педантичностью, то все становилось на свои места. Плюс ко всему — патриот, тут ничего не скажешь, всего своего, родного, а его рабочим языком был белорусский, и поскольку он видел, как мгновенно уменьшается число его читателей, то у кого же должно болеть под левой лопаткой, как не у него, писателя!

А вот и та женщина, которую Жигало видел в хосписе. Не ошибся: она, она. По всему было видно, что та здесь не впервые, свой человек, ведь подходила почти что к каждому, здоровалась, щебетала, и складывалось впечатление, что это не просто встреча в салоне на Замковой, а творческий вечер вот этой белокурой женщины — она, и это было особенно заметно второму творческому лицу, из кожи вон лезла, желая быть в центре всего здесь происходящего.

Кивнула женщина и Жигале, наклонилась к нему так близко, что обдала своим горячим дыханием его лицо, и сказала, чем напомнила, скорее всего, о цели своего визита в хоспис:

— А картины все же могли бы оставить больным людям!

Художник не успел ей ничего ответить — вскоре она была уже в другом месте, и там звучал ее озорной, густой, не без примеси актерской игры, смех.

Появился Борис Ковалерчик, он известен в своих кругах как автор неплохих — а это, наверное, самое главное! — афоризмов и коротеньких шуток, какими всегда можно легко и без проблем заткнуть любую щель на газетной полосе. Он, кстати, в библиотеке с утра — просматривал все газеты, ведь пока полистает только те, где печатается, то полдня надо. Сходил, видимо, перекусил. И вот вернулся. Ковалерчик был доволен: кое-где напечатался, день, значит, прожит не зря.

У Ковалерчика на салоне свое место, он сидит так, чтобы близко было ко всем — и к доброжелателям, и к критиканам, и к столу, где, как обычно, занимают места гости, в том числе и важные — бывает, что даже из Минска.

Рядом с ним примостилась поэтесса, прозаик и критик Агриппина, она в одном лице, хотя и не в творческом пока Союзе, однако не оставляет надежды попасть туда с хорошей охапкой книг. Женщина на салоне выступает редко, ведь не любит портить собравшимся настроение своими произведениями, а вот поучать других любит. В особенности молодых. Отведет в тихий уголок и дает прикурить:

— Кто ж так пишет? Уметь надо! Прочти вслух и подумай: что ты здесь хотел сказать? И над рифмой, и над рифмой трудись в поте лица, пусть уже с формой и содержанием у тебя полный бред, то наверстывай, бери рифмой! Ты же — поэт!.. Посол Бога на земле!.. А то наплел какой-то белиберды!..

Со стороны послушать, то Агриппина не иначе как сама классик, однако перевернешь одну страницу ею написанного, вторую... и начинаешь также зевать: неинтересно и не весьма грамотно, рутинно.

Наконец появляется Сергей Данилов, пожимает Анатолю Боровскому руку и с нескрываемой завистью замечает:

— Хорошо тем, кто живет в центре!..

Будто чтобы оправдать свое появление в числе последних, хотя время еще до начала мероприятия имеется, и он садится напротив Ковалерчика, они обмениваются рукопожатием — через стол.

Данилов как-то заметно взлетел ввысь на литературном небосклоне: вышли две книжки прозы в Минске, а в театрах приняты к постановке две, пьесы. Поэтому у него берут интервью, о нем много пишут. Зосимович, когда Данилов заглянул в редакцию газеты, не без оснований пошутил: «Про тебя, Сергей, по радио говорят больше, чем про Шушкевича и Кебича вместе взятых».

И сегодня, как только Данилов перешагнул порог, в его сторону уважительно и с любопытством повернули головы почти все, а кое-кто поспешил навстречу, чтобы поздороваться. Жигало также подал руку Данилову, а потом попросил стать того у стены:

— Я портрет сделаю...

Писатель послушался, хотя так и не понял, какой портрет и для чего. Но пока думал-рассуждал, художник щелкнул фотоаппаратом. Теперь понятно.

А тем временам послышался голос Натальи Милашковой, и она объявила, что начинается очередное заседание «Салона на Замковой», попросила всех «пристегнуть ремни» и чувствовать себя как дома, на что Анатоль Боровский, ткнув вверх пальцем, добавил:

— И не забывать, что в гостях!..

Боровский вообще любил подначить кого-нибудь, притом он не смотрел на титулы и звания, для него не существовало авторитетов. Заслужил — получай под завязку! Кто попадал под горячую руку, тому и доставалась. Его уже знали, поэтому лобовых столкновений с ним старались избегать.

Ходили слухи, будто его хотят избрать секретарем областной писательской организации, поскольку Иван Серков слагает полномочия — идет на пенсию, а должность эта платная и не пыльная, поэтому надо его заменить. Однако против были писатели, ведь знали крутой и непредсказуемый нрав Анатоля Боровского. Они, надо полагать, ждали, когда примут в творческий Союз Сергея Данилова, и хотели видеть вместо Серкова его. Но это слухи, не иначе. Хотя в каждом слухе, даже в каждой склоке, есть доля правды.

На этот раз обсуждали новую книгу Агриппины. Она поблагодарила всех, кто пришел на вечер, рассказала о себе. Обыкновенная биография. Правда, семьей не успела обзавестись — то ли стихи, то ли рассказы не дали сделать этого, однако на судьбу женщина не пеняла.

Как-то из Минска приезжал поэт Леонид Дранько-Майсюк, его любовная лирика волнует сердца девчат, и те наперебой приобретали книги поэта, стояли в очереди за автографом. Чтобы подсластить девушкам, поэт со свойственным ему тактом просил разрешения чмокнуть очередную «подписанку» в сережку, что потом и делал. Агриппина также обнажила свою сережку, поднесла ее почти к самым губам Дранько-Майсюка:

— У меня, между прочим, тоже есть!..

Поэт сделал вид, что не услышал. И, показалось, даже почувствовал себя немного посрамленным: ну, девушка-то пусть позабавится, а куда же ты, тетка!..

А как-то Наталья Милашкова имела неосторожность высказать свое личное мнение насчет того, что лучшая у нас местная поэтесса Софья Шах... И получила на орехи! Не кто иной, как Агриппина, позвонила директору библиотеки как бы из больницы и унылым голосом сообщила, откуда она звонит, и что виноват в этом только один человек — Милашкова, потому как неправильно делит поэтов на хороших и плохих…

Жигало был на этой встрече литераторов, почитай, самым заинтересованным слушателем. Он присмотрел для себя несколько поэтесс, с коими пожелал бы встретиться в мастерской, и каждой из них назначил день и время, когда будет ждать у себя. Для убедительности дал визитки. А ту девушку, которая поздоровалась по-русски с Боровским и получила увещевание, пригласил в мастерскую сегодня же, сразу после салона. Она охотно согласилась, тем более что мастерская совсем рядышком. Тонька, так ее звали, оказывается, живет в соседнем квартале. Да и отчего же не пожаловать к творческой личности, хоть и в позднее время, тем более, что дома ее, кроме матери, никто не ждал?

В мастерской было вино, Жигало угостил Тоньку, причастился и сам — в последнее время он почти напрочь отказался от спиртного, однако, посчитал, что ради пейзажа с обнаженной женщиной можно немного и выпить.

Фигурка у Тоньки была что надо. Да и не сравнить ее здесь, в мастерской, с той застенчивой девчушкой, каковой была еще несколько минут назад в салоне на Замковой! Она исполняла все команды, какие требовал художник, и хоть сперва прикрывала пальчиками те места на своем теле, за которые бывает стыдно, когда светло в комнате, позже закурила, и так получилось, что далее руки были заняты только зажигалкой, сигаретой и фужером с вином...

Может быть, и получился бы портрет обнаженной женщины у Антона Жигалы, однако он не учел одного, когда вступал в брак с Лариской: ему, неслуху, также надо было искать в спутницы жизни творческую личность, хоть бы такую, как вот Тонька, тогда все было бы хорошо. Но разве Лариска, учительница начальных классов, могла его понять? Поэтому недорисованный пейзаж с раздетой женщиной вскоре вылетел из самого высокого окна Дома коммуны, повис на дереве и колыхался там до той минуты, пока вслед — вдогонку — не полетели выброшенные Лариской вещи натурщицы, они и сбили полотно, которое спланировало прямо на тротуар.

Раздел 23. Новости

— Ну, что тебе, морской волк, рассказать на этот раз? — Володька, как и раньше, сидел на табуретке, поставив на нижнюю поперечину ноги в носках. — Да хватает, хватает новостей. Говорил же, выпиши хотя одну газету. Хотя и в газете не все пишут — цензура.

— Что, неужто есть? — поднял глаза на гостя Хоменок.

— Ты как с неба упал. У меня, между прочим, все цензоры знакомые.

— А кто у тебя не знакомый, Володька! Только что-то ты шляешься без занятия, пристроить тебя они никак не могут.

Володька, похоже, обиделся:

— Так ты будешь слушать или я пойду?

— Давай, валяй!

— Бывший первый секретарь обкома партии Заплыкин работает в мэрии Москвы. Ну чудак же человек! Обиделся на земляков, на того же Заболотнева Григория Николаевича, что так все получилось... Стукнул дверью. Так это кто перед кем виноват? Он перед Заболотневым или Заболотнев — перед ним? Если разобраться!.. Сам черт голову сломит! Месяц всего Заплыкин портфель поносил и уехал. Увидел, что ему здесь нечего больше делать. Ведь два медведя в одной берлоге не живут. А Заболотнев Григорий Николаевич как-то высказал и такую мысль: а не кажется ли вам, почтенные, что первый секретарь обкома испугался, — хоть бы у него не спросили про деятельность партии в области за все время, он и не вошел еще в роль? Посуду же со стола убирает всегда последний. Морской закон. Тебе лучше знать, Данилович. Сам Заболотнев будет послом в Чехии... Или где-то там, одним словом... Ансамбль «Сябры» переехал в Минск. Толя Ярмоленко поставил условие: всему составу квартиры или — гудбай! У него-то была квартира на Старом аэродроме, двухъярусная. Еще ему помогал мебель подбирать: помоги, говорит, Володька... по старой дружбе... Как раз я там был с микрофоном, в мебельном. Давай, говорю, помогу. Таким людям — охотно и бесплатно. Ты чего, Данилович, улыбаешься? Не веришь, да? Твое дело, однако!.. Шушкевич был в Ташкенте с визитом. Слыхал? Хотя, где ты и что, глухомань, можешь услышать? Его отец, кстати, стихи пишет. Также Станислав. Сидел в ГУЛАГе, как и ты, Данилович.

— Там нашего брата много было...

— А что с Чернобылем сделали! На то же радио приходит разнарядка — вот вам, орлы, тридцать или сколько там вакансий, делайте ликвидаторов. По разнарядке. Штампуйте. — Володька вдруг сразу как-то насторожился, задержал дыхание: — Подожди, а на войне не так было?.. С медалями?.. С орденами?.. По разнарядке, а?..

— Не может быть, чтоб так, — не поверил Хоменок и поменялся в лице: оно стало слишком уж суровым. — Несешь околесицу, в самом деле!..

— Это я несу? Ну, знаешь!.. Ты хоть много где и бывал, но, вижу, не больно тебя ... — Володька закашлялся, и не стал дальше

говорить: сообразил, что можно так и обидеть старика, поэтому сказал просто: — И наштамповали ликвидаторов. И шоферы, что начальство возили, и уборщицы, которые в родстве состояли или в дружеских отношениях... На документ, чернобылец! А это ж льготы какие!.. А из чьего кармана? Кто мне ответит? Нахватаются там, наверху, насытятся, а тогда отменят — а вам, плетущимся в обозе жизни, фигу: на-а!.. И не кашляй!..

— Не может такого быть! — оторопело отреагировал Хоменок, и махнул рукой: тебя слушать, Володька!..

— Ты, кстати, дозиметр купил? — поинтересовался как бы между прочим Володька и слегка улыбнулся: какой дозиметр, если он кефир и тот ему приносит?

— Тьфу! — плюнул за свое плечо Хоменок и не стал ничего говорить: посчитал, наверное, что здесь и так все ясно.

— Пазько, редактора, перевели на другую работу. Сняли, можно сказать.

— Не пропадет и там, если умеет писать передовицы. Сам же говорил, что писал по три дня, а то и больше. Научился, пожалуй... Набил руку.

— Тебе уже нельзя, боцман, ничего и сказать. Ат, какой ты!.. А теперь печальные новости. В Минске умер Анатоль Гречаников. Лауреат Госпремии. Убили на остановке или сам ударился головой... нашли в тяжелом состоянии на автобусной остановке и отвезли... А куда?.. Одним словом, сын Андрей опознал Анатолия Семеновича в морге... Данилов ездил на похороны, то говорил, что Иван Шамякин на Московском кладбище, когда гроб в яму начали опускать, заплакал... Представляешь теперь, что значит для нашего Отечества поэт, когда сам народный писатель плакал? «Поэт в России больше, чем поэт!» Так что!.. Зосимович, Дубовец, тоже умирает... На лице морщины, как борозды в поле, а живот выпер, словно баскетбольный мяч носит... Говорят, цирроз... А он и вида не показывает, улыбается, острит... А своим коллегам, с которыми частенько стопку брал, напоминает не без издевки, что скоро и они к нему переберутся. Ну их, эти новости!.. Еще накаркаешь тут!..

На закуску повеселее тебе, Данилович. Слушай. Поехали в Москву с «Сельмаша», это не теперь, немного раньше было, — секретарь парткома День-Добрый, главный механик Сухой и начальник техбюро Косой. Сдают вещи в камеру хранения. Женщина, начав выписывать квитанции, спрашивает: «Фамилия?» День-Добрый называет свою. Женщина отвечает: «Здравствуйте!» И смотрит на День-Доброго, тот: «День-Добрый!» Тогда женщина поворачивается лицом к

Сухому: «Фамилия!» — «Сухой!» Смотрит на Косого: «Фамилия!» — «Косой!» Женщине ничего не оставалось, как рассердиться и бросить в отчаянии ручку: «Понаехали тут артисты, понимаешь!» А потом, посмеявшись, гомельчане все ей, женщине, объяснили.

Володьке приятно было, что Хоменок наконец-то улыбнулся.

На том он и закончил очередной «выпуск» новостей.

Раздел 24. Для кого дорога

Бубнов не помнит сны. Как и каждый, конечно же, человек, он видит их; чаще всего куда-то едет или спешит пешком, всегда почему-то опаздывает, а когда собирается где-то выступать с речью, то обязательно забудет те самые главные слова, которые он должен сказать народу. И так далее. Диапазон снов, как и жизненных пристрастий, самый широкий и разнообразный.

А здесь приснился Дом коммуны. Приснился впервые в жизни, и он — к своему удивлению! — мог до мелочей все вспомнить. Не впервые ли такое с ним? Что еще больше удивило мэра, так это то, что сон про войну — как в дни оккупации города, когда в Доме коммуны расположилась абверкоманда, и будто немцы пытали в подвале, там, где бомбоубежище, мужчину в штатской одежде, а тот упорно молчал, держался мужественно и стойко. Когда же более внимательно присмотрелся к тому горемыке, то узнал в нем поэта Володьку, которого, слышал краем уха, рассчитали на радио и провели вокруг пальца какие-то проходимцы — оставили без квартиры. Даже во сне он стал заступаться за Володьку, с которым, и правда, когда-то учились вместе в партийной школе, крикнул, отгоняя от него немчуру: «Пошли вон, гады! Володька не выдаст никого! И не устраивайте кровавый допрос! Ничего не получится! Не добьетесь!...» А сам тогда же, во сне, еще и подумал: «Странно, Володька, и патриот, подпольщик, по всему видно. А говорят, спился. Вздор! Он — герой!.. Разве же не видите?..»

Немцы его послушались, авторитет и там сыграл, несомненно же, свою роль, однако потом Бубнов весьма выразительно увидел, что в форме абверовцев все его... знакомые. Что за чушь?!

Затем радовался, словно ребенок, когда проснулся: тьфу ты, это ж сон!.. Но осадок все равно был с горьковатым привкусом. Дом коммуны... Предатели — они же свои, но переодетые... Ощутил каким-то внутренним чутьем, что Дом коммуны от него не так быстро отстанет, будет висеть над ним еще долго; если не добьет окончательно. Сплавил, называется, городу, когда был директором

вагоноремонтного завода, а получается, что подвинул его перед собой, как какую-то фишку, будто коробок со спичками, и сам же опять стал перед ним, опешив от нежданной встречи. А тот коробок и действительно готов в любую минуту шугануть пламенем, наделать бед в округе.

Надо было бы и Володьке помочь. Однако попробуй найди его. Прибежал тогда весь неопрятный, издерганный, словно вырвался сиюминутно откуда-то на свободу, одолжил денег (одолжил — громко, конечно же, сказано: попросил — так точнее), обещал завтра заглянуть, и с концами. Просил Бубнов людей, чтобы разыскали его, в конце концов, однако и они с ног сбились — нигде нет, хоть ты что. Однако же, если бы это один бедолага Володька сидел в его голове. «Кто не был мэром, тот не знает жизни», — любил повторять иногда Василий Леонидович.

Придя на работу, он широко и размашисто написал красным карандашом на отрывном календаре: Володька! Решил твердо: что-то с ним надо делать, и обязательно разобраться, наконец, с теми мошенниками, что оставили человека без квартиры. Как же так? И как такое вообще стало возможным в нашем городе? Ему, правда, сообщили, что Володька не первая и не последняя жертва квартирного бизнеса. Бубнов, по крайней мере, и сам начинал побаиваться, что не сможет уже ничем помочь своему однокурснику, однако решил все же попробовать. Главное, рассуждал он, ввязаться в бой. А из боя обязательно надо будет выходить — победителем или проигравшим. Но выходить. Третьего не дано.

Однако же, однако!.. После того, как в республиканской газете был напечатан ответ сельскому жителю, мужчине, которого почему-то заинтересовал Дом коммуны, пошли аналогичные звонки горожан — словно спали, спали люди и только что проснулись. Тот, значит, сельчанин, написал... вот она, газета. Бубнов нацепил на нос очки, опять прочел мелкие строки, но выделенные жирным шрифтом: «Когда приезжаю в областной центр, всегда удивляюсь виду Дома коммуны. Кровли нет, окна выбиты, здание все ободрано и напоминает мне послевоенный Гомель. Впечатление именно такое, будто по нему только что ударило войной. В таком виде он находится уже несколько лет. И это — в самом центре города. Не дом, а бельмо на глазу. Почему городские власти возятся с ним: и не сносят, и не восстанавливают?»

Так вот, раздавались не только звонки, люди засыпали письмами редакции и сам горисполком. Выход был один — собрать пресс-конференцию и расставить все точки над «і».

Пресс-конференция запланирована на сегодня, и об этом ему, Бубнову, напомнил помощник. Мэр сразу же как-то ужаснулся: так вот, оказывается, почему снился Дом коммуны!.. Надо наконец и людям правду сказать, и самому стряхнуть с плеч этот груз, который уже давно не дает покоя, тогда, понятное дело, станет полегче. Всегда, заметил, так: что-то носишь на сердце, чересчур волнуешься, тревожишься, ведь бывает, что и неприятно иной раз сделать тот или иной шаг, а сделаешь его, преодолеешь ту невидимую преграду, и на душе посветлеет, радостно станет. И тогда лишь укоряешь себя: ну, и зачем медлил, тянул? Только портил нервные клетки, и не более того. А вот когда очистишь душу, столкнешь тот камень, что жизни мешал, словно валун с горы, тогда и самому легко и приятно.

Пресс-конференция началась почти без вступления. Напомнив, что Дом и действительно дался ему, Бубнову, в печенки, он попросил, чтобы задавали вопросы, и тогда они, работники горисполкома, вместе с ним, мэром, конечно же, постараются дать на них исчерпывающие ответы.

Вопросы были самые разные. Работников средств массовой информации интересовало, почему приняли решение выселить людей и поставить Дом коммуны на капитальный ремонт, что тому посодействовало, кто этим занимается и отчего после оживления опять наступило на объекте затишье?

Бубнов думал переложить основной груз на своих подчиненных, однако получилось так, что почти на все вопросы пришлось отвечать ему одному, и только когда не хватало у него какой-то информации, поглядывал на того или другого своего заместителя, и тут же получал необходимые сведения.

Вырисовывалась следующая картина. В начале девяностых годов специалистам, а не только жильцам, стало понятно, что жить в Доме коммуны вскоре будет совсем невозможно — постепенно он приходил в непригодное состояние. Необходима реконструкция, ведь сносить здания, которые представляют собой историко-культурную ценность и если даже они находятся в плохом техническом состоянии, нельзя: запрещают делать это, в частности, международные нормативные документы и соответствующий закон Республики Беларусь. А государственных средств на реконструкцию не имелось, поэтому было принято решение продать Дом коммуны на аукционе. За полмиллиарда рублей, таким образом, его приобрел один коммерческий банк. Какой конкретно — не называется, нельзя: по желанию участников аукциона предусматривается такой пункт, согласно которому выигравшие аукцион могут оставаться неназванными.

Банк, кстати, обязался не нарушать архитектуру здания и имел намерение после соответствующих реконструкционных работ открыть здесь гостиницу высшего разряда, ресторан и разместить свой офис. Однако банк не осилил намеченное и перепродал здание другой коммерческой структуре. Те задумали перепрофилировать его на свой манер: на первом этаже — ресторан, торговые точки, на оставшихся — помещения под офисы фирм, гостиница и в крайних подъездах — жилье повышенной комфортности. Здесь же, на территории Дома коммуны, построить подземные гаражи.

Однако фирма не спешила все это претворять в жизнь. Она даже не зарегистрировала необходимые документы в комитете по охране историко-культурного наследия. Горисполком присылал официальные бумаги на адрес фирмы с напоминаниями, что данные ими обязательства не выполняются, в результате чего, согласно выводам технического обследования учеными и специалистами, здание подвергается дальнейшему пагубному воздействию на него атмосферных осадков, ветров и представляет собой опасность как для людей, так и для окружающей среды, и если не будут приняты надлежащие меры, то на повестку дня встанет вопрос о возвращении здания в коммунальную собственность. Дело дошло до хозяйственного суда, и договор купли-продажи был отменен. Теперь там работают строители, но не на должном уровне. Есть на то объективные причины, и в первую очередь — отсутствие желающих жить в этом Доме, людей, одним словом, с большими деньгами. А такие должны найтись, они будут! И тогда Дом коммуны оживет, засветится окнами. А пока от него, по сути, остались только стены, которые соответствующим образом укреплены. Все же остальное демонтировано, поскольку перекрытия были деревянными. Реконструкция же — вещь весьма дорогая, один квадратный метр жилья стоит, к примеру, дороже, чем в новом доме. А оно будет не таким, как раньше — не из ячеек по две-три комнаты, а повышенной комфортности, в двух уровнях, с большими коридорами. Шик!

— Надеемся, — подчеркнул Бубнов, — что найдем все же инвесторов, готовых вложить свои деньги или под офисы, или под жилье. По крайней мере, к нам уже поступили предложения от нескольких организаций на строительство восьми квартир. И это, считаем, только начало...

Аплодисментов не было, но, как показалось мэру, все остались удовлетворены услышанным. Уже прощаясь, Василий Леонидович попросил журналистов, чтобы те так и написали, как услышали,

ничего не дополняя и не сокращая. Он, дескать, и так говорил вкратце и конкретно!..

Отчеты, напечатанные на следующий день, сыграли и рекламную роль — начали звонить заинтересованные люди, и не только из организаций и заведений...

Это окрыляло Бубнова. Наконец, возможно, он уже передаст в надежные руки Дом коммуны.

...Возвращаясь домой, мэр увидел, как во дворе его дома один мужчина шел напрямик через зеленый лужок и вдруг натолкнулся на аккуратненькую фанерку на деревянной ножке, что была воткнута прямо перед ним на ранее протоптанной тропинке: «Здесь ходят дураки!» Мужчина резко остановился, оторопев, застыл на месте, словно окаменел, а потом покрутил головой по сторонам, встретился взглядом с Бубновым, заулыбался и, как бы извинясь, пошагал назад, словно тот аист на болоте, высоко переставляя ноги.

Улыбнулся и он. Уже и как мэр, и как автор этой идеи.

Мелочь, как тот говорил, а приятно!..

Раздел 25. Ты — не один

Сымон бежал и бежал, не совсем понимая, куда. Он прятался от людей, что пришли в дом, начали кричать на родителей, толкать отца, который что-то сказал против их воли, и тем, как выяснилось, не понравилось это. Кроме всего, отец отмахнулся, ведь человек он сильный, даже богатырь в его детских глазах, и те двое с винтовками сначала полетели навзничь на пол, а затем накинулись на него снова, повисли на нем, свалили все же на землю, начали пинать отца ногами. Мать заголосила, и на нее, все еще изливая злобу на отца, цыкнул один из тех двух, что пожаловали к ним в дом и затеяли эту потасовку:

— А ты замолчи, курва!..

Отец, уловив момент, отыскал все же глазами Сымона, который, казалось, совсем растерялся и не знал, что ему делать: забился за печь, трепеща от страха и всхлипывая, и крикнул тому:

— Беги, сын! Беги!..

И вот он убегает... Но сколько же можно? Хотя убегающему от людей с карабинами не было еще и десяти лет, совсем пацаненок, он сообразил, что дальше бежать нет смысла — дальше уже чужая деревня, а здесь, за его спиной, — своя; там остались мама, папа. Его старшие братья, Константин и Женька, где-то в поле, а то бы заступились, не позволили пинать папу ногами и ругаться на маму.

Сымон остановился, отдышался и решил спрятаться в кустах. Если те люди заставляют папу и маму собираться, значит, они погонят их куда-то далеко, а дорога на большак только эта, и тогда он обязательно увидит их. Так и произошло. Вскоре на дороге затарахтела подвода, и мальчик узнал своего коня Ежика, а вскоре увидел на возу родителей. Впереди ехали на такой же подводе и те двое с карабинами. Один из них повернулся и гаркнул на отца, который держал в руках вожжи:

— Подгоняй свою клячу, кулацкая морда!..

Отец слегка шлепнул вожжой по спине Ежика, и тот закопытил чуть быстрее.

Для Сымона началось сиротское детство. Константина и Женю власти позже также отловили где-то в лесу и отправили вслед за родителями, которые, выяснится потом, их ждали в районном центре, а его спрятали родственники в соседней деревушке, хотя, возможно, и напрасно: все же им даже и в той Сибири нужно было жить вместе — одной семьей. Семьей все же, наверно, полегче было бы всем, неважно где — там или здесь. Однако не кто другой, а папа сказал ему: «Беги, сынок!..» А он всегда привык его слушаться, ведь послушание у них, Куреньковых, было в крови издавна, заложено в генах, потому и жили они лучше, чем другие. Так и трудились ведь куда как больше, кто этого не знает! Видеть-то оно видели все, знать знали, однако ж черная зависть кое-кому не давала покоя.

Ну, а дальше произошло следующее. Сымон помешался, а поскольку он был хорошим помощником тете и дяде по хозяйству, они, приютив его, и не думали куда-нибудь сдавать мальчика на государственные харчи. А позже так и совсем все удачно сложилось. Сымон приспособился бегать в ближайшие деревни за подаянием, примчится в хату, что-то тараторит невнятное, люди же видят, что больной перед ними, жалеют — обязательно что-то подадут, последним поделятся. Вскоре его знали во всей окрестности и звали не иначе, как «Семка из Дорогунска». Когда прибегал — именно прибегал, а не приходил, ведь он как-то вприпрыжку как появлялся в той или другой деревне, так и исчезал, — зимой люди приглашали беднягу погреться, выпить горячего чаю или чего-нибудь съесть, хотя еды тогда было не шибко и у них самих. А уже на обратной дороге, с полной полотняной торбой, Сымона, как правило, атаковали собаки, бешено лаяли, и подросток принимал это за обычную игру, считал, видно, что те, глупенькие, хотят отнять у него торбу с подаянием, поэтому прижимал ее посильнее к себе, а на собак бранился, но не злобно — просто что-то говорил им: скорее всего, советовал

возвращаться домой, а есть он и сам хочет, ничего, дескать, у меня не получите. А коль уж так сильно хотите есть, то просите у своих хозяев. «У них есть: мне ж дали...»

Собаки, поджав хвосты, возвращались обратно в свою деревню, а Сымон, подпрыгивая от счастья, — в свою...

Как раз во время одного из таких возвращений после посещения хат в одной соседней деревушке он и встретил на дороге старика Грицко и Егорку. Сымон впервые увидел тогда коляску на деревянных колесиках, она показалась ему игрушкой, не более, и он, не спросив разрешения, положил в коляску свою торбу, а мальчишку перед этим взял и бережно поставил на землю.

— Не тронь, он болеет, — с хрипотцой в голосе сказал Грицко.

Сымону было все равно, больной или нет, и он покатил перед собой коляску, подскакивая то на одной ноге, то на другой, что-то лепеча и смеясь:

— А-а-а га-га-а-а!.. Куда, курва-а!.. Шевелись, кулацкая морда-а!.. А-а-а га-га-а-а!..

А наигравшись, вернулся назад, также трусцой, поставил коляску перед Грицко, забрал свою торбу, а на то место, где она лежала, опять усадил мальчика.

—А-а-а, га-га-а-а!..

Он, Сымон, и привел старика Грицко и Егорку к своему подворью. Старик не пошел в Гуту, как наказывал ему еврей Мордух Смолкин, к Якову Тарасову, поскольку совсем уже обессилел, еле теплилась в нем жизнь. А через неделю она и вовсе угасла в нем — Грицко умер, на погосте плакал только один Егорка, да изредка хлюпала носом тетя Андреиха, и украинский мальчик остался у этих людей. Куда ж было девать его, Егора? Пускай уж вместе с Сымоном будет, что один рот, что два — разве ж большая разница? А то еще отправят его, посчитали жалостливые белорусы, назад в Украину, где — голод... Нет, пускай живет здесь. Пускай будет приемным сыном. Надо было видеть, как радовался Сымон, что у него появился братик! И, что интересно, ни единого раза не потянул его с собой в соседние деревни, куда бегал, пока не подрос, по-прежнему охотно.

В отличие от Сымона, Егор учился в школе, и учился хорошо, а тот только листал его тетрадки и учебники, бормотал:

— А-а-а, га-га-а-а!..

Однако же прежде чем пойти Егорке в школу, надо было записать его в сельском Совете, чтобы там выдали метрику, а у парня не имелось даже фамилии. Дядька Андрей был категорически против, чтобы и у Егорки была фамилия Куреньков. «Запятнана ведь...

Кулаки... Вспомнят когда-нибудь в самый неудобный момент, и попадет парень по нашей вине в немилость...» Поэтому над фамилией для Егора думали, почитай, никак всей деревней, и приняли, в конце концов, предложение деда Мартына, который, подкрутив свои обкуренные рыжие усы, сказал примерно так:

— Не было у мальца доли, а теперь есть. То пускай будет Недолей. Как память о старом, об ушедшем. Недоля. А? Хорошая фамилия, ничего не скажешь!.. И мы, белорусы, не в обиде будем, и друзья-украинцы — также: вот ваш Недоля, ежели что... Живой, сбереженный, значит...

Так Егорка стал носить фамилию Недоля.

В город он приехал сразу после семилетки, решил поступить в какое-нибудь ремесленное училище. И еще была у него давняя мечта — встретить того хорошего еврея Смолкина (бумажка же, на удивление, сохранилась), если жив-здоров он, который тогда, в голод, направил его и деда Грицко к добрым людям, хотя они и попали к другим. Так судьба распорядилась. Хорошо, что его послушались, видно, от всей души советовал тот еврей, потому что сложилось потом все наилучшим образом.

Однако Смолкина Недоля так и не разыскал. Одни говорили, что он остался в эвакуации, не пожелал возвращаться, другие утверждали, будто он и вовсе умер еще до войны. Не напал на его след Недоля и тогда, когда учился в ремесленном, и после, как уже стал милиционером.

Через несколько лет после войны Сымон второй раз в своей жизни осиротел — ушли из жизни, один за другим, дядька Андрей и тетка Андреиха, и Недоля, нисколько не колеблясь, забрал Сымона к себе и устроил его в коммунальную службу — сперва тот ставил бачки с мусором на конку, а потом и на «полуторку». Сымон и в более зрелом возрасте был чрезвычайно подвижным и шустрым, делал все молниеносно, как-то с наскоку, не курил и не пил, им были довольны. Только вот деньги ходил получать Недоля, сам и расписывался в ведомости. Один раз, самый первый, заработную плату отдали на руки Сымону, и он вернулся домой без денег — отняли какие-то бродяги, еще и глаз подбили, нехристи. Когда же он, Сымон, нес деньги не в кармане, а в руке, прижимая их к груди, и всем встречным показывал их, хвалился, что и он, видите, зарабатывает, что и он не лишь бы кто!.. А тем только того и надо было — вытрясли из бедняги все до копейки, еще и тумаков надавали. Эх, люди-людишки!.. А его ж, Сымона, в прежние времена даже собаки, объединившись в стаи, не трогали, и свою полотняную торбу с

подношениями сельчан он доставлял всегда аккуратно домой. А деньги, вишь ты, не получилось донести. Он, бедняга, не знал, что город — это тебе не смиренная деревушка, законы выживания здесь более жесткие, собирается много таких, кого даже село отвергло, оттолкнуло от себя, как какую-то ненужную вещь... Им здесь есть где спрятаться и полегче найти таких простаков, как Сымон.

Однако же встречаются на их пути и такие люди, как Егор Недоля.

На счастье.

Раздел 26. Свадьба

Минеров был приглашен на свадьбу. Скажи кому, на какую и куда, то обязательно нашлись бы и такие, кто лишь пожал бы плечами и удивленно посмотрел на него: не шутишь, Сергеич? Да нет, он не шутит — позвонила давеча из хосписа Катерина Ивановна, та самая Катерина Ивановна, свекровь его сестры, и пригласила. «Без вас, Павел, какая ж это будет свадьба! Обязательно приедьте, а то что ж мы здесь, одни старухи да старики, сможем!..» Надо ехать. Он, Минеров, только похоронив свою мать, понял, что при жизни уделял ей до ничтожного мало внимания — всегда как-то получалась так, что не хватало времени лишний раз навестить ее, заехать хотя бы на несколько минут, обнять, прижать к себе, а ей, матушке, большего счастья и не надо было. И служебный же транспорт всегда под рукой, не в пример другим, а он непростительно все переносил те визиты к самому родному человеку на завтра, потом — на послезавтра... и сам того не заметил, как не стало мамы, а вместе с ней оборвалась и та последняя ниточка, что связывала его с родным домом. Это нам только кажется, что мамы и папы живут вечно.

И вот теперь эта Катерина Ивановна. Чужой, казалось бы, человек, однако он решил сделать для нее приятное и поэтому пообещал быть.

В тот день спозаранку Минеров наведался в хозяйство, уладил все неотложные дела, хотя все уладить невозможно, их хватит с лихвой на всю жизнь и еще останется детям, как говорят, и несколько раз позвонил Вере, однако она почему-то на телефонные звонки не отвечала. Минеров не на шутку встревожился-разволновался, подумал, может, с малышом что, с Павлушей, и, прежде чем отправиться в Старые Дятловичи на свадьбу, решил сперва вернуться в город, удостовериться, все ли там в порядке. Однако на звонок в дверь также никто не отозвался. Он прислушался и вроде бы услышал в

комнате шорох — шаги не шаги, но, казалось, там были люди. Может быть, воры? Что же делать? Предчувствуя неладное, Минеров обратился в милицию, и вскоре прибыл наряд. Старший наряда, немолодой лейтенант, козырнул и сразу поинтересовался:

— Вы звонили, простите... Павел Сергеевич, коль не изменяет память?

— Не изменяет. Я звонил.

— Ну, и что будем делать? Кстати, а чья это квартира?

Минеров соврал, хотя, если реально смотреть на вещи, то сказал истинную правду:

— Моя.

— Хорошо, тогда будем взламывать дверь?

— Давайте!

И каково же было удивление и разочарование Минерова, когда за порогом на него набросилась... Верка:

— Кто вам разрешил такое?! Вы что себе позволяете?! Что, думаете, на вас управы не найдем?!

Минеров, вчистую растерянный, только моргал ресницами и не находил, что ответить Верке в свое оправдание. Показалось, что не на шутку испугался и старший милицейского наряда, который дал команду взламывать дверь. Он только лишь искоса поглядывал на Минерова и ждал, что скажет тот. А Павел Сергеевич, стиснув зубы, предательски молчал. Он не узнавал Верку. Неужели это она, всегда такая ласковая, стала сразу мегерой! Не может быть! Здесь что-то не так! Однако же — так!.. Из-за ее спины выглядывал, стараясь угодить Минерову кивком головы, поздороваться с ним, только никак не мог подобрать момент для этого, молодой парень, отчего Павлу Сергеевичу сделалось еще больнее и как-то дурно, и ему захотелось на свежий воздух. Но прежде чем выйти, он поднял глаза на Верку, чуть слышно, спросил:

— А сын... Пашка... где?

— Где надо! — разъяренная, как никогда раньше, грубо ответила Верка и посмотрела в сторону милиционеров, они топтались в коридоре, поочередно заглядывая в прихожую, словно тем самым напоминая, что они здесь, никуда пока не ушли. — Ремонтируйте дверь!..

Старший наряда опять вопросительно посмотрел на Минерова, мол, и что вы скажете теперь, Павел Сергеевич?..

Но Минеров ничего не ответил, молча вышел, сел в «Волгу» и поехал на свадьбу. Постепенно он успокоился, и если раньше был готов избить Верку и ее жениха, то уже сейчас, трезво взвесив все «за» и «против», признал свое полное поражение, утешая себя, что

такое когда-нибудь должно было произойти. Верка молодая и красивая женщина, и она, конечно же, имела право налаживать свою личную семейную жизнь, а не только услаждать Минерова. Тем более, что он никогда не обещал быть с нею рядом до конца своих дней, как пишут в любовных романах, нет, такого разговора и близко не велось, даже в минуты пылкой любовной страсти. Верка, к тому же, и неглупая женщина, понимала, что свою законную жену он никогда не оставит, ведь та наделает крику на весь белый свет, разотрет Минерова тогда в порошок. А его есть за что растереть, и Павел Сергеевич, если б и хотел перекочевать к Верке жить постоянно, никогда не сделает этого — только из-за страха быть разоблаченным женой и, не исключено, тогда и государственными органами и службами. Только дай повод. У такого человека, как он, найти можно какой хочешь компромат, чтобы потом им же и прижать его к стенке. Ведь — руководитель как-никак, все время ходит, будто по минному полю. Кому еще можно подорваться, как не Минерову, сделав неосторожный шаг влево или вправо.

У него, заметьте, даже фамилия созвучна...

Но как бы там ни было, как бы ни утешал себя Павел Сергеевич, на свадьбу он ехал не в самом лучшем настроении — скорее всего, наоборот: такого скверного самочувствия не было у него давно, по крайней мере, именно такого, вызванного и предательством Верки, и ревностью... Хотя последнее обстоятельство слегка даже успокаивало — он наконец увидел, какая она, Верка, на самом деле, что за птица, и потому у него даже отлегло малость от сердца: до чего же некрасива, омерзительна была она!..

Ну да хватит!.. Обидно только, что жена, Галина Викторовна, была права, еще как была права, и при случае она не упустит момента и обязательно с подковыркой, как это умеет делать, упрекнет его:

— А что я тебе говорила, бабник? Обула она тебя в лапти, как последнего негодяя!..

И захохочет, громко и счастливо, с укоризной поглядывая на общипанного Минерова. Он даже представил, как фыркнет на жену, поставит ее на место, но только лишь по причине, и с этим надо смириться, своей беспомощности, своей безысходности. Если человеку нечего сказать, то он обычно кричит. Известное дело.

На свадьбу он не опоздал, приехал еще заранее, поэтому, прежде чем пойти сразу же к молодым, сначала заглянул к главному врачу Зинаиде Орешко.

Старая знакомая встретила его приветливо, слегка улыбнулась, когда увидела гостя на пороге, сразу же заторопилась навстречу, подала руку, он чмокнул ее, а потом, подчеркивая свои аристократические манеры, артистично протер носовым платком то место, где оставил свой поцелуй. Зинаиде Орешко такое внимание понравилось, она знала, что Минеров, хоть на вид солидный и строгий человек, иногда бывает заурядным шутником. Такое перевоплощение человека ей, как врачу, хорошо знакомо, и она ничего зазорного в том не видела, если не наоборот: мы же и сами меняем иной раз маски, это свойственно человеку.

— Рад вас видеть! — сказал Минеров, следуя за Орешко к столу.

Она ответила то же самое. А потом они сразу заговорили о... молодых. Минеров поинтересовался, что представляет собой жених, дескать, надежный ли человек, хоть и понимал, что такое любопытство выглядит глупостью — если вспомнить, по сколько лет жениху и невесте, то, в принципе, какая разница, что за человек. Сдружились, сошлись — и хорошо, сколько им там осталось, так хоть последние дни будут рядом, будут мужем и женой, окунутся в семейное течение, хотя здесь, в хосписе, их брак будет все же, согласитесь, напоминать в немалой степени условность, игру.

Зинаида Викторовна заметила Минерову, что он беспокоится, как отец, который выдает дочь замуж и боится, чтобы той не достался в мужья какой-нибудь недотепа. Улыбнувшись, Павел Сергеевич признался, что он всего лишь пошутил, не более того, а молодым желает счастья и долгих лет жизни.

— Я тоже, Павел Сергеевич, этого желаю им, и мы обязательно скажем позже все эти слова пожилым, но влюбленным людям: согласитесь, каждое хорошее слово на душу ляжет им бальзамом, — подхватила Зинаида Орешко. — А пока я хочу угостить вас кофе. Не против?

— Кто же откажется, когда предлагает вам кофе такая милая, красивая женщина? — улыбнулся Минеров, скользнув взглядом по ее фигурке. — Спасибо, спасибо.

Готовя кофе, Зинаида Викторовна, скорее, чтобы заполнить создавшуюся паузу, поведала гостю интересную деталь, что касалась сегодняшней свадьбы. Оказывается, и здесь не все так просто, как думалось изначально! Жених Катерины Ивановны, Платон Архипов, был и есть человек заслуженный, участник войны, пиджак не поднять — тяжелый от орденов и медалей, и когда был День пожилых людей, то это ему вручили ценный подарок вместе с Митрофановной. Человек он вообще-то сложный, с характером, как о таких говорят,

но не пьет и не курит, что также немаловажно в наше время, однако не о том хотела сказать главный врач, а совсем о другом. Ветерана выкурили из собственной квартиры сын с невесткой, житья не давали ему, создали невыносимые условия, и Платон Архипов попросился в хоспис. Но оставив свою, трудом нажитую квартиру, ветеран твердо решил, чего б это ему ни стоило, отомстить невестке, которая попила немало его крови. В план мести входила и срочная женитьба. Старик разузнал, когда сблизился с Катериной Ивановной, что та совсем осталась без своего угла, его такое положение женщины обрадовало и одновременно заинтересовало, это как раз то, что и надо! Расписаться в местном сельском совете, поставить штампы, и тогда пускай поерзают его домашние, когда осведомятся! Он же вправе прописать жену в городской квартире, и никуда они, нехристи, не денутся. Поупрямятся, поупрямятся — и сдадутся, он должен взять верх, ведь не зря же хватал за горло врагов, когда служил в полковой разведке. Опыт есть. Вот и понадобился. Посмотрим, как запоет теперь невестка, мымра этакая! Еще имел в виду ветеран и внука Катерины Ивановны Кольку, о котором та много рассказывала будущему мужу без прикрас. Такой пригодится. Такой из горла вырвет!..

— Вот такая у нас свадьба, — улыбнулась уголками губ женщина. — С подтекстом. Все куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.

— Действительно, — согласился Павел Сергеевич.

И здесь только его осенила догадка, почему Катерина Ивановна так настойчиво добивалась, чтобы он приехал на эту свадьбу. Значит, будет и Колька. Пришлось оценить прозорливость женщины. Ход вперед. И какой ход! Когда ветеран начнет атаку на свою квартиру, теперь уже вместе с Катериной Ивановной и Колькой, то тогда тем, не заимев вдруг положительного решения, необходима будет срочная подмога, и они обратятся, конечно же, к Минерову: выручай, родственник!.. Это же квартира того самого жениха, на свадьбе которого ты был, когда он вступал в брак со мной, с Катериной Ивановной. Или забыл? Был же, был на свадьбе!..

Минеров изменился в лице, куда девался прежний блеск глаз, и это заметила Зинаида Викторовна. Сперва она пожалела, что рассказала обо всем, услышанном недавно от самого Платона Архипова, а потом и утешила себя: он же, Минеров, должен знать все, чтобы потом не попался на крючок. А как ему вести себя на свадьбе, это уже, извините, его личное дело, пускай сам решает, как быть и что делать. Хотя, если разобраться, старые люди — что дети:

сегодня у них одно, завтра другое, так что заглядывать далеко вперед не имеет смысла.

Поэтому, Минеров, выше нос — пора на свадьбу. Там уже ждут молодожены Катерина Ивановна и Платон Архипов, которому нравится, когда его называют просто Платон. Особенно женщины.

Молод, получается, еще человек, молод.

Вот и хорошо! Вот и горько!..

Раздел 27. Премьера

На деревянном крыльце, что сразу вело в дачную конуру, сидел актер драматического театра Иван Певнев и курил. Вот это он делал напрасно, ему нельзя было дружить с сигаретой, ведь в последнее время появилась одышка и голос был сиплым, и когда на сцене приходилось много работать, а не стоять, как говорят, с боку припека, то эти трудности вылазили наружу.

— Бросай курить, Петрович! — серьезно советовал ему кто-то из друзей после очередного спектакля, а Певнев, как и обычно, делал вид, что не услышал его: будут здесь все кому вздумается учить народного!..

И по-прежнему дымил сверх всякой меры и нужды.

Сегодня как раз понедельник, в театре выходной, и его пригласил к себе на дачу Сергей Данилов, пьеса которого принята к постановке, а на роль главного героя утвержден Иван Певнев. Выпили по рюмке, слегка перекусили с дороги, и артист сел на крылечке перекурить. Хорошо-то как!..

— Спектакль будет, — пыхтя дымом, промолвил Певнев. — Только название неброское. Надо такое, чтобы аж звенело, как струна, поверь мне, старому грешнику!.. А то что ж это за название — «Иванов дом»! Так можно сказать, что и Петров, и Дмитриев... Да дом у каждого есть. Все мы из них, из тех хат. Дай название! Такое, как «Ретро» Галина. Пьеса так себе, а название-е! Если бы не название, про нее б никто и не услышал, про пьесу-то. — Его стал душить кашель, а справившись с ним, Певнев продолжал: — Есть, есть спектакль... Вырисовывается... Подумай над названием и допиши мне несколько крепких словечек, ведь больно хочется мне врезать на всю катушку!..

— Ну, если режиссер не будет против...— не знал, что и ответить, Данилов: и не поймешь, он что, шутит или серьезно?..

— В нашем театре — я режиссер! — постепенно, но уверенно, входил в роль мэтра Певнев. — Еще может быть режиссером Иванов

Федя, потому как с первого дня в нашем театре, аксакал!.. Корнеева тоже!.. Она хотя и навредничать может, но гениальная актриса!.. А? А уже какими вылепил нас Бог, такие мы и есть, пожалуй!.. Допиши, допиши, родимый, мне, народному, пару фраз. Только аккуратненько, завуалируй, чтобы никто не прицепился. Понял? Меня же многие Лениным еще помнят, а как же!..

Данилов, согласившись, кивнул.

— Я, Сережа, с твоего разрешения, пройдусь. Подышу, так и быть, свежим воздухом, а заодно и над образом поработаю. Материал есть. Есть материал!..

— Пройдитесь.

– Охотненько, охотненько! Какие пейзажи!.. Иван, мой герой, ходил, конечно же, и по этой тропке, по которой я пойду сейчас? — Он посмотрел на автора пьесы. — Я это чувствую…

У актеров есть внутреннее чутье и его не спрячешь в карман, не положишь рядом с сигаретами. Подошвами не ощутишь, а душой — да, да!.. Только душой!.. И ничем больше!.. Значит, по этой тропинке ходил-бродил мой Иван... И я Иван. Х-ха, я про это, кстати, только теперь подумал! Это, наверное, счастливое совпадение!.. И надо ж!.. Два Ивана, два Ивана-хулигана!.. Одного придумал драматург, а другого, то бишь меня, родила мамаша. Вот как!..

Певнев не торопясь направился по тропинке к опушке, что подходила к самому дачному участку, а Данилов решил заняться обедом. Позже должен приехать сюда и еще один человек — Егор Недоля, его, Данилова, земляк. Хотя он и жил в соседней деревне, а родом и вообще откуда-то из-под города Сумы. В детстве Егор приходил довольно часто к его деду Якову и бабке Пелагее, а когда появился у тех впервые, протянул им бумажку от какого-то еврея из города, и старики хвалили того еврея, прямо светились от счастья, и, чувствовалось, были очень даже горды от того, что тот их помнит и дорожит прошлым общением — ну конечно же! — Мордух Смолкин. А поскольку Дорогунск близко от Гуты, то Недоля нередко приезжал к старикам Тарасовым на велосипеде, согнувшись в три погибели, как говорила бабка Пелагея, украдкой поглядывая, как он нажимает на педали, и помогал тем обязательно по хозяйству. Парень он был работящий, жилистый, и в особенности дед не мог нахвалиться им: «Если б же все такие были! А то есть цуцыки!..»

Заходил Недоля к старикам Тарасовым и когда выбился, как считали в деревне, в люди: стал, гляньте вы, городским человеком, а вдобавок ко всему — и милиционером. Шишка, если подумать!..

Уже вернувшись из Ашхабада, Данилов совсем случайно встретил Недолю на городской улице.

— Вы?

— Я!..

И они, где и встретились, посреди улицы, слегка обнялись, как давние и хорошо знакомые люди. С того дня и видятся довольно часто.

Что до театра, почему именно начал писать пьесы, так на этот вопрос Данилов и сам ответить не может. Действительно, почему? Хорошо помнит, сегодня это просто смешно выглядит, как он совсем еще не учеником ли начальной школы написал пьесу на местном материале — о том, как женился в их деревне один дяденька, даже не женился, а выбирал себе жену. На завалинке около Микиты читал деревенским мужчинам свое творение маленький, весь в веснушках, мальчуган, а те давились дымом и ржали пуще прежнего: во дает Сережка, ишь ты, как расписал!.. И ведь правда !..

Однако же, когда принес настоящую, написанную уже взрослым человеком пьесу в театр, такого приема, как на завалинке у Микиты, не встретил. Там его творение, похоже, и читать не стали. Просто режиссер просил зайти то завтра, то в конце недели, то через месяц... Водил, как говорят, за нос. Однако же — случай!.. Отправил Данилов пьесу в министерство культуры, так, от нечего делать, а вскоре оттуда звонят: пьесу прочли, понравилась, поэтому решили направить вас на Всесоюзный семинар драматургов в Пицунду. Немедля. Заболел Дударев, и заменить его решили вами. Ну, так как? А что здесь было думать! Шеф же, Артем Пазько, заупрямился: здесь не театр, а редакция! Данилов, не долго колеблясь, настрочил заявление на увольнение. Рискнул — и не проиграл: пьесу приобрела Москва, заплатили Данилову неплохие деньги и порекомендовали пьесу Могилевскому драматическому театру. Так появился спектакль «Седой аист», который довольно тепло каждый раз принимали зрители. Достаточно сказать, что в репертуаре он держался четыре года.

Вот тогда совсем по-другому посмотрели на Данилова и в своем драмтеатре: вишь ты, соседи поставили, надо и нам шевелиться, а то ведь неудобно получается. И тогда пусть кто скажет, что в своем отечестве пророка нет!..

И вот Иван Певнев вживается где-то поблизости в роль главного героя — также Ивана, который приехал в свою деревушку из города продать хату после того, как умерла мать.

А Данилов колесил по стране, с семинара на семинар, обзаводился знакомствами, однако вскоре распался СССР, и он

оказался, будто желток в скорлупе, наедине с самим собой. Чтобы что-то вылупилось из той скорлупы, нужна была курица, а где ее можно было взять, драматург не знал. Начали действовать совсем другие законы в обществе, а театр также не на другой планете где-то, и на определенное время о пьесах пришлось забыть. Хотя и писались они больше в стол.

Вскоре приехал Недоля, разделся и начал помогать Данилову готовить обед. Почти сразу же появился и Певнев, он все еще был в восхищении от живописной природы и жалел, что сидел в городе безвылазно, а надо было б чаще выбираться за город.

— Все, решено: считаю свои копейки и также приобретаю дачу! — сообщил Певнев, поудобнее устраиваясь все на том же крылечке, чтобы перекурить, а когда хотел что-то сказать, то поворачивал голову к распахнутой двери, где в комнатке готовили блюда на свой мужской вкус Данилов и Недоля.

Недоля одобрил намерение Певнева:

— Правильно сделаете, если купите.

— Да что ты!.. — Певнев был, конечно же, доволен, что его желание приобрести дачу нашло поддержку у такого уважаемого человека, как бывший участковый Недоля. — Надо ли говорить!.. Чтобы еще и эту смолу как бросить, то и совсем неплохо было бы!..

Он с нескрываемой ненавистью посмотрел на сигарету, покрутил ее перед глазами, намереваясь швырнуть подальше от себя, однако передумал и опять, поколебавшись, сделал затяжку.

— Расскажите что-нибудь, Иван Петрович, — попросил Недоля, ловко, словно работал когда-то поваром, шинкуя лук на разделочной доске. — А помните, как мы с вами впервые познакомились?

Певнев задумался, а потом мотнул головой:

— Нет. Ей-богу!..

— Я же вас за бандита принял. И хотел отвести в участок, чтобы протокол составить.

— А-а! — Певнев захохотал. — Да, да: за бандита. А я, между прочим, когда молодым был, также не отличался поведением. Это потом поумнел. С годами. Театр, кстати, дисциплинировал, а как же. Коль учишь уму-разуму других, то и сам берись за ум, дружок! Иначе толку не будет. А за что это ты меня тогда хотел зацапать, подскажи-ка, дорогой мой?

Недоля припомнил. Оказалось, не понравилось лицо Певнева ему, а в Доме коммуны тогда были повальные кражи. Певнев же выходил с набитой сумкой — выступал где-то один перед рабочими с собственной программой, халтурил, как говорят, и переодевался. И

вот он тогда не спеша выкладывал реквизит перед участковым на стол. Недоля о театре мало что слышал, и Певнев ему потом за тем же столом много о чем рассказал и на прощание пригласил на спектакль. «Спроси Певнева, и тебя пропустят». Недоля так и поступил. И тогда же сделал для себя большое открытие: театр, братцы, это такая вещь, где, побывав впервые, жалеешь потом, почему не появлялся тут раньше.

Недоля, наверное, также припомнил то давнее время, когда он, еще совсем молоденький старшина милиции, и такой же зеленый артист Певнев сидели за тем столом, перед ними лежал реквизит, который Певнев не спешил заталкивать обратно в свою сумку, теребил реквизит пальцами и рассказывал, как бы вскользь, не придавая особого значения, много чего интересного о театре.

—У-у, братцы, там, где теперь главная почта, когда-то наша коммуналка была, актерская; это потом квартиры начали строить и нас обеспечили, а тогда и в театре прямо жили, семьями. Дали спектакль, и никуда не надо идти: ты дома. Драматург, ты слушай тоже, тебе полезно.

Певнев время от времени поворачивал голову в сторону готовивших обед, убеждался, что его слушают, и продолжал дальше:

— А какие гастроли были! Какие гастроли! Даже Крым! Представляете? Нет, вы не представляете, это надо пропустить через себя — как роль, да-да, друзья мои. И вот теперь все это уходит от нас, как вода в песок. Мать их так, Ельциных-Горбачевых-Кравчуков-Шушкевичей! Тьфу!.. Я ошибаюсь? Я не прав? Чего молчите там, на камбузе? Что немец не разворошил, так свои постарались!..

Выглянул на крыльцо Недоля, вытирая полотенцем руки:

— Это надо еще немного пожить, видно, чтобы ответить на ваш вопрос, Петрович.

— Пожалуй, и так, — довольно легко согласился Певнев. — Но только я одно знаю: больше Ленина играть не буду. На сцену приходят другие герои. Как и в жизни. А жизнь — это, кроме всего прочего, большая сцена, ой какая же она большая!.. И вот те новые герои все равно как сидели до поры до времени за заслонкой в печи, стоило поднять ту заслонку, они и посыпались!.. И откуда их взялось столько? Уму непостижимо — как много!..

— Давайте перекусим, — предложил Данилов, и Певнев молча поднялся и зашел в комнату, где уже был накрыт стол.

За обедом больше молчали, однако Певнев подсказал, и это запомнилось не только Данилову, но и Недоле, чтобы наш новоиспеченный драматург написал пьесу о том, как его задерживал

когда-то сверхбдительный милиционер... А посидев еще немного, он, Певнев, подсказал и название: «Дом коммуны».

— Бахни такую пьесу, Данилов, бахни! — народный артист входил уже в роль другого героя, не Ивана, для чего встал, принял серьезный вид. — Дай мне это, я тебя умоляю, дай! Что мы все о Париже, о Лондоне и дореволюционной Руси, когда надо о нас самих, о том надо, где живем и что делаем!.. Отчего мы боимся самих себя? Почему? Что за болезнь такая? Думаешь, я не знаю, как завидуют тебе, Сергей, некоторые наши ... ну, скажем, люди, которые не хотят, чтобы в городе появился известный человек, свой Вампилов! Почему он, а не мы? А-а, я-то все понимаю, дорогой мой!.. Ведь ты пишешь для двух категорий людей: для одних — чтобы порадовать их своим творчеством, талантом, так сказать, а для других — чтобы позлить их. Ну, поставят твою одну пьесу, она уже, можно сказать, есть, а вторую — вот! — и Певнев показал Данилову кукиш. — Второй не дождешься. Да ты же видишь, как они, актеры, относятся к репетициям. Это кто, Данилов, наш? Раз наш, тогда понятно... Вот если бы Шекспир или Островский! Даже Дударев!..

Почти все, о чем говорил Певнев, войдя в азарт, было правдой, и Данилов, слушая его, откровенно соглашался, молча кивая головой. Трудно сказать, как приходят на сцену пьесы, но иногда ставят такую серость, что рехнуться можно. Ни уму, как говорят, ни сердцу. Пожалуй, один человек, став на капитанский мостик, может повести весь коллектив по ложному, неверному пути. Чаще всего судьба драматурга зависит от личных симпатий и антипатий, к сожалению...

Да, так и было. И еще он подумал тогда, Данилов: почему-то могут быть в своем городе талантливые — прямо некуда! — артисты, вчерашние, как правило, школьники, даже без образования; умные режиссеры, а вот драматурги обязательно должны быть в Москве, Питере или, на худой конец, в Минске.

А надо было переехать ему в свое время в Москву или в Минск, как советовал тогда Михаил Ворфоломеев. «Почему я в Иркутске не остался? А вспомни судьбу Вампилова!..»

После обеда Певнев опять ударился в роль Ивана, ходил недалеко от дачи с текстом, жестикулировал на ходу и, остановившись, громко проговаривал текст, на что Недоля, сидя на крыльце, на облюбованном Певневым месте, заметил:

— Он сделает твоего Ивана. Будет всем Иванам Иван. Увидишь.

Данилов и сам знал, что с исполнителем главной роли ему повезло как никогда, здесь и спорить нечего.

Дожить бы до премьеры.

Дожили, слава Богу. Дождались. Данилов ревностно поглядывал, как зал заполняют зрители, как они занимают места, и замечал, что волнуется все больше и больше. Не шуточки, премьера же! И хотя не первая в его жизни, однако, как сказал Певнев, творческому человеку всегда свойственно волноваться — первый раз ты выходишь на сцену или все сорок лет подряд, как вот он, например. А когда человек не волнуется, то он или мертв, или что-то другое с ним, нормальному человеку непонятное. В зрительном зале, в шестом ряду, сидели его мать и отец, приехала сестра Татьяна из Лиды, жена, сыновья, друзья. Среди них был Недоля с Сымоном. И Данилов нет-нет да и поглядывал в их сторону, бывало, что и встречались взглядами, чаще с мамой: известно же, мама, этим все сказано, волнуется за сына, как и тот за себя. А возможно, еще и больше.

Рядом с мамой сидит, чуть прижавшись к ней, бывшая учительница Данилова, Галина Степановна, и она сожалеет, что приехала в такой обувке, в которой стыдно выйти на сцену, чтобы поздравить своего ученика с премьерой. «Надо было с собой туфли взять. И как я не подумала?»

Спектакль начался, и сноп света сразу выхватил Ивана, то есть актера Певнева, который с чемоданом в руках стоял перед своим домом, топтался на одном месте, не зная, что ему делать, и Данилова пронзило насквозь какое-то незнакомое ему раньше чувство, кровь ударила в виски от осознания того, что он сделал. И одновременно чувство большой ответственности. Это ж надо было ему придумать все это, «заставить» актеров делать на сцене то, что он велел, подчиняться его ремаркам, выговаривать те слова, которые он написал... И чем дольше он смотрел спектакль, тем больше убеждался, что чего-то все же добился в жизни. Собрать столько людей — ну, это, согласитесь, многого стоит. Действие на сцене вызывало любопытство, зрители живо реагировали на каждую удачную реплику, на любое движение и жест, а кое-где были даже аплодисменты. Кто-то еще в середине спектакля шепнул на ухо Данилову: «Поздравляю!»

Однако потом произошло неожиданное. На сцену выскочил старик Сымон, подбежал к Певневу, схватил того за грудки и начал трясти:

— Кулацкая морда, а! Куда прешь? Что, не видишь, поганая твоя душа? Безики повылазили? Шевелитесь, а то будет, как тогда-а!.. Выходи из хаты, выходи!.. Она наша!.. Она моя!...

Первым сообразил, что произошло, Недоля, он выбежал почти следом за Сымоном на сцену, скомкал того в охапку и вывел-вынес со сцены в вестибюль. Зрители, за редким исключением, все поняли,

тем более что Сымона многие знали, только с чего бы он вот так вдруг на сцену выбежал, что там в спектакле могло напомнить ему, горемыке, про то ужасное время, когда раскулачивали его отца?

До конца спектакля об этом думал и сам Данилов.

Раздел 28. Шкатулка

Павловский все чаще и чаще начал поглядывать в ту сторону, откуда должен был появиться Эмиль Маликович. Задерживается что-то. Прошло десять минут, двадцать, полчаса, а его нет. Он уже собрался идти отсюда, с условленного для встречи места, когда во дворе показалась женщина маленького роста, худощавая, которая сразу же, заметив его, как-то решительно остановилась, некоторое время внимательно разглядывала Павловского, а затем смелее, более широким шагом начала приближаться к нему. Павловский смекнул: что-то неладное, видимо... Когда женщина оказалась рядом с ним, пронзительно посмотрела на него заплаканными глазами, то волнение еще больше начало выдавать ее, а губы предательски задрожали, и она сквозь слезы прошептала:

— Эмиля забрали...

— Куда? Кто?..

— Арестовали. Пришли в офис и арестовали. Я и предчувствовала, что когда-нибудь это случится.

— Вы, как я понимаю, жена?..

— Да, жена. Мария.

— Слушаю. Говорите, говорите, Мария!..

— Ой! — Она как-то не по-женски сдвинула брови на переносице, вздохнула, затем, посмотрев по сторонам, словно хотела убедиться, нет ли поблизости кого из нежелательных людей, продолжила:

— За что, спросите, его? Если б же знать!.. Сказали, собирайся, надели сразу наручники, всех выгнали из офиса, опечатали сейф, двери, естественно. Там, сказали, разберутся. И вы бы только видели, как повели его — будто какого-то убийцу, как самого настоящего рецидивиста. Боже мой!.. Какой он рецидивист!.. Он же, Эмиль, для людей старался!.. У него же долгов!.. Магазинчик этот открыл!... Зачем? Зачем, Эмиль?.. Кто долги будет отдавать, если вдруг тебя посадят? Ты ведь уже однажды наступил на грабли!.. Так нет же!.. А адвокаты сколько стоят теперь!.. Не хочется жить!.. Не хочется!.. Простите... — Мария промокнула носовым платком слезы на глазах и чуть тише сказала: — Эмиль человек обязательный, и когда его уже вели по коридору, а я бежала рядом, словно боялась, что вижу его

последний раз, попросил, чтобы я пришла к Дому коммуны вместо него. Я посвящена в ваши дела. Давайте будем искать шкатулку. Прямо сейчас.

О шкатулке Павловский раньше ничего не слышал.

— Мордух Смолкин приходился родным дядей Эмилю, или Эмиль ему племянником. Это все равно. Вы слушаете?

— Да, да!

— А Хиня, его приемный сын, значит, был двоюродным братом моему мужу. Хиня не вернулся с войны, а Мордух — из Уфы: он там заболел и умер. А умирая, очень просил, чтобы показали Хине, когда тот вернется с фронта, то место в его квартире, где он замуровал шкатулку. Хиня не вернулся, как известно. Эмиль узнал о шкатулке от какого-то Филимона Яроцкого и, когда стал уже взрослым человеком, решил отыскать, чего бы это ни стоило, ту шкатулку, однако его выгнали самым наглым образом из квартиры новые жильцы: не дадим, сказали, стены ковырять, не дадим портить. Боюсь я, что теперь шкатулки может там и не быть совсем. Могли же те новые жильцы подумать, что в ней, в той шкатулке, какие-то ценности, хотя там, по словам того Яроцкого, всего-навсего документы. Но важные. Важные они, по-видимому, были для Хини. Для других — просто бумага. Давайте будем искать вместе ту квартиру, в которой до эвакуации жил Смолкин?

— Охотно. А знаете, ваш муж мог и не сказать тем людям, которые жили вместо Смолкина, что где-то в стене их квартиры спрятана шкатулка. Если логично размышлять. Сперва он должен был, на мое соображение, осведомиться, что это за люди, разрешат ли вообще ему долбить стену, а только тогда конкретно подходить к главному. Ему отказали. Но в чем? Возможно, даже зайти в квартиру. До шкатулки, возможно, было еще далеко… и Эмиль просто не стал больше говорить им о цели своего визита, развернулся и ушел. И приостановил поиск. До лучших времен. Это лучшее время появилось сегодня, и жаль, что все вот так получилось…

Мария кивнула:

— Как получилась уже, так и получилась. На чем это мы остановились?

Они поднялись на второй этаж, передвигались осторожно, переступая через битый кирпич и боясь, что можно в любую минуту оказаться на первом этаже, вполне загреметь — там дальше пол и вовсе повыдран. Если судить по словам Эмиля, то квартира Смолкина была сразу же по правую сторону, как только поднимешься на второй этаж через средний, он же и центральный, подъезд.

Значит, где-то здесь. Павловский только теперь понял, что без инструмента здесь ничего не отыщешь, и, извинившись перед Марией, исчез. Вернулся быстро, с зубилом и молотком, прихватил и небольшой ломик.

— Я догадываюсь, где замурована шкатулка, — показал он на пятно в стене где-то посредине между полом и потолком. — Бросается в глаза то место. Видно, что было замазано... Если только шкатулка там, то она там будет недолго...

Шкатулка, действительно, вскоре была в руках у Павловского. Он посмотрел на Марию, она также улыбалась, хотя радоваться ей было тяжело после всего, что пережила сегодня за день.

А теперь им предстояло пережить еще несколько человеческих драм, пускай и чужих людей, которых они никогда не видели и даже совсем не знали. Но жизнь тех людей не могла оставить безразличными Павловского и Марию, поскольку те люди являлись частичкой их города, земли, на которой живут они сегодня.

Павловский, разгадывая тайну шкатулки, был, казалось, на седьмом небе. Когда-то он написал в своем дневнике про убийство режиссера Корольчука на сцене и закончил ту запись, если не изменяет память, следующими словами: «Вот бы отыскать!» Разве мог он тогда надеяться, что все это сбудется, как в каком-то волшебном сне, и что прояснится ситуация с тем убийством уже в самое ближайшее время. Вот оно, не доведенное до конца «Судебное дело об убийстве гражданина Корольчука Виктора Миновича...» С разрешения Марии Павловский забрал все бумаги, что были в шкатулке, с собой, а саму шкатулку отдал ей, ведь, когда вернется Эмиль, для него она станет самим настоящим сюрпризом. Порадуется.

Так в дневнике Павловского появилась третья запись. Вот она: «...Корольчука Виктора Миновича, 1916 г. р., застрелил, как утверждает он на допросе, неумышленно гражданин Клюев Сергей Титович, 1917 г. р., проживающий в Доме коммуны, револьвер дал ему сам погибший перед спектаклем, еще и сказал, улыбнувшись: «Нажимай смело на курок, не бойся, здесь холостой патрон». Все это выпросил режиссер у директора завода Трощеева Виктора Демидовича, 1889 г.р., который подтвердил, что к нему действительно обратился Корольчук с просьбой дать револьвер для художественной самодеятельности и холостой патрон к нему. Тот и дал, а где Корольчук взял настоящий патрон, этого директор и сам не знает, хотя они у него есть в наличии. Позже ему еще давал два холостых патрона — на каждое очередное представление, как просил Корольчук. Трощеев присутствовал на спектакле, ему понравилось.

Молодцы. Режиссера Корольчука знал как ответственного человека, преданного идеалам построения светлого общества и никогда б не подумал, что тот из-за неудачной любви может, образно говоря, наложить на себя руки. Ничего плохого не мог сказать директор и про Клюева: человек как человек, дисциплинированный и хороший работник. И то, что его арестовали, Трощеев считает ошибочным действием, ведь есть же записка, которую оставил убитый… Так отчего же тогда держат за решеткой Клюева?

В последнее время родственники Клюева донимают родителей убитого Корольчука, обвиняя во всем их сына, а в том, что их сын под следствием и арестован, видят несправедливость и угрожают в случае чего даже сами разобраться с Корольчуками, это значит отомстить им.

Родственники же Корольчука, в свою очередь, требуют суда над убийцей Клюевым…

Полный бедлам!.. Ага, вот и фамилия девушки, из-за которой решил уйти из жизни Корольчук — это Демешко Нина Митрофановна, 1917 г. р., работает в Доме коммуны музработником».

Фамилия последней Александру Павловскому ни о чем не говорила, как, кстати, и первые две. Однако же теперь он точно знал, что судебное дело велось, неизвестно только, было закончено оно когда-нибудь или нет. Скорее всего, нет: война перепутала все карты, погиб и молодой следователь Хиня. И даже теперь, по истечении длительного времени, следопыту Павловскому тяжело было поверить, что человек пожертвовал своей собственной жизнью, самым ценным, что у него имелось, только лишь из-за несчастливой любви…

Жаль, однако Павловский не мог больше ничего узнать об этих людях, которые тем или иным образом были причастны к убийству на сцене. Но если бы это ему удалось, тогда он обязательно бы пометил в своем дневнике, что Клюев Сергей Титович — это как раз и был тот Титыч, который показывал участковому Недоле, где во дворе надо присыпать ямы, и который носился по коридору в Доме коммуны и гремел жестянками из-под консервов, что были привязаны у него на спине.

Демешко Нина Митрофановна умерла совсем недавно в хосписе. Она была в форпосте музыкальным работником, играла в основном на пианино, которое являлось ее личной собственностью. Когда началась война и Дом коммуны заняли немцы, она решила перевезти пианино домой, чтобы, вероятно, продать инструмент или обменять на продукты. Но забрать не получилось: не позволили немцы, а узнав, что она играет на этом музыкальном инструменте, и

вовсе никуда ее не отпустили. Она, собственно говоря, сперва никуда и не собиралась — надо было как-то ей и матери выживать, а немцы платили все ж какие-то деньги за игру на пианино. Но позже ее кавалер Митя, который был в подполье, разузнал, где его невеста, и спрятал ее вместе с матерью. А потом Нина Демешко работала в концертной бригаде, выступала перед бойцами в составе фронтовой агитбригады в короткие минуты затишья между боями.

Пианино же немцы разломали и выбросили на свалку — в отместку за ее исчезновение...

А шкатулку Эмиль Маликович так и не подержал в руках — он скончался, едва покинув следственный изолятор: сердце.

Раздел 29. Люди и памятники

Мастерская скульптора Глеба Поповича находилась на первом этаже жилого дома, как раз на углу Катунина и Крестьянской, и угол того дома был срезан, как все равно отхвачена острым ножом горбушка от буханки хлеба — наискосок, поэтому окна мастерской удачно выходили на две улицы сразу. Одно большое окно напоминало витрину в магазине, а изнутри мастерской — лобовое стекло в легковой машине — все видать далеко, широко и четко. Правда, сам скульптор окнами почти никогда не пользовался, ведь все что только можно было в этих довольно просторных двух комнатах заставлено скульптурами — от пола до потолка. Тесновато, надо ли говорить, а Попович не сидел сложа руки, лепил их и лепил, здесь он был не промах, поэтому «квартирантов» прибавлялось и прибавлялось, они не поддавались уже, можно сказать, учету; которые полегче, те ловко сидели даже на головах более громоздких и тяжелых, а на тех и еще что-то или кто-то, и он сам начинал побаиваться, что скульптуры, изваянные им, вскоре выживут его самого на улицу.

На эту мастерскую давно зарилась администрация вагоноремонтного завода, она считала эти две комнаты собственностью, поэтому Попович неоднократно получал письменные уведомления, чтобы подыскивал себе место под новую мастерскую, ведь не сегодня завтра завод заберет ее и откроет там лавку. В тех уведомлениях подчеркивалось также, что лавка здесь была и раньше, но когда стало нечем торговать, ее закрыли, так что ему, скульптору, еще и посчастливилось, что имел возможность здесь творить. И будь добр — готовься все вернуть на круги своя. Одним словом, думай, Попович, это твои личные проблемы. А он не думал и не искал, конечно же, новое место, ведь и некогда было, и не верил, если откровенно, что

его, известного скульптора, вышвырнут когда-нибудь на улицу. Пусть попробуют. Шума будет на всю Беларусь. Для чего газеты, радио, телевидение! Его Чайковский вон стоит в городе около музыкальной школы. Дзержинский недалеко, Феликс Эдмундович. Авиаконструктор Сухой на проспекте Ленина. Герой Великой Отечественной войны Головачев. В Старых Журавичах — народный писатель Андрей Макаёнок. Личности. Если бы жили они, разве посмел бы кто намекнуть ему выбираться из мастерской! Скорее, предложили бы расшириться. А так требуют освободить помещение, совсем перестали считаться с творческой интеллигенцией, с ее, можно сказать, передовым отрядом!.. А то, что в мастерской негде ногу поставить, и знать не хотят!.. Если бы все это можно было сбыть, то он, скульптор, не шерстил бы своей обувью по асфальту, а давно бы ездил на собственном «мерседесе» и, конечно же, купил бы за собственные деньги мастерскую.

Жил раньше Глеб Попович и горя не знал — заказов от государства было много, только успевай крутиться. Одного Ленина он слепил, может, полсотни. Спасибо, Ильич, что кормил и поил. А когда перестали поступать госзаказы, Попович не на шутку растерялся. Что делать, как жить? Хоть зубы на полку. Да и правду говорят: одна беда не ходит, — сразу начали выдворять из мастерской. Будто сговорились. Газета, правда, вступилась, но это был обычный сеанс наркоза — вскоре он потерял свое действие, и опять начало болеть там, где и болело: выселяйся, и все тут!..

Иной раз к Поповичу заходил поэт Ерема, здоровяк-мужчина, кровь с молоком, и ублажал хозяина мастерской разными историями из жизни известных людей. И рассказывал их Ерема с таким талантом, с таким блеском, с каким, пожалуй, Глеб Попович лепил свои скульптуры. А когда поэт выпивал и не закусывал, то начинал, как правило, плакать; знавшие его к этому давно привыкли, давали ему выплакаться, и тогда разговор возвращался в прежнее русло. Ерема сам из России, из-под Рязани, и когда плакал, то почему-то всегда просил прощения у своего знаменитого поэта-земляка: «Ты прости меня, Есенин, что я твой земляк!..» Это была первая строка в его стихотворении, и он читал его обязательно до конца.

Как-то Ерема спросил у Поповича:

— Почему, мне интересно, не вижу здесь скульптуры своего земляка? Чтобы был Серега!..

И он искал, по чему бы грохнуть кулаком, однако свободной площадки не нашлось; и на столах, и на табуретах что-то лежало,

тогда Ерема замахнулся на голову неизвестной ему скульптуры, но вдруг задержал руку в воздухе, властно посмотрел на хозяина:

— Кто?!

— Не узнал?

— Нет.

— Я!

— Ты? Иди ты!.. Да не может быть, чтобы ты!.. — Ерема малость растерялся, отступил на шаг назад, присмотрелся, с изумлением произнес: — Блин, и правда!.. Прости, друг, а то хотел тебе врезать. Убрал бы хоть на столе, что ли? Некуда и кулак приземлить. Послушай, а кому можно было бы заехать в харю, а? — Он смотрел на скульптора, тот вытирал тряпкой руки.

— Никому. Побьешь. Они же не из бронзы — из глины да гипса. По причине нашей бедности. Чтобы отлить скульптуру из бронзы, знаешь, сколько денег надо?

Глеб Попович назвал сумму, и Ерема выругался. От такого количества денег у него даже, показалось, расширились зрачки. Но руки все равно зудели, и чтобы не натворить чего, он засунул их глубоко в карманы.

— Заехать, значит, никому нельзя? — Ерема опять поднял глаза на скульптора. — Насколько я понимаю, и по политическим мотивам также — не только потому, что из глины и гипса. Ну, а побалакать с ними, с твоими героями, хоть можно? Что, думаешь, я не найду о чем? О, да у меня к ним и вопросов много, и советов!.. Пусть только на ус мотают. Так можно, а?..

— Поговори. А я пока в магазин выскочу.

— Без тебя у меня не получится. И вообще, я один боюсь здесь быть. Страшно. Все же глянь, какие люди!.. Страшно!.. Лениных одних три, глянь!.. Сталин. Он один, Сталин. А это кто, Троцкий?

— Еще б его я лепил, выдумаешь тоже!.. Это обыкновенный дядька... ты его не знаешь, председатель колхоза. Из Глушца. Заказали, а теперь не берут — сам председатель на кладбище лежит, а новый, Минеров, вроде бы как брать отказывается. Вот продадим зерно, тогда и возьмем. Вот реализуем картошку, тогда и возьмем!.. Вот сдадим скот на мясо!..

Ерема насторожился:

— А кто заказывал?

— За Плотникова ты не волнуйся, его купят. Возьмут. Хотели сперва возле конторы поставить бюст, а теперь решили сразу на кладбище. Люди сами соберут деньги. А то как же!..

Слушая Глеба Поповича, поэт Ерема загорелся идеей, которой сразу же хотел поделиться с тем, однако передумал: не спеши!.. Когда Ерема жил в Рязани, то квартировал у одного музыканта духового оркестра, и тот каждое утро начинал с того, что звонил в морг и записывал адреса тех, кто отдал Богу душу. Когда покойников не было, то музыкант морщился, якобы по неосторожности разжевывал горькую таблетку, неудовлетворенный, и ворчливо сообщал ему или жене:

— День, однако, пропал!..

И вот, припомнив того музыканта и посмотрев еще раз на бюст усатого председателя колхоза, Ерема решил посоветовать Поповичу также лепить умерших, конечно же, если родственники-друзья-коллеги будут раскошеливаться на кругленькие суммы. А почему бы и нет? Просмотрите, если вам это так важно, послужной список скульптора, однако!.. Заинтриговало? Так кому же дадите, почтенные, заказ — какому-нибудь ремесленнику или признанному в городе творцу, на счету которого классики мировой литературы и музыканты с такими именами, назвав которые, сразу оживишь волшебные звуки, да такие красивые и вдохновляющие, что захочется и самому пуститься в пляс. Ну, каково?..

Хотя и мечтал Ерема в связи с этим тоже что-то поиметь от скульптора, однако у него была настолько мягкая душа, что он подолгу таить секретов не мог, они тут же всплывали на поверхность.

Ерема опять начал искать то местечко, на какое мог бы со вкусом опустить свой кулак. Не найдя, он припечатал его к своей ладони и заявил:

— Собрался в магазин, так иди. Как раз и надо. Я тебе хочу почти бесплатно продать одну денежную идею. Иди, иди. Она того стоит. Так сказать, рацпредложение!..

Глеб Попович не любил давать что-то вперед, ведь случались самые разные казусы, поэтому сначала пожелал услышать, что там ему решил пожертвовать Ерема, а тогда уже, коль то самое рацпредложение и действительно тянет на магарыч, можно и угостить человека. Спросил:

— Говори, что там у тебя.

— Сперва — магазин.

— То, что тебе надо, у меня есть. Не волнуйся. Мне жена поручила на ужин кое-что купить, отлучусь пока, а ты посиди.

Однако скульптор знал, что Ерема все равно ему признается. Вот-вот его прорвет. И прорвет прежде чем он перешагнет порог, направляясь в ближайший магазин, только надо сделать вид, что тебе

якобы все равно, прикинуться безразличным, и все будет в ажуре: не один день дружат, он хорошо знает поэта.

— А ты, вот спросить у тебя хочу, не думал, чтобы бюсты делать богатых покойников... или богатым заказчикам для увековечивания покойников? Так, похоже, точнее будет. А?

Он, чудак, надеялся, что Глеб Попович аж засветится от счастья, услышав такое, однако тот, к его глубокому разочарованию, махнул рукой, и даже не сразу ответил, а лишь только смерив его пожирающим взглядом, еще и издевательски выдал вдобавок:

— Э-ге, это я спросить у тебя должен: и долго ты, голова твоя садовая, над этим думал? — И наконец, даже не глянув больше на Ерему, вышел. Вроде как даже еще и обиделся, что ждал от него достойного предложения, а здесь услышал то, что давно проходили, как говорят, в школе.

По дороге же в магазин скульптор рассуждал: «Теперь эти памятники, чудак, научились лепить, как горшки. И никого не интересуют твои звания и заслуги. Всех интересуют деньги. Одни хотят больше содрать, другие — меньше отстегнуть».

И вся наука, дилетант!

Пока хозяин мастерской был где-то в магазине, Ерема разговорился с Дзержинским. И совсем не потому, что захотелось именно с ним поболтать, нет: просто бюст стоял поближе. Ерема протер его тряпкой, повернул лицом к себе и задал вопрос, по его понятиям, законный:

— Ты вот тут стоишь в комнате, в тишине и уюте, на тебя не капает и не льет, на твою голову не садятся птицы, в особенности ненасытные голуби. А того тебя, что в Москве на Лубянской площади, отвезли куда-то на грузовиках, и тот московский Феликс Эдмундович сразу расселся на нескольких, как видел я сам, машинах... С ветерком его! Вас по одному так и посбрасывают, и перемолотят. И развезут по всему белу свету!.. А ты же не заступишься за московского Дзержинского, а московский не встанет горой за гомельского... Одним словом, ерунда получается!.. Что за люди, что за народ! То одно им мешает жить, то другое!.. А что танцору мешает, знаешь? Конечно, знаешь. Так и им, людям. Прицепились к памятникам. Людей нет, а им, видите ли вы, памятники не дают спокойно жить. Не обеспечивают хлебом и одеждой, транспортом и всяким там... ну, этим... как его... Одним словом, памятники виноваты, что мы ленивые!.. А вы спросите у того, кто их ваял, что они скажут? Дадут ли согласие уничтожать? Это же — искусство, не просто столб, это же должно охраняться государством!.. А государ-

ство спит в шапку!.. Хотя, что скульптор? Если он изваял, как Попович, полсотни Лениных, то с топором перед каждым памятником не станешь, чтобы защитить свое творение. А завтра ему надо будет защищать, того и глядишь, еще и Чайковского. Потому как говорят — был голубой... — Ерема чуток помолчал, перевел дыхание, а затем протер лысину бюста Свердлова. — И ты хорош тоже. Подвел Глеба Поповича, еще как подвел!.. Да вас таких, бездельников, здесь, вижу, собралось уго-о сколько!.. Много!... Ну и компания!.. Когда и попрут, когда и погонят моего дружка закадычного из этой мастерской и дадут, как слыхал я, новую, не худшую, вас же надо перевозить, голубчики, целую неделю!.. И все, гляжу, как и раньше, бесплатно намылились прокатиться на новые квартиры? Не выйдет, господа!.. Ваше время вышло!.. Где же Попович средств наберется? Он же должен вас продать, чтобы самому жить!.. Вы — бюсты!.. Вас можно и вас нужно продавать, чтобы жить!.. Однако ж, не вам мне говорить, господа, многие живые продают живых, чтобы жить!.. Подлецы они и стервы!..

Ерема заплакал, и опять извинился перед Сергеем Есениным.

...Назавтра утром во дворе Дома коммуны строители первыми увидели три бюста, которые сиротливо стояли на земле, лицами они были повернуты на левое крыло, где велись восстановительные работы. Ленина рабочие сразу узнали, а двух других — нет, так и не дались они тем, хоть и старались поднапрячь память и вспомнить, на кого были похожи бюсты.

Они б никогда и не догадались, никогда!

Два оставшиеся бюста были одного и того же человека — Глеба Поповича. Первый был сделан самим скульптором, а второй... поэтом Еремой. Он только учился еще работать с глиной, поэтому его Попович больше был похож на какого-то мужика неизвестной национальности, ужасно худого, с неправильными, уродливыми чертами лица. Ерема все же подбил Глеба Поповича ваять бюсты покойников, поэтому проходил в мастерской ускоренный курс науки, занимался скульптурой с небывалым желанием и вдохновением. Учитель был удовлетворен: из него будет лепило.

Бюсты те во дворе Дома коммуны стояли весьма долго. А потом появились рядом еще и еще, и складывалось впечатление, что это собирается в кучу какое-то войско, и вот-вот оно получит команду идти в наступление... Никто не видел, чтобы кто их сюда, бюсты те, приносил или привозил — словно вырастали сами из земли. Однако вскоре бюсты начали все же создавать определенные трудности

строителям, и те пустили их в расход — раздробили и размешали со щебенкой, а потом залили цементным раствором.

Были бюсты — и нет. Когда ночью, возвращаясь из мастерской, Попович и Ерема попутно принесли еще по одному бюсту в мешках, то они, безусловно же, также заметили, что тех, ранее принесенных, нет на прежнем месте.

— Ушли куда-то, — печально улыбнулся скульптор Глеб Попович и пожалел, что из-за тесноты днями раньше вынес на свалку и свой бюст...

Но вот же что интересно: ни Попович, ни Ерема не могли объяснить даже самим себе, зачем занесли они те бюсты именно во двор Дома коммуны?

Инстинкт, что ли?..

Раздел 30. Остановка

Стол смастерили что надо. Приткнули несколько деревянных коробок одна к другой, положили на них лист фанеры — не беда, что тот испачкан донельзя — живого места нет — разноцветной краской и немного отгрызен кем-то один угол. Есть бумага из гастронома, фирменная, в какую завертывают колбасу, когда кладут ту на весы. Есть газеты. Газет — на любой вкус. Киоскеры иногда выделяют им как старым знакомым. «Из Дома коммуны? Тогда — нате!» Поверх фанеры стелется газета, и можно выкладывать на нее все, что добыли всеми правдами и неправдами они за день, и начинать ужин. Сегодня ужин особенный — праздничный: день Октябрьской революции. «Октябрьская». Не так, как раньше — широко и шикарно — отмечают они, эти люди, праздник: судьба закинула их в своды-сплетения Дома коммуны, словно вымыла жизненное море всю эту разношерстную команду на дикий, холодный и голодный песчаный берег, на отмель, где приходится теперь вот каким-то способом выживать, хвататься за жизнь, словно тонущему за соломинку.

Застольем управляет Володька. Сегодня у него настроение никудышное, но он не теряет надежды побыстрее поправить его, привести в норму. Тем более, что для этого на столе все имеется. Откуда быть ему, настроению, когда опять кто-то — ну не сволочной народ, а! — прибрал к рукам тачку. Если бы первый раз было с ним такое, тогда, возможно, начальник и смилостивился бы, а поскольку это уже третья тачка, которая пропала по вине Володьки, так тот ему не простил и справедливо указал на дверь. Терпение лопнуло и у железного армянина Вартана. До этого он работал у вьетнамцев, но тогда

потерял упаковку с женскими трусиками. «Может, ты их, тачки, пропиваешь, а, Володька? Не могу верить тебе. Извини». Двери — это весь базар, что вширь, что поперек: куда хочешь, туда и шагай. И он, понурив голову, вернулся домой — в Дом коммуны, где на первом этаже и у него есть уголок. Чтоб не видел Хоменок, что он теперь сюда заходит, стыдно, — Володька залезает в окно со двора. Все окна пока без стекол, только те, что смотрят на улицу Красноармейскую, принимают надлежащий вид: не весь дом пока ремонтируется, а его левое крыло. Но ремонтируется под евро: оконные рамы и двери поставили давно, а теперь там суетятся, топают и стучат рабочие. Но они не запрещают им отдыхать, а сегодня, в праздничный день, и совсем тихо: выходной, наверное, и у строителей.

С того времени, как Володька оказался на улице и облюбовал себе временно здесь жилище — а все временное, как известно, иной раз тянется весьма долго, — прошел уже почти год, он вырос в глазах этого люда и хотя является здесь не самым главным человеком, однако авторитетом пользуется: следует только Володьке попросить внимания, для чего надо лишь поднять руку, сразу делается тихо, как в прежние времена на уроке в школе. Уважают. Володька любит рассказывать разные байки, соседи его слушают, разинув рты: еще бы, человек работал на радио, его голос слышали в каждой квартире, а теперь — гляньте только! — звучит, как по заявке, тот голос перед ними. Кому так еще повезет! Свой Левитан. Тем более что Володька когда-то брал интервью у многих известных людей, а однажды удивил всех, сказав: «Что, думаете, я не найду денег? Да мне сам мэр одолжит, Васька Бубнов! Я с ним, между прочим, если знать хотите, в партшколе учился. А?» Принес тогда червонец, угостил всех, кто не болтался на вокзале и «пятачке» и был еще трезв. А когда увидел, что хорошее дело сотворил для людей, Володька едва не пустил слезу, однако собрался с духом, тряхнул в воздухе кулаком:

— Еврей заварки не жалеет!

Что это означало, он, наверное, и сам не знал, но ему захлопали в ладоши: для нас хоть сам негр пускай не жалеет той заварки, лишь бы она была. Спасибо тебе, Володька.

Поскольку он в свое время закончил университет и партийную школу, то и первое слово — ему.

— Товарищи! Все, смотрю, налили? Все. Наши прадеды опрокинули в свое время мир, свершили в России революцию. Ленину надо сказать спасибо, что заботился о простом человеке, о нас, можно сказать. Он мечтал, чтобы жили мы хорошо и зажиточно, свободно и крепко. И жили б! Так его, беднягу, самого обляпали всего

с ног до головы... мало, что птицы, падлы, так еще и люди... У нас хоть памятник сберегли и площадь есть его имени. И может быть, потому, что жил Ленин...

— Он и теперь живет, — перебил Генка, к бороде которого приклеилась еще спозаранку использованная спичка и теперь трепетала от дыхания, когда он шамкал беззубым ртом. — Пусть кто тронет Ильича, то голову свернем. Говори, Володька, дальше. На тебя государство деньги тратило — отрабатывай. Не сачкуй.

Володька подождал, пока выговорится Генка, с ним он знаком давно — было дело, даже брал у него интервью, когда тот приехал на комсомольскую стройку из Чувашии и строил «Сельмаш», ему дали, кажется, всесоюзную премию Ленинского комсомола, гремел человек, а тогда продолжил:

— Согласны с Генкой? Согласны. Хвалю, что понимаете нашу политику. Жить в Доме коммуны и не понимать ее — непростительно, братцы. Позор. Если бы не этот дом, где б мы приютились? Однако в последнее время на нас делают наглый наезд местные капиталисты, разные проходимцы, прощелыги, которые нахватались народных денежек и теперь вьют себе гнезда вот здесь, где мы собрались за праздничным столом, а нас оттирают, оттирают постепенно, и может получиться так, что и совсем нас выживут. Представляете? И я предлагаю не за них выпить... Вот им! —Володька ткнул в ту сторону, где делается евроремонт, кукиш, это сделали и все остальные. — Благодарю за поддержку и понимание. Предлагаю выпить за революцию! Подняли, что у кого есть. С праздником!

Молча выпили, потом закусывали. Развязались языки, и Володька обратил внимание, что женщина, которая до этого всячески прятала от него свое лицо, поднялась с кирпичей, на которых сидела, и пошла с Генкой, держа того за руку. Инженер Петрович догадался, что это заинтересовало Володьку, шепнул тому на ухо:

— Они с Генкой спелись, он ее бережет, никого не подпускает. «Моя!» Раньше они напротив жили, в подвале ДК железнодорожников. Оттуда попросили.

Что говорил он дальше, Володька не слышал. Не доходили до него те слова, отлетали, словно горох от стенки. «Наташка? Неужели — она?» Сразу вспомнилась командировка в Друцк, гостиница, райкомовские апартаменты, где они провели не одну ночь... Поэтому, понятно теперь, и прячет лицо. Конечно же, она узнала его сразу, когда и появилась здесь, в Доме коммуны. И Володька не выдержал, подчиняясь какой-то пружине, которая толкнула его, бросился трусцой следом за ней и Генкой, споткнулся, поднялся, и бежал,

бежал, бежал... А куда? Куда надо бежать? В какую сторону? Наверх или, наоборот, в подвал?.. Здесь много таких комнат, где они могут найти для себя пристанище для короткой любовной страсти. Однако какая-то все же интуиция у него была, и он вскоре оказался там, где и надо. В проеме двери остановился, и то, что увидел, заставило его отвести глаза, сжать кулаки и замолотить ими по шершавой кирпичной стене, не обращая внимания на боль... Володька плюнул и вернулся к праздничному столу. Когда он подходил, все молча повернулись к нему.

— Есть у нас еще что выпить? — спросил Володька и сел на свои кирпичи.

Ему ответили: если бы! Но Володьке, откровенно говоря, не хотелось больше ни есть, ни пить. Прилег. И когда смотрел на ночной город, то увидел в своем большом дырявом окне окно Хоменка. Оно светилось жизнью, и Володька, наверное, впервые пожалел, что нет такого окна у самого.

Рядом примостился, перед этим долго копошился, будто зашивался в теплоту и уют, афганец Ефрейтор. Как звать его по имени, Володька не знал. Похоже, был ефрейтором в армии. Больше удивляло его, что признался. Это если б имел звание — другое дело, можно и похвастаться. А тут — ефрейтор, и нате вам!..

— Спишь? — спросил, устроившись, наконец, Ефрейтор.

— Думаю.

— Думай не думай, а ночи теперь холодные: надо искать местечко потеплее.

И вскоре тот захрапел. Этого еще не хватало. Володька швырнул в него камушком: подействовало. Хотя понимал, что ненадолго. Но все же... В этой жизни, оказывается, все когда-нибудь начинается и заканчивается. Как и сама, кстати, жизнь. Эх, если б опять ее начать! Володька думал об этом, и твердо верил, что жил бы не так, хотя и не до конца знал — как. Но не так. Это точно. Купил, называется, легковую машину. Мечтать не вредно, никому не запрещено. Хоменок тогда не зря усмехнулся, посчитал, конечно же, его чудиком. Хоменок — мудрый, хороший человек. К своему окну почти не подходит. Нет, видимо, сил. Выбился. Если бы не сын, то заглянул бы, но тот же, идиот уссурийский, когда бывает на взводе, пускает в ход кулаки, то можно опять нарваться на синяк под глазом. Поносил уже раз, хватит. Зверь, а не человек. Пожил в тайге, тогда конечно... Уссурийский тигр, не иначе. Правду же говорят: с кем поведешься, от того и наберешься. Ну его, однако!..

Опять бросил камушком в Ефрейтора, тот что-то проворчал во сне и замолчал.

Володька жалеет Ефрейтора. Мог бы греть бока где-то в Лос-Анджелесе, но не оторвался от своей земли, сильное у нее притяжение, оказывается. Если верить ему, то Ефрейтор будто бы детдомовец, когда служил в Афганистане, то ему не донесли одно письмо от любимой девушки Тани, и он обиделся, не написал больше ей. Переписка прервалась, как рвется паутина на ветру. А вернувшись, узнал, что девушка уже выскочила замуж: отомстила, получается, ему. Он бросил город, уехал в деревню, работал там на ферме, и вдруг письмо от бывшей любимой — просит приехать в Боровляны, попрощаться: умирает. То была встреча со слезами на глазах, и вспоминать про нее не хочется. Приехал, а Танька лежит на кровати... одна тень от нее осталась. Рядом с ней сидит на стульчике красивая девочка. Это, говорит, твоя дочь... А я же от тебя забеременела, дескать, а когда ты не ответил, вышла замуж за нелюбимого человека, долго с ним не пожила... все время думала о тебе.... Присмотри нашу дочь... Ефрейтор будто бы обнял тогда дочь, а сам заплакал... С ней и стал жить в городе, в общежитии, а потом она вышла замуж за американца, старше, правда, тот ее намного, но зато непьющий и не курит без фильтра. Хозяйственник. Свое дело имеет в бизнесе. Повезло дочери, и вот она решила забрать отца к себе. «Подметал бы там где-нибудь, — говорил, хлюпая носом, Ефрейтор. — Хоть там, говорит дочь, и так чисто. Без меня». Он долго рассказывал о том, что дочь его до конца не знала, хоть выпивал и при ней, но держался из последних сил, а как только остался один, совсем сошел с рельсов. Если бы она знала, что он таким стал, то не передала б ему доллары на билет, а передала бы сразу билет. А она, мало того, что на билет, так еще и на костюм новый, на шляпу, на туфли и сорочку подкинула долларов. Через людей. Да и у тех разве же глаз не было, когда передавали доллары? Сунули ему в руки — и делай что хочешь. По-американски поступили. А он все это и ухайдакал. До цента. Стоило только раз угостить друзей, показать купюры. И — приехали, гудбай, Америка! Еще, чудак, и комнату в общежитии сдал, желающих занять ее нашлось много, а когда Ефрейтор вернулся и хотел опять вселиться, то ему показали от ворот поворот. Не помогло, что и в Афгане был. А чтобы сходить куда следовало бы, попробовать добиться правды, так на это нет времени. Да и совестно: одежда вся сплошь из баков с мусором, хотя, приведи ее в порядок, то можно было и шиковать — по его меркам если брать. Гуманитарку, которую повесил сушиться на проволоке в соседней

комнате, кто-то своровал. Ефрейтор смирился со всем, что случилось, и только, наверное, во сне теперь видит тот Лос-Анджелес.

Володька поклялся написать обо всей оказии с отцом дочери, но они не могут раздобыть пока адрес: тот конверт, на коем был адрес, ефрейтор потерял где-то вместе со всеми документами при невыясненных обстоятельствах.

Частенько, хмельные, они мечтали о том счастливом дне, когда вместе поедут в Америку. Ефрейтор бил тогда себя в грудь:

— Ты не знаешь мою дочь! Она не прогонит! Никогда! А зять, Джордж, еще лучше! Едем, Володька, и концы в воду! Ну его к чертям, этот Дом коммуны! Пусть в нем кто хочет живет! А мы знаем места и получше!.. Так ты едешь, Владимир?

— Еще и спрашиваешь! — бодрился Володька. — Еврей заварки не жалеет! Когда?

— А это мы подумаем.

Ну, а проспавшись, даже не вспоминали ни Лос-Анджелес, ни дочь, ни хорошего зятя Джорджа. Надвигались другие заботы, и они, словно какие-то жуки, расползались из Дома коммуны в разные стороны — кто куда, чтобы найти где-то кусок хлеба и обязательно разжиться на выпивку, ведь, когда ничего не выпьешь, считай, пропал день. До Володьки здесь каждый выживал сам, как мог. А он вдохновил их на коллективный труд, припомнив, где они живут, и потому всё, что раздобудут, волокут теперь сюда. Здесь сортируют бутылки, картон, бумагу, мануфактуру, и наиболее надежные и проверенные относят все это на приемные пункты. Для подстраховки иногда выходят следом за ними Володька и Ефрейтор. Деньги могут отнять жильцы из других подвалов, а этого допустить нельзя. Раз уступишь, второй — и тогда умрешь с голоду, не выживешь. Когда Володька работал на базаре, то он что-то ухитрялся принести оттуда. Но тачки не пропивал, нет, это Вартан напраслину на него возводит. «Чтобы я да подвел своего хозяина?» Нет, Володька не мог загнать тачку, это факт. И когда он оправдывался перед всеми, ему верили. Здесь, в доме, все помнят, как он притянул откуда-то два мешка гуманитарки — задействовал, конечно же, свои старые связи. Всех одел с ног до головы. Хоть на подиум. Забраковал только два френча, которые успели уже натянуть на себя Ефрейтор и Генка — уж больно похожи были они в них на немецких солдат из военной кинохроники. Нет, заявил строго, это там недоглядели, а они нам и подсунули, я должен исправить положение... и приказал закинуть френчи, куда те сами хотят. Будто бы отдали своим старым знакомым в ДК железнодорожников.

Ну вот, началось: Ефрейтор опять свистит носом, а камушка больше под рукой нет. Надо поискать. Нащупал, бросил. Опять тихо. Из головы не выходила Наташка, и хоть Володька старался не думать о ней, не получалось: ведь хорошо было тогда ему с ней, а все хорошее иной раз живет долго и вспоминается часто. Где она теперь? Вишь ты, и она вспомнила его, ведь сперва отворачивалась, прятала лицо. Неужели, неужели это та женщина?! Даже не верится. И Генка хорош! А еще совсем недавно лежал бревно бревном, с ложки, можно сказать, кормили и поили.

Генка — тот редкий экземпляр человека, который владеет таким нахальством, что иной раз диву даешься: откуда берутся такие? Ну вот вам свежий пример — взял Наташку за руку и повел, а она и не упрямится. Другому бы лицо поцарапала, не иначе, или оплеуху дала, а Генка только мельком глянул на нее — и все, она твоя. Не отказала, не упрямилась.

А привезли же его — вы б только посмотрели, на кого он, Генка тот, был похож! Весь забинтован, затянут в гипс, словно космонавт в скафандр. Ни пальцем, ни ногой пошевелить не может. Одна поза у него была — лежать, а его же надо и до ветру сводить, и накормить. Труп. Известно ж, дожил, что стал никому не нужен. А с ним приключилась такая история, Володька хорошо знает. Когда Генку вытурила жена, он познакомился около пивной с дядей Жорой, тот жил один в частном домике, поэтому пустил его под свою кровлю: вдвоем, сказал, нам веселее будет. Пили день и ночь. Как-то пошли за очередными бутылками спиртного, переходили улицу в неположенном месте, их и сбила легковая автомашина. Жору — раз и навсегда, а Генка выкарабкался, долго лечился в травматологическом отделении, он бы там лежал еще и еще, но, сказали, пора и меру знать. Поинтересовались, куда его отвезти надо, ведь с таким гипсом сам не пойдешь из больницы, а у него и адреса нет на языке, чтобы назвать, куда отвезти. К бывшей жене? Об этом и разговора не может быть, она и здорового его на порог не пускала. Есть, правда, у него сестра, живет она также, как и тот Жорик, последний его собутыльник, в частном секторе. Только одна надежда на сестру. Записали адрес. Что касается последнего прибежища, то сын дядьки Жоры пришел в палату, забрал ключ и пригрозил с ним разобраться, поскольку считал, будто отец погиб по его вине. Повезли, значит, к сестре. А она и дверь не открыла. Что делать? Куда девать отшельника? Доставили опять в отделение, но положили уже не на прежнее место, а в коридоре. А позже все же убрали его и оттуда. Оно и правда, ведь больница не дом для инвалидов и престарелых,

здесь лечить людей надо, а такие вот, как Генка, только место занимают. Решились — и вывезли его, наконец, туда, куда сам пожелал. На железнодорожный вокзал. Там и оставили. А уже оттуда его привели под руки в подвал Дома культуры железнодорожников, а позже — сюда, в Дом коммуны, принесли и костыль, кто-то ему, бедолаге, пожертвовал. Второй раздобыли чуть позже. Так и прыгал он. А гипс снимали сами, без доктора. Не так-то просто было сорвать тот гипс. И ножовкой шаркали, и зубилом долбили, и большими ножницами подбирались под тот гипс...

Генка, кое-как освободившись от гипса, сразу не мог и шагу сделать, попробовал — и грохнулся. «Не слышу ноги, братва. Словно в невесомости она. Все тело слышу, а ноги — нет. У меня же бедро было раздроблено. Вот здесь. Штырь металлический оставили. На память. У кого магнит есть? Если не верите, то могу приложить».

Магнит ему в тот день не дали, ведь не было у них такого, откуда быть ему, магниту, а стол накрыли по случаю снятия гипса в лучших традициях подвала. Хороший стол. Богатый. А потом Генка забыл про все хорошее, что ему сделали, задирался со всеми, кто послабее, даже однажды побил Соньку, которая не то что-то ему брякнула. А это ж она, Сонька, кормила и поила всю артель почти два дня. Только такие вот, как Генка, быстро забывают доброту. Она же один день всего поработала кондуктором в троллейбусном парке и с выручкой не в контору, а сюда — шмыг. В коммуну. Каково, а? Сонька ходила с разбитым лицом, особенно досталось губам и глазу, и люди, встретившись с ней на вокзале, старались держаться подальше от такого чуда в перьях — неприятно видеть девушку, которая скатилась до такого, не то что стоять рядом. А к ней еще и подойди попробуй. Однажды и Володьке скрутила комбинацию из трех пальцев, ткнула в лицо. Сам виноват, переборщил, вообразил себя героем и ущипнул Соньку. Получай, коли такой невоспитанный! На! Володька не обиделся, он не Генка. Из-за этого Генки, как не вспомнить, чуть на улице на днях не оказались. Это ж он подбил компанию, чтобы те стырили в левом крыле, где недавно начался евроремонт, мех цемента, продав который, можно было разжиться на деньги. Ну, и попались. Не били их строители, но пришел бригадир и строго предупредил:

— Если еще хоть раз повторится такое, то, не мешкая ни секунды, вытурим всех до одного на улицу! Так и передайте всем. Поняли?

А что тут не понять. Поняли, конечно же: там, где живешь, больше ничего не брать. И тем самым не вредить соседям.

Утром Володька начал искать Наташку, но ее нигде не было. Не встретил он и Генку. Настроение был скверное, хуже и не придумаешь. Куда пойти? Что делать? Сегодня на базаре его не ждут. Побриться бы да не попить хотя с недельку, чтобы лицо приняло более-менее нормальный вид, распрямилось и посветлело, и зайти, смирив гордыню, к ребятам в редакцию или на радио, пускай бы те замолвили словечко, чтобы направили его куда-нибудь в районную газету. Там вакансий хватает. Он бы поехал. Хоть в сам Чернобыль. Хоть на край света. Лишь бы работать. Лишь бы жить, как живут, в конце концов, люди.

А пока он, Володька, стоит на остановке, от которой не отходят ни автобусы, ни поезда.

Это — конечная остановка. Чтобы выбраться отсюда, надо надеяться в первую очередь на себя. И особенно философию не разводить. Некогда. А что их, бездомных, побитых жизнью людей, совсем скоро вытеснят на улицу, неважно, украдешь ты еще тот мех цемента или нет, это факт: та, левая сторона, наступает, словно вал, на середину, и они, бомжи, отступают, прижимаются, теснятся к правой... Хотя все они понимают — это не просто вал, это наступает на них новая жизнь, обретает вторую молодость и Дом коммуны... И весь город хорошеет, преображается... И люди становятся более нарядными, с добрыми улыбками на лицах... Они рожают детей, строят жилье, шьют одежду на «Коминтерне», делают комбайны на «Сельмаше», станки на заводе имени Кирова, сладости на знаменитой фабрике «Спартак»...

Но вот однажды в Доме коммуны появился мэр города. Василий Леонидович искал Володьку и был рад, что это ему наконец-то удалось сделать. А когда он увидел рядом с ним еще десятка два людей, таких же замызганных, как и его бывший однокурсник, то, к чести Бубнова, он не растерялся и сначала распорядился, чтобы срочно подогнали сюда автобус, а только тогда протянул руку Володьке: ну, здравствуй, разгильдяй!..

Раздел 31. И опять окно...

К нему, окну, сейчас уже почти не подходит Степан Данилович Хоменок. Хочется, тянет к окну, но ему теперь радости мало — что на стену смотреть, что в оконное стекло: ослеп. Катаракта. Да, правду говоря, и нагляделся. Хватает впечатлений. Из последнего, что едва смог прочитать, так это растяжку на Доме коммуны, из которой

узнал, что страна готовится к первым президентским выборам... Это известие заинтриговало.

Недавно вот Володька заходил, говорил, будто первые новоселы появились в Доме коммуны, заселяются под музыку. И рассказал старику, что он уже не живет в Доме коммуны. Приехал как-то мэр, загрузил всех в автобус и прямым ходом в баню. А потом нарядил всех в какую-то спецовку и разместил под городом в деревне — там всем места хватило. Как и работы. В основном на фермах. Прикрепил и нарколога к ним. Девушку. Да такую, что хочешь не хочешь, а ноги сами топают в местный фельдшерский пункт. Вот так-то, Данилыч! «Я ж говорил, что у меня мэр друг, а ты не верил. А?» Что же касается Дома коммуны, то те хитро делают, мудрецы этакие: одну сторону реставрируют понемножку, будто крадучись по минному полю, осторожно, не спеша работают, и сразу — хоп, заселяют, словно боятся, что кто-то опередит, отнимет у них то жилье.

Что за птицы будут те новоселы? Какого полета? Хотелось бы глянуть на них Хоменку, хотелось бы, однако не глянешь, не фарт: отглядел свое, как и отходил на этом свете. Да и что ему теперь до них, тех людей, не соврать если? Свое бы разгрести...

Степан Данилович Хоменок смирился, пожалуй, со всем, что происходит в последнее время с ним и вокруг него. И когда где-то бродит его Петька и не является ночевать, то он и рад, что его нет дома.

И с тем смирился, что больше не вернется в Дом коммуны. Да и кто из прежних жителей вернется теперь туда? Кто их пустит? Да и зачем, с какого форсу, туда-сюда шастать? Назад хода нет. Откоммунарили. Каждому овощу — свое время. Если и встретятся они, бывшие соседи, то известно где...

Всем Домом.

***

...Кто-то нашел на столе Хоменка общую тетрадку, в которой на первой странице неровными крупными буквами было написано: «Норильск». И зачеркнуто. Далее дописано:

«Если есть на небе Бог, то на земле — наш Город.

Боже, спаси и сохрани его!..»

Почерк был Степана Даниловича.

2004 г.

Повести

ПОСТ

1

Когда здесь появился этот пост — точно никто не знает. Одни говорят, что после чернобыльской аварии, другие утверждают, что позже, когда был разрушен СССР. Вблизи границы с Россией: чтобы присматривать за передвижением людей из одной страны в другую. Движение, правда, здесь незначительное, так как весь транспорт, конечно же, идет по главной магистрали, которая в пятнадцати километрах отсюда. Но есть будка, на посту дежурят несколько милиционеров, рядом стоит легковой автомобиль, и когда появляется редкая автомашина, из будки выходит — как на этот раз — сержант Филончук, словно не зная, куда приткнуть жезл, играет им, будто он для него не совсем обязательная и нужная вещь, и только когда автомашина подъезжает поближе, тогда он на удивление энергично, привычно и умело пускает жезл в ход: стоп, умник, куда собрался! Автомашина останавливается, ционер подходит к окошку, из которого высовывается лохматая голова водителя Сиротюка, — тот, немного зардевшись от волнения, старается улыбаться, обнажая редкие зубы.

— Документы! — протягивает руку к окошку милиционер, а сам отвернулся, даже не смотрит на водителя, и зря тот старался — показывал ему редкие зубы, — а больше, наверное, нечего было. — Куда едешь?

— Так в путевом написано же...

— Прошу не такать, я с тобой детей не крестил.

— Извините.

— Если узнаю, что проедешь в Россию, пеняй на себя. А пока придется оштрафовать.

— За что?

— Разве не за что? Машина есть — найдем.

— Только из ремонта...

— А ты, вижу, разговорчивый. Вылазь из кабины. Быстрее, быстрее! — Милиционер внезапно передумал, не полез на сиденье, чтобы проверить тормоза, как и намеревался сначала, а только приказал: — Налей бензина. — И, не дожидаясь ответа, крикнул в сторону будки: — Костя, неси канистру!

Костя, заспанный и не менее лохматый, чем этот водитель, вышел из будки и не торопясь, широко зевая, направился к ним.

— Нет у меня бензина, — боясь, что это может плохо для него кончиться, прошептал водитель. — Только доехать! Там обещали налить…

— Мать твою, а! И поспать не дадут! — Костя выругался, плюнул и подал канистру напарнику: — На. Да сначала узнавай, есть топливо или нет, а тогда тревожь.

— Цел будешь — не сдохнешь, — взял канистру милиционер, посмотрел на водителя. — Возвращаться по этой дороге будешь?

— Не знаю, — неопределенно повел плечами водитель.

— Будешь! На обратном пути нальешь. И бери там побольше. Ясно?

— Где уж не ясно, — тихо проворчал водитель. — Так что, мне ехать?

— Ну, раз все понял правильно… Держи документы.

Уже когда грузовик тронулся с места, милиционер, будто спохватившись, махнул жезлом, чтобы тот остановился, перебросил через борт канистру: «Пусть только не вернет мне ее. Полную». А сам зашел в будку, вскоре вернулся с вывеской, на которой было написано: «Опасная зона. Грибы и ягоды собирать запрещено!» Прикрепил к колу, со всего размаха воткнул кол в землю и рявкнул Косте, которого не было видно из будки:

— На кой хрен писать было? А если кто припрется за грибами? Что тогда, пень?

Костя показался в двери и, подтянув брюки, посмотрел в сторону леса, перед которым стоял, немного наклонившись, все тот же кол с предупреждающей вывеской. И спросил у самого себя:

— Почему их долго нет? Засранцы!..

2

Евгений Павлович Отрохов собирался за грибами. Была уже вторая половина дня — не самое лучшее время для сбора грибов. Здесь, возможно, сказалась профессиональная привычка: этот человек всю жизнь работал учителем, последние десять лет был директором школы, а собирать грибы не всегда выпадало… С утра — школа, забот хватало. Однако все же не мог жить Отрохов, чтобы не взять корзинку и не сходить в лес. Хоть два-три раза в неделю. Особенно в золотое время осени — бабье лето. Как вот и теперь. Грибы зазывали. И хоть жена, добрейшая и мудрая Ольга Петровна, также учительница-пенсионерка, пугала его высокой радиацией и предупреждала, что в лес его никто не пустит, так как слышала, там выставили милицейский пост, он не послушался: «Кто это меня не

пустит в мой лес?» Набросив на плечи легкий дождевик, Отрохов взял свою грибную корзинку, почему-то только сегодня заметил, что она прохудилась, надо сплести новую, и медленно зашагал в направлении к Плоскому — если и есть грибы, то только там. На удивление грибное место.

«А вон — и правда! — будка какая-то стоит, похожая на вагончик. Рядом топчется милиционер. Жена знала, что говорила. Но зачем он здесь? Разве у милиции посерьезнее дел нет? Место же здесь тихое, глухомань. Гаишники? Так какое тут движение? Около десяти машин за день, может, и пройдет. Колхозные стоят — нет топлива и запчастей. Частники тоже не богатые — топливо многим из них, опять же, не по карману. Странный пост. А может, они, милиционеры, в роли таможенников и пограничников? Рядом же — Россия... Попробуй пойми».

Отрохов решил обойти этот пост, хотя ему и не терпелось сначала ближе подойти к будке, спросить у милиционеров, зачем они здесь, но он трезво подумал, что они все равно правду ему не скажут, и махнул рукой: пойду мимо, наискосок, иначе, неровен час, и в самом деле начнут цепляться и не пустят в лес. Да не тут-то было — милиционер, который топтался возле будки, заметил его, громко крикнул: «Сюда!» И немного тише: «Куда прешь, козел?» Но Отрохов услышал и последние слова, повернул голову на крик, пальцем ткнул себе в грудь, спросил на всякий

случай, хотя и так было все ясно: «Я?» Милиционер не промедлил с ответом: «А кто еще здесь есть? М... мудак?»

Пришлось свернуть к будке.

— Ну и куда, дед, топаешь? — встретил его, набычившись, сержант Филончук.

— За грибами.

— Куда, куда? — наклонил голову вперед сержант.

— А вы что, плохо слышите? — глянул на коренастого сержанта Отрохов и вдруг насторожился: — Филончук? Вы, простите, Филончук?

Насторожился и милиционер:

— Допустим. Но это к делу не относится. Поворачивай, дед, назад. Слышал?

Нет, как раз этого он и не слышал. Перед глазами, как вот и теперь, стоял этот самый Филончук в его кабинете, шмыгал носом и то и дело вытирал нос рукавом рубашки.

— Скажи мне, Миколка, зачем ты залез в стоматологический кабинет

и забрал там все игрушки? — спросил тогда у него Отрохов. — Собрался, видимо, зубным врачом стать?

— Не-ет...

— Так с какой целью ты пошел в горпоселок, что в десяти километрах, разбил стекло, залез в кабинет, забрал все инструменты, которыми врач лечит людям зубы?

— Не знаю... Полез...

Больше разговаривать с ним не было смысла. Пообещал, правда, Отрохов, если подобное повторится, лично надрать ему уши, да и отпустил. Не в пятом ли классе тогда учился этот самый Миколка Филончук? Родители его потом купили в горпоселке дом, переехали, а дети шутили: это чтобы Кольке ближе было к зубному кабинету.

И вот этот самый Филончук не пускает его, бывшего директора школы, в лес. Отрохов кашлянул. Филончук сделал вид, что не слышит. Что ж, ничего не поделаешь: такой, значит, он человек — не признает земляка и директора. Это бывает... Отрохов и раньше замечал, что бывает — особенно тогда, когда бывший двоечник или просто пакостник очутится там, где не требуется большого ума, а достаточно лишь палки в руках или погон на плечах... В таких случаях Отрохов хотел сказать им, чтобы услышали, но не хватало смелости, и он довольствовался внутренним гневом: «Дураки! Всё же это пройдет... Всё это временно... Да и зачем же так нос задирать высоко, будто ты взял Бога за бороду. А что касается головы, то она на плечах останется. Она — не погон: тот или сорвут, или заставят это сделать... Голову пожалеют, конечно же, и дураку она нужна, голова. Вместо нее кочан капусты не воткнешь. Но ведь сколько форсу у человека, сколько высокомерия! Гляньте хотя бы на этого Миколку, на этого «стоматолога»!

— Так мне что, идти в лес? — спросил Отрохов.

— Не положено, я же сказал! — сержант Филончук сплюнул, почему-то достал пистолет из обшарпанной кобуры, повертел его и так, и этак перед лицом, заглянул в глазок ствола, фукнул туда: — Не положено! Я, кажется, понятно выражаюсь? А? Ну и почему же молчите?

Прежде чем что-то сказать этому Филончуку, Отрохов снова вспомнил его малым недотепой, когда тот вызвался присматривать летом за кроликами.

Одно время модно было в школах держать этих ушастых красавчиков. Получалось неплохо: дети были заняты делом, не болтались без занятия все лето, могли заработать и для себя какую-то копейку, и для школы. Травы ведь хватает. Все шло хорошо, а позже,

перед новым учебным годом, на школьной ферме забили тревогу: стали исчезать кролики. Сначала один, потом второй, третий... Кто позарился? Дверь же на ночь закрыта. Ключ от замка только у учителя Шульги. Оконное стекло, которое под самой крышей, целое. А поз-же сами дети поймали за руку злоумышленника. Это был все тот же Миколка, еще, правда, не «стоматолог». Каким образом он их воровал? Рядом с сарайчиком построили туалет — глубокий, из оструганных досок, — к новому учебному году. Вот он и использовал его — незаметно, пока кормили кроликов одноклассники, ухитрялся засунуть одного из них в корзину, вынести, опустить в яму, а вечером, когда совсем темнело, через туалетное очко вытаскивал кролика и нес домой. И так три раза. Пока не выследили.

И вот теперь он, этот кроликовод-«стоматолог», не пускает его, Отрохова, в лес. Хотя, что он может сделать, если не послушаться, не обращать внимания на его крики-угрозы? Стрелять начнет? Вряд ли. А может быть, и осмелится... Если бы знал, какая у него инструкция. Да и почему это вдруг милиция не пускает в лес? Что ей, в конце концов, больше нечего делать? Вон сколько преступлений... даже в деревне стало небезопасно жить, особенно старикам — врываются в дома подонки в каких-то чулках на рожах, отнимают пенсии. Еще, слава Богу, если только заберут, когда не до крови доходит... А у тех, стариков, и сил нет отбиваться, как и некому заступиться за них. Милиция здесь вот, на этом посту, а в деревне, чтобы защитить человека, старого и немощного, их и днем не видно. Телефонов также нет — как правило, всегда не хватает нескольких метров какого-то там кабеля или двух столбов.

— Я сказал: не пройдешь! — сержант Филончук спрятал обратно в кобуру пистолет и на всякий случай пододвинул его немного ближе к животу. — Мне за вас отвечать не хочется. Я солдат: сказали не пускать в лес, я и не пускаю. Скажут пускать, я и пущу. Я, может быть, погонами дорожу. Они на дороге не валяются. А ты, дед, хочешь сказать, что знаешь меня?

— Я же Отрохов... Евгений Павлович.

— Что-то слышал. Было.

«Может, напомнить ему про зубной кабинет?!» Но Евгений Павлович отогнал эту мысль от себя, справедливо решив, что лучше не напоминать этому человеку, когда он к тому же в погонах, о его проказах, а то еще, неровен час, не так поймет. Примечательное же, что-то значительное про Миколку ничего не всплывало в памяти, как ни старался. Тогда он сказал коротко и понятно:

— Директор школы из Осиновки.

Сержант Филончук не сразу признался, что помнит, что знает... Почему-то он стыдился этого, даже старался не встречаться с Отроховым взглядом и все посматривал на тот кол с вывеской, где было написано, что грибы и ягоды собирать запрещено. Предложил даже закурить, но Отрохов поблагодарил и не взял сигарету из пачки, протянутой в его сторону. Филончук закурил сам. Попыхивал дымом, перхал, как старик, а сказал на удивление спокойно и вежливо:

— Поскольку вы мой бывший директор... теперь я вспомнил, хоть, мать честная, и постарели вы, скажу правду!.. То тем более пропустить вас в лес не могу. Здоровье, дорогой мой, на первом плане, и кто, как не я, ваш бывший ученик, должен заботиться об этом? Никто не ходит в лес, и вам не советую.

— А кому у нас ходить? — посмотрел на Филончука Отрохов. — Один я и остался, кто на ногах более-менее. Есть, правда, двое мужчин моложе меня, но они никогда в тот лес за грибами не ходили и до радиации.

— И живут же! — ухватился за услышанное Филончук.

Бывший директор ответил не сразу:

— Жить можно по-разному. Однако же, сходив в лес, я не умру. Вот уже сколько лет прошло после аварии, а что едим? Что? Разве чистые продукты привозят? Кто? Когда? Покажите мне того человека, я расцелую его. Покажите. Всё с огорода. С пастбища нашего же, которое рядом с лесом. И грибы я каждый год собираю. А если собираю, то и ем. И зачем вы теперь стоите здесь? Где раньше были? Кто этот пост придумал? Так что, Миколка, позволь мне...

Филончук, увидев, что бывший директор намеревается идти в лес, заревел нечеловеческим голосом, аж желваки на шее выступили, а глаза, так же как и щеки, набухли краской:

— Стой!

Отрохов, хотя и был атеистом, все же на всякий случай перекрестился:

— Прости, Господи!.. Что это с человеком?

Неожиданно показал рукой на лес:

— Там кто-то кричит, Филончук! Слышите? Девушка! Зовет на помощь!..

Филончук же даже не глянул в ту сторону, откуда долетали обрывки мольбы о помощи, а сказал, будто он служил не в милиции, а где-нибудь в далеком от нее ведомстве:

— С моей стороны в лес никто не заходил. Я зорко слежу. О других не знаю. А если кто, может быть, и пробрался, что я не заметил, то пускай теперь покричит.

— Так радиация не кусается, не царапается, товарищ Филончук? — дернул сержанта за рукав Отрохов. — Что вы скажете? Вы от меня не отворачивайтесь, не отворачивайтесь!..

Филончук решительно повернулся, выдохнул в лицо бывшему директору:

— А у нас — и кусается, и царапается! Так что шуруй отсюда, дед, пока не поздно! Я тебе понятно говорю? А про школу мы потом побеседуем. Бери свою корзинку и исчезай, а то поздно будет.

3

Едва ли не каждый день на пост приходила бабка Степанида. Почти беззубая, маленькая, всегда грязная, она здоровалась с первым попавшимся на глаза милиционером, ставила на крыльцо ведерко, поправляла платок на взлохмаченной голове. Милиционер посматривал на ведерко, потирал ладони, усмешливо переводил взгляд на старушку:

— Пароль!

Степанида улыбалась — похоже, игра с паролем ей нравилась, — и припоминала, какой же он, тот пароль. Ага, да-да: можно называть.

— Десять яиц, — вспоминала Степанида. Больше не было. Одно сама выпила. По дороге. Очень захотелось пить. А было одиннадцать. Поэтому не так быстро назвала пароль. Пока посчитала.

— Все равно молодчина, тетка, — милиционер взял ведерко, исчез с ним в вагончике, через несколько минут возвратил его, а когда Степанида спросила, когда же они рассчитаются за яйца, которые приносила раньше, милиционер успокоил: — За это, бабка, не волнуйся. Приноси еще. Сразу и рассчитаемся.

— Принесу. Может, хлопцы, у вас какая газета старая есть? — несмело спросила Степанида. — На растопку.

— Найдем, — сказал милиционер и спрятался в вагончике, но вскоре вернулся, поднял руку с газетой над собой. — А за газету, бабка, расчет отдельный.

— Что надо? — не понимала, чего требует милиционер, Степанида.

— Спой пару частушек, а? — раскрыл рот милиционер. — Серега, выходи! — позвал он напарника. — Ой, умора сейчас будет. Только что-нибудь новенькое давай. Без халтуры. Ну, смелее, смелее. Слушаем.

Старуха, видимо, считала за честь, что милиционеры хотят послушать не кого-либо, а именно ее, поэтому забывала про оплату за

яйца, которые выдуривали у нее наглые хозяева этого вагончика, и когда появился напарник, зашамкала беззубым ртом:

Што ж вы, дзеткі, не паёце?
Я стара, і то пяю.
Што ж вы, дзеткі, не даёце?
Я стара, і то даю.

Степанида, часто моргая ресницами, смеялась вместе с милиционерами, сморкалась в подол платья.

— Принимается! — удовлетворенно фыркал милиционер. — Ну, что там у нас дальше? Договаривались на две частушки. Напоминаю: только не повторяться. Теперь газеты дорогие, просто так не отделаешься. Поехали!

— Не держит моя голова уже ничего, молодые начальники, — говорила Степанида. — Думала, думала, что же пропеть еще, — и не могу придумать. Хотя вот. Слушаете?

— Давай, давай.

— Про любовь, — Степанида поправила платок, взяла ведерко в руки, словно подготовилась задать стрекача, если частушка не понравится слушателям. — Про любовь. Слушаете? Начинаю: «І тут баліць, і там баліць... Толькі там не баліць, дзе мой мілы шавяліць».

Хозяева поинтересовались, был ли когда у старухи муж.

— Ушел, — призналась Степанида. — Давно ушел. В белый свет. Детей не было по его вине, я упрекать стала, он не выдержал и ушел. Говорят, где-то в Сибири... А зачем он туда съехал? Когда же и его, Лисовца моего, винить не надо было из-за детей. На тракторе работал и все время бочку с ядохимикатами таскал. Все он да он. И поразился. Не способен стал. А тогда ту бочку никто из трактористов не брал — боялись. Вот не помню, уговорили кого или нет. Видимо, нет.

Тот, которого Сергеем зовут, допытывается, как же она, Степанида, жила без мужа, а старуха только смеется своим беззубым ртом и хитро отвечает:

— Жила...

— А был ли у тебя, бабка, милый? — смеясь, спрашивают милиционеры.

Первый милиционер — для Степаниды они все одинаковы — наконец посмотрел на часы, приказал старухе:

— Иди, тетка, домой. А через два дня приходи. Может, деньги нам выдадут. — И он подмигнул Сергею. — А то начальник приедет, всыплет нам. Начальник у нас стро-о-гий.

Степанида топает в деревню, на самой окраине встречается с Отроховым — тот ходил по старому кладбищу (еще при Петре I,

говорят, там хоронили солдат после боя со шведами, а теперь на тех едва заметных холмиках растут редкие деревья — несколько березок и елей) и искал, по-видимому, грибы. Степанида поздоровалась с ним, ей также интересно стало, что это он делает там, Павлович. Подошла, спросила. Секрета не было, как не было здесь и грибов, которые он искал... Когда Степанида выслушала ответ и собралась уже идти дальше, Отрохов попросил ее задержаться, долго смотрел в глаза — Степанида аж моргать начала, часто-часто, — и сказал чистосердечно и проникновенно:

— Больше яйца на пост не носи, Никаноровна. Лучше сама съешь. А про пост тот я письмо, куда надо, написал...

Степанида испугалась даже, услышав о яйцах, прикинулась чудачкой:

— А кто вам сказал, Павлович, об этом?

— Люди всё, слава Богу, знают. Не слепые. Так что послушайся меня. Не носи больше яйца. Не надо. А то понесешь, а их уже нет... Береги обувь.

4

В вагончике их было двое: сержанты Филончук и Костя. Третий милиционер, любитель пить чужие куриные яйца, фамилия которого была Халиков, потащился в лес, но не грибы собирать...

То ли местные шоферы знали про тропки-дорожки и объезжали этот пост, а таких возможностей у них было немало, или что другое, но с самого утра никакого движения на дороге не было, и постовые скучали. Филончук изредка выходил на дорогу, ждал хоть какую-нибудь автомашину, но прогрохотал только старичок на телеге. Сержант хотел сделать ему замечание, чтобы придерживался правой стороны, но передумал, махнул рукой и вернулся к вагончику. Костя лежал на топчане, дремал.

— Спишь? — спросил Филончук.

Костя не ответил — не хватало, видимо, сил: на него наваливался, вероятно, самый что ни есть сон, и он боялся, пошевелив губами, спугнуть его.

— Спи, — разрешил Филончук, посидел немного на табуретке, полистал книгу стихов, небольшую и тонкую, и предложил Косте, который, наверно, и не слышал его: — Хочешь, я тебе стихи прочитаю? Нет? Не буду, если не хочешь... Не зудит, так зачем чесаться? У меня сосед — поэт. Его раньше по телевизору показывали, а потом перестали: что-то не то, говорят, ляпнул. Прогнали. А он может! В газете работал, и когда один завалил его своими опусами, то мой

сосед не выдержал, швырнул те стихи ему в рожу и выгнал из кабинета: лучше пей водку, только не пиши! Может так сказать сосед мой? Или придумали? А я считаю, что может. Я, правда, с ним не в дружеских отношениях, но иногда здороваемся. Он по-белорусски разговаривает... — Филончук полистал книжку, посмотрел на Костю, который дремал и пыхтел, будто чайник. — Захрапел! Хорошо, похрапи, а я на дороге буду...

Филончук почему-то снова, как перед Отроховым, вытащил из кобуры пистолет, вертел его на указательном пальце, наводил на вагончик, на вывеску, которая запрещала идти в лес грибникам и ягодникам, и ему не терпелось пострелять. Он хотел даже, чтобы кто-то попытался напасть на этот пост, и тогда бы Филончук показал, где раки зимуют...

Однако желающих напасть на пост не находилось, и это обстоятельство начинало раздражать Филончука, так как сильно зудели руки, а как почесать их — он, бедолага, не знал.

5

Водитель Сиротюк приехал в свою деревню Антоновка с фиктивным путевым листом. Хорошо, что на посту сержанту нужен был бензин, поэтому особенно не придирался. И теперь вот в кузове «газона» лежала пустая канистра на двадцать литров, и Сиротюк, кровь из носу, должен был постараться обязательно наполнить ее топливом, иначе... Он даже не хотел представлять, что тогда ему будет, — страшно подумать. Те ребята шутить не любят. Но и не так просто раздобыть в Антоновке бензин: дефицит. На колхозной заправке работает, правда, родственница Катя, но она боится потерять свое место: председатель пригрозил, если хоть одну каплю пустит налево, отвернет голову. Председателя понимаешь — на топливо нет денег, колхозу многие должны за мясо и молоко, но долг возвращать никто и не думает, а здесь заканчивается уборочная, она сожрала все, что только можно было, далеко вперед. Так что на родственницу Сиротюк не рассчитывал. А еще ведь надо было и в свою машину что-то залить — не вода же колеса крутит. И почему, спрашивается, не заехал на заправочную, которая на выезде из города? Это теперь легко упрекать себя, а тогда просто пожалел денег, захотел сэкономить — в деревне, посчитал, можно у местных шоферов купить топливо значительно дешевле, как он зачастую и делал. И на тебе: колхоз впервые остался без топлива, которое в прежние годы лилось рекой. А бензин необходим — для того и приехал на машине, чтобы сделать пару рейсов в лес по дрова, так

как старикам помочь надо, чтобы зимой было им тепло в хате. На машине или без нее, но дрова — его забота, так уже сталось. А здесь не то что вернуться назад в город проблема, в лес не съездишь. Да еще эти наглые милиционеры ждут свою же канистру, и не пустую, конечно. Сиротюк думал-гадал, что это там за постовые такие — гаишники, похоже. А может, какой экологический пост или еще там что. Теперь и не разберешься, но в одном был убежден: школа у них одна, поэтому экзамен надо все же сдавать, не увильнешь. Если б еще хоть эту канистру не подсунули...

У кого ни спрашивал насчет бензина Сиротюк, слышал одно короткое, но жгучее, как со сковороды снятое, слово: нет! Не мог выручить и отец, только пожимал плечами и чесал затылок. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Приехал в Антоновку ближе к вечеру, тоже на служебном «газоне», сосед Валик Семченко, в одном городе живут и работают, и серье-зно «сломался»: полетела ходовая. А бак был полный. Договорились слить бензин, а пока Семченко будет ремонтироваться, что-либо придумают. Сиротюк съездит в лес и поможет ему. Может и так получиться, что придется ехать в город за топливом, однако же пропуском туда должна стать полная канистра. Хотя можно было и объехать. Можно — другим, тому же Семченко, только не Сиротюку, так как попал в сети. Нет чтобы объехать, как другие. Дурак! Тьфу!..

В лес решили ехать на грузовике, сразу пилить и загружать дрова, да там хватает и готового валежника, а потом одна бригада повезет дрова в деревню, а другая будет заготавливать. Поехать в лес вызвались несколько мужчин, которые сидели без дела, поэтому рабочих рук хватало.

И поехали.

6

Можно сказать так про этот пост: он создан для того, чтобы люди видели, что есть милиция, что она работает... чтобы, как говорят, карась не дремал. Да, братцы, да. Даже дед Михей, собираясь в больницу к своей бабке, посмотрел, есть ли затычки в колесах телеги, проверил, все ли спицы. Одной, правда, не было, однако старик махнул рукой: а может, и не обратят внимания на посту, не грузовик же! А когда приближался Михей к вагончику, почувствовал, что волнуется. Вот, черт побери, как человек этот устроен! Ну кто он милиции? Пенсионер, беззубый и худой, как щепка, в чем только душа держится, здесь и жить осталось... А как увидел милиционера возле вагончика, поджилки затряслись. Старик

посочувствовал шоферам: тем и в самом деле не позавидуешь. Это же надо иметь такую силу той милиции, что боишься ее больше смерти. И правда же, скажи, что завтра Богу душу отдашь, только и плечами пожмешь, вздохнешь-выдохнешь: пора так пора. И всего. А здесь — поджилки трясутся!..

Когда дед Михей приблизился к посту, сержант Филончук сделал знак: стоп! Старик послушался, а сам подумал: «Что ему, антихристу, надо?» Милиционер приказал подъехать ближе. Подъехал. Ни слова, ни полслова не сказав, сержант осмотрел телегу, на которой сидел, подложив под мягкое место охапку сена, Михей.

— Твой транспорт нужен, — сказал сержант, взяв у старика вожжи. — Отдохни пока, дед.

Михей заупрямился:

— Э-э-э, куда!? Мне некогда! В больницу еду, к бабке своей. Операцию сделали ей. Витамины везу.

— Бабка подождет, — сержант Филончук сидел уже на месте деда Михея, а тот топтался, ничего не понимая, возле телеги, отряхивая остатки сена со штанов. — Отдохни. Я скоро. Пять минут туда, пять назад... В лес съезжу. В туалет. А то в нашем не повернуться. Не волнуйся, старик. Посиди. Там, в будке, слышишь!

Дед Михей кивнул головой и предупредил милиционера, чтобы не заморил лошадь, так как она для него — сама жизнь, и если что случится, не приведи Господь, старик этого не переживет. Но тот ничего ему не ответил, а стеганул лошадь по разогретой спине хворостиной так, что та даже переломилась:

— Но-о-о!

Костя, когда дед Михей потрогал его за рукав, слегка вздрогнул, но не сразу открыл глаза, а когда глянул на старика, вставать не торопился: приходил в себя, разбирался, где он и что. Наконец, окончательно проснулся. Заморгал глазами, вскочил:

— Выпить хочешь?

— Выпью, — согласился старик. — Тем более, что когда баба в больнице ругаться начнет, скажу: с милиционером пил. Простит. Это с Тимкой или с соседом Язепом если клюкнем, то она на дыбы, бывает, становится. А с вами простит, точно говорю. Еще и похвалит: смотри ты, и милиционер тебя уважил! Не лишь бы кто!

Костя ничего не говорил, только зевал, широко раскрывая рот и демонстрируя белые, как чеснок, зубы, ковырялся в небольшом шкафчике — вскоре на столике появилась начатая бутылка водки, две рюмки, луковица, несколько яиц и сало. Забулькал в рюмки, приказал Михею:

— Опрокинь, дед.

— Опрокину, — старик, не раздумывая долго, выпил водку — она оказалась не из магазина, а была самодельная.

— Пошла? — проглотив самогон, спросил у старика милиционер.

— Как брехня по селу... Фу-у! Хорошая. И сало вкусное.

— На халяву, дед, и уксус сладкий. Еще будешь?

— Доза, доза! — замахал руками на Костю Михей. — И за это спасибо. Сколько и живу, а с милиционерами пью впервые. Не подпускали близко. А в конце жизни, ишь ты, и повезло, ядри твою в корень! Самосадиком моим не побрезгуешь?

— Здесь не чади, — только и сказал Костя, вышел на крылечко, потянулся, прикрыл за Михеем дверь, который протиснулся мимо него, и больше не уважил того ни одним словом.

Молчал и старик, только то и дело посматривал на лес, где недавно исчез сержант на его повозке...

Пока не возвращался.

Пять минут, видимо, давно прошло?

7

В лесу, недалеко от дороги, летом дети соорудили шалаш, где мальчики и девочки — в основном городские, проводившие каникулы у дедушек и бабушек, — коротали свободное время. Когда они проектировали свое строение, а потом сколачивали гвоздями и связывали проволокой и драпировали душистым сеном, не думали, конечно, что строят секс-шоп для взрослых дядей. Получилось же именно так. Сначала шалаш обнаружил все тот же сержант Филончук, когда средь бела дня в его сети угодила красавица Ольга, которая возле самого поста вышла из попутной машины, что как раз проезжала мимо родной Антоновки. Девушка подала хозяину красного «жигуленка» деньги, тот не взял — не жадный оказался, а может, и потому, что к легковушке приближался сержант милиции: растерялся. Хозяину «жигуленка» довелось раскошелиться, а потом только Филончук отпустил его. Перед этим попросил Ольгу задержаться... Та послушалась. Окончилось все тем, что они очутились в лесу, сержант, увидев шалаш, от удивления — приятного, надо понимать, едва не потерял дар речи: лучше и не придумаешь. На газете порезал колбасу, огурец, достал из мешочка бутылку вина. Девушка сначала упрямилась, а потом забыла, видимо, что ехала домой... Затем на смену заступил Костя. Позже снова он, сержант Филончук.

Девушка ушла домой утром, а Костя, проводив ее взглядом, мерзко заметил:

— Проститутка! Бревно! Учиться еще да учиться.

Филончук же, услышав это, пообещал:

— Научим!

— Придется! — захохотал Костя и подсказал Филончуку вбить кол с вывеской, запрещающей собирать в лесу грибы и ягоды, не то, дескать, сам понимаешь, не ребенок, о шалаше многие узнают, да и заглянуть любознательные могут... А этого нельзя допустить. Шалаш наш!

В тот день к шалашу сержант Филончук подъехал на лошади, а Степан Пырх, пожилой мужчина, рассудительный и серьезный, который вызвался помочь отцу Сиротюка в заготовке дров, пришел пешком: опоздал на грузовик. Проходя мимо шалаша, Пырх, увидев лошадь деда Михея, позвал старика, но вместо него из шалаша выглянул сержант Филончук, исподлобья глянул на Пырха:

— Вон отсюда! Ну-у!

Пырх, хотя и не из робкого десятка, но с милицией решил не связываться, ничего не ответил, а молча двинулся дальше по жухлой осенней листве к тому месту, где должен быть грузовик с людьми. Однако его слух всю дорогу резал приглушенный девичий голос, который уловил он краем уха, когда подходил к шалашу, и будто бы еще и следующие слова: «А между прочим, ты меня изнасиловал... Ты!..» Голос тот ему показался знакомым, он где-то слышал его, но чей — не мог догадаться, хоть лопни. Вот если бы лицо девушки увидел... А так оставалось только думать-гадать... На языке висит, а сплюнуть не получается. Тьфу ты!..

Пырх никак не мог успокоиться, и, очутившись на делянке, где гудела бензопила и стучали топоры, он почувствовал, что вспотела спина, дух заняло.

— Фу-у! — выдохнул он, прислонившись к сосне. — Мужики! Мне кажется, что в шалаше происходит что-то не то... Сходить надо. Кто со мной?

Мужчины настороженно смотрели на Пырха, бросали короткие взгляды друг на друга и, казалось, ничего не понимали. Что за чепуху Степан несет? Вроде же и трезвый. А в шалаше?.. Правда, там и раньше, говорят, молодые люди развлекались. Но кто видел? Нет, надо, наконец, сжечь этот шалаш к чертовой матери, да и весь разговор на том.

— Что, смелых нет? — смотрел на мужчин Пырх.

— Сходить, оно можно... — как-то неуверенно сморщился его ровесник Котов. — А дрова? Зачем мы в лес приехали? Шалаши сторожить?

Пырх не сдавался:

— Дрова подождут.

— И все же, как быть? — спросил Котов.

Кто-то предложил перекурить, а желающие, если таковые есть, могут сходить себе и на экскурсию к шалашу. На удивление Пырха, за ним пошли все, кроме отца Сиротюка: он остался возле машины. С машиной ничего не случится за короткое время, а вот сумку с выпивкой и закуской могут и прихватить...

Возле шалаша по-прежнему стояла подвода. Лошадь привязана вожжой к дереву. Никого из милиционеров рядом не было. Ни звука. Но вскоре тишину нарушил гневный голос сержанта Филончука — из шалаша:

— Вон отсюда, я сказал! Ну-у! Стрелять буду!

Люди застыли на месте, стояли, думали, что им делать дальше. Неужели и правда может выстрелить? Это дело нехитрое. Но ведь за стрельбу без всякого повода по головке не погладят. Или могут пропустить мимо ушей и глаз? Но и выстрелить можно по-разному — в воздух, в человека. Неужели... в человека осмелится? Но за что?

Требование из шалаша повторилось:

— Вон отсюда! Трижды не повторяю-ю!

Сиротюк помахал мужчинам рукой, чтобы спрятались, а сам подкрался к шалашу сзади и чиркнул спичкой — пламя сразу же начало лизать острыми язычками сухое сено, полыхнуло вверх, и не успел Сиротюк подбежать к мужчинам, как завизжала в шалаше девушка, а вскоре выскочила оттуда полуголая, держа в руках свои вещи. Девушка испуганно посматривала по сторонам, а когда поняла, что никого поблизости нет, второпях начала одеваться. За ней вылетел из шалаша сержант Филончук, но он был одет, — не суетился и поэтому успел натянуть на себя даже портупею. Сразу же отвязал лошадь, вскочил на телегу и огрел животное вожжой по боку:

— Но-о!

Девушка бросилась вслед, на ходу обувая туфли:

— А я?! Николай! А я?!

Сержант Филончук даже не оглянулся. Пырх с нескрываемой злостью сказал в сторону девушки:

— Дрянь! А я жду ее дома картошку копать... Пускай бежит следом. Пошли дрова грузить.

Пост ликвидировали той же осенью, когда бывший директор школы шел уже с новой корзинкой за последними осенними грибами.

1993 г.

УЧАСТКОВЫЙ И ФОКУСНИК

Валентину Ивановичу Чепелову посвящаю

1

Ну, вот и дождались, кажется, в Хуторе нового учителя. Наконец-то. Это, согласитесь, событие — несколько лет подряд напоминал директор местной школы районному отделу образования, что задыхаются они тут без филолога, и — в конце концов, победил: вчера утром позвонили из райцентра, чтобы встречали Ивана Валентиновича Шепелева. Филолога. Как и просили. Назвали даже приметы: высокий, русый, в очках — так что не перепутаете. Повесив трубку, директор Саксонов улыбнулся: «С кем тут путать? С бабкой Суклетой или с дедом Цыганком?» И, удовлетворенно хлопнув ладонями, крякнул и строго приказал себе: «Встретить как подобает!» Магазин — через дорогу… Он искоса взглянул на входную дверь: открыт. Так, значит, употребляет не употребляет, а бутылка должна стоять на столе. Как аист на болоте — на одной ноге: это наш, белорусский, пейзаж. С дороги и перехватить надобно. Тем более что холостяк — вечно голоден, знакомое дело. Саксонов представил, как встречает он новенького, ведет к себе на квартиру, и они знакомятся — молодой учитель и старый, но, извините, тоже холостяк. Какое совпадение! Однако холостяк он сам, мягко говоря, молодой: только этим летом отправил свою половину в город — где взял, как говорят, туда и вернул. Слишком заметно в деревне всем было, чем она, жена, занималась, хотя и сама учительница… Стыд и позор. Там, в городе, попроще — полно народу, затеряется. Жалко сынишку, но малыш будет под надзором дедушки с бабушкой. Это успокаивало. Саксонов сделал этим летом и второй, не менее смелый и решительный шаг в своей жизни: как только отправил жену с сыном, отдал квартиру — двухкомнатную, со всеми удобствами — математику Крючкову, у которого двое детишек, а сам перешел жить к бабке Суклете. На такое не каждый решится. Тем более директор. И хотя говорят, что дважды в одну реку нельзя войти, он вошел: тут, у Суклеты, был уже на постое, когда приехал в Хутор учительствовать — тоже после института, как вот и какой-то Шепелев в очках. Одна разница, что Шепелев — один. «Счастливый», — улыбнулся сам себе Саксонов и направился магазин.

2

В автобусе, вздрагивающем на выбоинах, рядом с Шепелевым сидел участковый Боровой Евгений Егорович. Он возвращался с

совещания. На его запыленных погонах было по две маленькие звездочки, а красные щеки пылали здоровьем. На коленях участковый держал полиэтиленовый пакет, в котором, — присмотревшись — легко можно было заметить буханку хлеба кирпичиком, круглую банку с нарисованной на боку селедкой, кусок вареной колбасы и зеленый контейнер для яиц. Участковый часто поправлял пакет, подтягивал его поближе к животу, дергал носом и водил круглой, как арбуз, головой по сторонам: любопытствовал, кто едет, с каким настроением, что везет. Шепелев чувствовал, что милиционер хочет завязать с ним разговор, но — чудеса! — не решается. На милиционера такое не похоже. Тогда спросил сам:

— Далеко еще, товарищ лейтенант, до Хутора?

— Да нет, — оживился участковый. — Тут близко. Так вы к нам, значит?

— Да.

— А с какими целями?

— Работать. Учительствовать.

Участковый протянул руку, потряс ладонь Шепелеву:

— Будем знакомы: участковый.

И назвал фамилию, имя свое и по отцу. Тем же ответил и учитель. Разговорились. Поэтому дорога до Хутора показалась не такой длинной и ухабистой. Участковый рассказал о себе, учитель — тоже. Участковый был старше Шепелева. Местный. Хвалился, что люди его уважают, потому что побаиваются. Женат. Имеет двух сыновей. Обещал познакомить с женой, она у него работает в местном клубе заведующей.

— А когда оженишься, позовешь, познакомишь со своей женой и ты меня, — предупредил участковый и икнул: правду говорит, не иначе…

Шепелев промолчал. Однако участковый не обиделся — и так много чего о нем узнал, достаточно. Только что вуз окончил, один сын у родителей, сельских учителей. Когда собрался поступать в пединститут, то мать была против: «Лучше, сынок, учись на тракториста...» Сын тогда никак не мог понять ее — гордилась бы, что собрался продолжать ее дело… Он не послушался, поступил на филологический. И вот сейчас едет в деревушку с интересным и загадочным названием Хутор. Словно догадавшись, что к селу молодой учитель относится настороженно, участковый объяснил:

— Не думай, дружище, что если Хутор — то это хутор и есть на самом деле. Не утаиваю, нет: раньше и в самом деле тут было всего три подворья. Но то раньше — мало кто и помнит. Сегодня же наша

деревня большая и солидная, да и школа у нас средняя. А это о многом говорит. Или не так?

— Видимо, так.

А вон и деревня показалась на взгорке. На солнце ослепительно ярко блестел купол церкви. Участковый, и это хорошо видел учитель, улыбнулся уголками губ:

— Приехали!

А немного помолчав, спросил:

— Ну и куда ты теперь, учитель? Может, ко мне? Закрепим, так сказать, наше знакомство, а? Тебе же все равно некуда идти, поскольку в нашем Хуторе ты человек чужой. Надо авторитет заработать, чтобы своим стать. А как же. Подсоблю, если слушаться будешь.

— Я не против.

— Договорились!

Однако планы участкового расстроил директор Саксонов, который уже встречал автобус на остановке. Участковый это сразу понял и, приблизившись к нему, не скрывал радости:

— Это я тебе, Павлович, привез учителя. Я! Подивись, какой молодец... Принимай, Павлович! Встречай! — и легонько подтолкнул учителя вперед.

Саксонов протянул Шепелеву руку:

— Жду, давно жду, — на лице директора засветилась широкая улыбка. — Не помню уже, сколько лет. Но — много. Так что прошу ко мне. И вы тоже, Егорович...

— К тебе так к тебе, — замялся сначала участковый, но ход событий его, похоже, удовлетворил полностью. — Если бы и не пригласил, Павлович, скажу тебе откровенно, все равно потянулся бы к тебе. После города мне хочется всегда посидеть среди умных людей. Хотя в райцентре мы посовещались сегодня на удивление быстро и успели, так сказать... Но это к делу не относится. Я — ваш раб на сегодня. Ну так что, потопали?

— Потопали, — кивнул директор и зашагал впереди.

Участковый всю дорогу тараторил, а молодой учитель только слушал: понимал, что ему пока надо быть учтиво сдержанным.

3

В тот же день весь Хутор решал стратегическую задачу — где будет жить новый учитель. Последнее время жилье не строится, а в то, что для учителей соорудили когда-то подрядным методом, не втиснуться. Дед Цыганок (он когда-то еще пацаном пристал к табору,

да так крепко, что еле отец выманил его оттуда, с того и пошло — Цыганок да Цыганок, к тому же немного и похож на цыгана — такой же черный), выкладывал в местном магазине свою версию:

— Дилектор сморозил тут, что квартеру свою отдал... Дурак, хотя и грамотный. Раскидон. Скажи кому — не поверят. А так он ба жил у себя, как и жил, а у Суклеты — хлопец-учитель, было бы удобно. И школа рядом, и Суклета уже без квартирантов этих, говорят, жить не может. Тянет ее к умным людям — и точка. Она с ними быстро общий язык находит. Ну, если бы, к примеру, я приютил квартиранта? О чем бы я с ним балакал? Привел человека в хату — поговорить же надо, а у меня узкая специализация — деревенская, от борозды и плуга документ. А Суклета уме-е-ет, она специалист по учителям...

С Цыганком согласились все, кто находился в магазине. Оно так: у Суклеты было бы учителю хорошо. Но у нее занято, там живет самый главный учитель. Так что от ворот поворот. Кто-то из мужчин кивнул на продавщицу и заведующую в одном лице Лизку:

— Взяла бы парня. Мужик что надо. Красивый-й!

Лизка хмыкнула, стряхивая сахар с совка в полиэтиленовый пакет:

— Сильно я ему нужна с хвостом!

«Хвост» у Лизки в самом деле имеется — двое ребятишек у нее, а муж где-то собакам сено косит. Если не пропал совсем. Как уехал за длинным рублем лет сколько назад, то ни слуху ни духу. Напарник, Петька Шалапут, который с ним был в Москве на заработках, поговаривают, как будто бы передал Лизке, чтобы уже не ждала. «Он с армянами схватился, те вывели его из вагончика, и больше Хлебореза (в армии резал хлеб на кухне на весь полк) никто не видел...» Может, и правду говорил? Однако же, учитывать надо, пьян был Петька как тютька, когда распространял этот слух. Обычное для него состояние. Разве мало под градусом чего можно наболтать?

Земляки понимали, что Лизка им тем «хвостом» заткнула рты, поэтому успокоились на какое-то время, про соль да хлеб поговорили, а потом все же вернулись к прежнему — ведь волнует их, людей, где жить будет человек. Не на улице же.

— Повел к себе дилектор учителя, — сказал, переваливаясь, словно утка, с одной ноги на другую и как бы подведя черту под разговором старый Цыганок. — Они там сами разберутся. И участковый с ними. Дело, значит, будет. Участковый может к любому из нас привести и приказать: учитель будет жить там, где я сказал! И что ты ему сделаешь, антихристу? В глаза плюнешь? Гляди, чтобы

самому безики не заляпало тем, чем плевал. А? Или неправду балакаю?

В Хуторе знали, что Цыганок говорит всегда только правду, даже когда и врет, поэтому согласились единодушно. Вскоре магазин опустел, только одна Лизка подкрашивалась перед зеркальцем.

На всякий случай.

4

Выпили по чарке. Пригубила немножко и Суклета — больше за компанию, она всегда так делала: никогда не отказывалась, если приглашали к столу, для нее главное — посидеть и послушать, а поскольку старая и в самом деле употребляла только «один грамм», то она была желанным гостем за столом. И к тому же всегда щедрым — у нее обязательно найдутся разные соления к принесенной квартирантом или его спутником колбаске или консерве.

Закусывая, участковый нахваливал первым делом директора школы Саксонова, потом председателя сельсовета Ахремчика, правда, обошел председателя колхоза Коляду, потому как тот в последнее время совсем отбился от рук: задрал кверху нос, ноль внимания представителю власти. Не припомнит уже участковый, когда лакомился колхозной свежиной. Не дорожит председатель его дружбой, не дорожит. Быть не может, чтобы когда-нибудь не пригодился ему Боровой. «Тогда запоешь у меня Лазаря!» — припоминал он свою любимую поговорку, однако ее озвучивать не стал. Вслух участковый сказал следующее учителю:

— Держись, Иван, меня и вот его, Саксонова. Я правильно говорю, директор?

— Все, как говорится, в точку, — кивнул тот и проглотил дольку сала.

— Я лишь бы чего не плету. Рыбак? Охотник?

Шепелев мотнул головой: и не рыбак, и не охотник.

— Научим. Образуем. Проще простого. А прости, учитель, что ты можешь? Твое, так бы сказать, хобби? Ну, учить детишек. Раз. А что у нас на два в меню?

Молодой учитель старался внимательно слушать, не сводил взгляда с участкового. И хотя Суклета заметила участковому: «Чего это ты пристаешь к хлопцу, Егорович? Ишь, допрос учинил! Он же покамест не набедокурил у тебя...», тот махнул в ее сторону рукой, не обращая внимания на замечание, приготовился услышать что-то интересное. Давай, мол, хвались, пошевели умишком, учитель. Шепелев вспомнил про зеленый контейнер с яйцами, который

выглядывал из полиэтиленового пакета участкового в автобусе, и попросил разрешения кое-что из него взять.

— Пожалуйста! Нет вопросов! В чем дело? — разрешил более чем охотно участковый.

Шепелев взял в контейнере яйцо, в одно мгновение спрятал его в карман и показал всем руки:

— Ничего нету?

— Нету, — за всех ответил участковый.

— А сейчас? — в руке учитель держал яйцо, и вытащил он его из-за пазухи так быстро и ловко, что никто даже глазом не успел моргнуть.

— Повтори! — попросил участковый. — Прошляпил. Буду более внимательным. Ну и ну. Интересно... Откуда ты его извлек? И вы, граждане, следите. Суклета, слышишь? Павлович! Так, смотрим!

Учитель снова достал яйцо. Участковый только моргал глазами, удивляясь мастерству того, искал глазами поддержки у директора и бабки, однако они лишь разводили руками: ничего не поняли и просили повторить фокус. Пришлось учителю еще несколько раз показать тот фокус, но он так ловко и скрытно манипулировал руками, что опять ничего никто не понял. Чудеса! А Суклета расчувствовалась:

— Сынок! Сыночек, так тебе ж цены нету! Ты хотя это понимаешь? У меня же уже и куры повывелись, я и не буду молодых заводить: мясо я не ем, зубами моими только манную кашу можно жевать, а яичек и ты можешь нашлепать. Приходи хоть кажен день... Век благодарна буду. Я не жадина, мне много не надо — десяток сразу можешь сделать? Мне тогда надолго хватит. И вас угощу.

Шепелев рассмеялся и ничего не ответил.

— А вот еще один фокус, — посмотрел учитель на своих новых знакомых.

— Ну, ну, — участковый подсел поближе к фокуснику. — Начинай...

— Начинаю. У меня, как вы видите, ничего в руках нету. Так?

— Не слепые, — снова ответил за всех участковый.

— А сейчас? — после того, как поводил Шепелев по пиджаку, где у него был ряд больших пуговиц, показал металлический рубль.

— Повтори!

— Пожалуйста! — и учитель вскоре снова держал на ладони рубль.

Как? Откуда? Всего, кажется, повидали люди на своем веку, а вот таких фокусов — нет, не приходилось. Разве только по

телевизору. Так по телевизору и замутить мозги могут. А он же, фокусник, вот — рядом, перед тобой за столом, из одной бутылки горькие капли пьют, из одной тарелки дольки сала и огурцов нанизывают на вилку. И, смотри ты, не признается, как делает, не выдает секретов! Особенно разгорячился участковый, он никак не мог смириться с тем, похоже, что какой-то там зеленый учителишко, сморкач, крутит перед его глазами фокусы, а он, как дурак, только глазами стрижет без толку. Даже подумал с обидою, что как участковый он, наверное, — ноль, слабак слабаком, правду, оказывается, говорил один его знакомый милиционер: «Берут дураков на работу, а спрашивают, как с умных».

Участковый никому не признался, что, вернувшись домой, он сначала переколотил все привезенные из райцентра яички, а потом поотрывал с мундира все пуговицы — пробовал повторить фокус с рублем, но у него ничего не получалось и близко. Жене сказал:

— Освою фокус, тогда весь райотдел на уши поставлю! Показателями не возьму, так возьму фокусами. Слышишь, Анюта? Не хочешь слушать... А зря. Я вот что тебе скажу: с этим новеньким учителем я должен подружиться, быть на короткой ноге...

5

На следующий день про яйца и металлический рубль говорил весь Хутор. Поскольку сельским центром устной информации был все тот же магазин, где люди не только отоваривались, но и насыщались необходимыми им житейскими новостями, то там и состоялось небольшое стихийное собрание, на которое был вынесен один вопрос: где все же будет жить молодой учитель? Дед Цыганок был, как всегда, категоричным:

— Возьми такого к себе, так он еще беды наделает.

— Как это? — не понимала Лизка.

— А очень просто. Косо глянешь на него или блин невкусный подсунешь, тогда на сливах не сливы вырастут, а какие-нибудь волчьи ягоды. Колдун! Или, коль уже на то пошло, куры начнут не яйца нести, а какие-нибудь желуди. Вот и грызи их. Как дикий кабан. Хрю-хрю!.. Не-е, мне пущай и приплатят, а такого кватиранта ни за что не пущу дальше порога. А вы как хотите!

Помолчали. Правду говоря, где-то же надо пристроиться учителю. На одну ночь он задержался у Суклеты, но жить там постоянно не получается: жить вместе с директором, с начальником, — простите!.. Это люди понимали. И гадали, кто бы мог приютить учителя. Человек, по всему видать, он хороший, толковый. Но —

фокусник. И надо же было ему показывать-демонстрировать свои глупости! Ну, нашел бы сначала угол, тогда уже и признавайся, что руки у тебя не такие, как у других. Так нет же — не терпелось ему показать фокус, артист! Попов, понимаешь, сыскался!

В самый разгар спора в магазин заглянул участковый.

— О чем гомоним? — строго спросил он и тут же поинтересовался у Лизки, есть ли у нее «вот такие пуговицы» — одну показал ей.

Продавщица и заведующая в одном лице отрицательно покачала головой, на что участковый заметил:

— Жалко. Завоз у вас, должен заметить, никудышный.

— Это же милицейская пуговица, зачем они нам? — удивилась Лизка.

А дед Цыганок поинтересовался — он всегда интересовался, когда чего-нибудь не понимал:

— А где это ты, Егорович, пуговицы растерял? Не фокусник ли постарался? — И старик насмешливо крякнул.

На что участковый топнул ногой:

— Цыц!

Когда участковый исчез, в магазине снова заговорили про фокусника. Не терпелось все же посудачить, кто мог бы взять его на квартиру. По общему предположению, таких не находилось. Сам себе навредил человек.

Пришла Суклета, поздоровалась, а когда Цыганок спросил, чем занимаются директор и новый учитель, охотно ответила:

— Ищут квартиру.

Дед Цыганок не унимался:

— А ты бы сама его, молодица, взяла?

— А ты?

— А что я?

— А что я? — И старая быстро ушла из магазина.

— Вот и поговори с ней, — прищурил глаза дед Цыганок. — Холера, а не баба! Среди разумных людей весь век живет, с нами, простыми смертными, и разговаривать не желает. А ну ее! Или у нас своих забот мало? Зачем мы про наставника все толкуем? У него у самого голова на плечах есть — неровня нашей. Не пропадет. Свесь, Лизка, халвы. Что-то меня на халву потянуло. Да пойду домой. А то целый день мотаюсь. Как бездомный.

Вскоре в магазине осталась одна Лизка, и снова она вертелась перед зеркальцем. А вдруг новый учитель заглянет в магазин? Все только про учителя и говорят, хотя бы взглянуть на него одним глазом. Что там за цаца такая? Тем более, что высокий да красивый,

говорят. И плюс ко всему еще и фокусник. А ей, Лизке, давно хотелось хоть каких-нибудь фокусов... Х-хи!..

6

Участковый Боровой приходил в магазин не за пуговицами. Этих пуговиц хватает у него и дома. После вчерашнего страшно, даже дико болела голова, а как полечить ее — не знал. Заначка осталась в райцентре, просить денег у жены — себе же хуже: на похмелье она никогда не пожертвует, хоть в лепешку перед ней расшибись. Идти просить у Суклеты? Хотя он и милиционер, а все равно как-то неловко: что подумают о нем директор и фокусник? Нет, не дело это. Оставался один вариант — магазин... Лизка выручит. Поверит. Притопал, а там, в магазине, полно народу, и, как всегда, этот бездельник дед Цыганок торчит. При нем не попросишь — разнесет по всему селу... Да и остальные палец откусят, только положи в рот. Увидев столько сельчан, участковый даже растерялся и не придумал ничего лучшего, как спросить про пуговицы.

Выйдя из магазина, участковый достал из кармана свисток с горошиной внутри, легонько подул в него: порядок. Действует. Осмотрелся по сторонам. Как только заметил на улице мальчика, снова подул в свисток. Мальчик остановился, посмотрел на участкового, а когда тот помахал ему, чтобы подошел, послушно приблизился к нему.

— Посвистеть хочешь? — спросил участковый мальчика.

— Если дадите.

— На.

Мальчуган взял протянутый свисток и свистнул так, что даже участковый заткнул уши.

— Еще хочешь?

— Ага...

— Я дам посвистеть тебе еще. Но и ты мне сделай что-нибудь хорошее...

— А что надо?

— Покажи, где батькин самогон спрятан...

Просьба милиционера мальчика озадачила: говорить или не говорить?

— Ну, чего молчишь? Мал, а хитер... Да ты не бойся — ничего батьке твоему не будет! Выпью с ним стаканчик-другой, да и разойдемся. Но ты насвистишься на целый год вперед. Договорились?

— Не знаю.

— Думай, думай... Так где у вас самогон стоит?

— В сарае… в бочке с зерном. Под сеном…

— В сарае? В бочке? Под сеном?

— В саменьком углу. Еще сверху фуфайка лежит….

— Теперь свисти. Давай… Молодчина! У тебя хорошо получается. Приходи и завтра — снова дам свисток. Не жалко... Ну, а сейчас верни мне его, ты очень сильно дуешь...

Прежде чем отправиться к сараю с самогоном, участковый зашел домой, взял в клети спидометр от мотоцикла, который уже несколько лет висел на крюку без дела, протер тряпкой пыль и, спрятав его под мундир, отправился «на боевое задание». Хозяин самогона, нескладный детина Мирон, был дома, что-то стругал под навесом рубанком, а когда увидел на подворье участкового, немного растерялся: не каждый день тот приходит к нему.

— Самогон есть? — спросил, не поздоровавшись, участковый.

Мирон растерялся еще больше, даже слегка задрожали губы, поэтому ответил не сразу, а только когда перевел дух и собрался с мыслями:

— Откуда он у меня, Егорович?

— Врешь...

— Да если бы у меня был тот самогон, как ты говоришь, я разве был бы такой унылый?

— Вроде бы и правда. Но ты пьешь мало. Так что показывай, показывай, где самогон спрятал, будь он проклят. Слыхал, началась операция «SOS». Самогон отдай сам. Иной раз надо и газетки почитывать.

— Проскочило мимо...

— Но тут, у тебя, надеюсь, я не проскочу мимо...

— Ищи, Егорович. Показывай ордер на обыск, и — вперед. А я погляжу, как ты найдешь. Ордер есть?

— Я тебе такой ордер покажу, что ты... ничего больше, кроме его, видеть не будешь. Ордер ему показывай. Буду я за ним в район ездить. Ты знаешь, Мирон, сколько мне стоит одна поездка туда? Нет, то и знать не надо. — Он вытянул из-под мундира спидометр, положил его на ладонь и, удерживая фантастическое приспособление для боязливых на ладони, осторожно, неторопливо порулил к сараю. — Туда, туда показывает... Открывай двери, Мирон...

— Открыты.

— Это хорошо. Предусмотрительный ты человек. Так, так... — перешагнув низенький порог, участковый оказался в сарае, сразу же нацелил глаза в угол перед сеном и увидел фуфайку... — Если верить моему прибору, а это не лишь бы какая вещь, то самогон вот тут, под

фуфайкой. Прибор реагирует только на самогон. Сам покажешь или меня заставишь ковыряться в бочке с зерном, Мирон?

Мирон сдался... Участковый еще долго сидел у него за столом, похмелялся, травил разные басни-небылицы, а потом почему-то достал из кармана свисток и протянул его хозяину хаты:

— Свистнуть хочешь?

Мирон, услышав такое от участкового, чуть не свалился со скамьи, на которой сидел.

— Повторяю вопрос: свистнуть хочешь?

— Вопрос я понимаю, — собравшись с духом, прошептал Мирон. — Только я что, дитенок? Или милиционер? Не первый и не второй. Так что, Егорович, прости — не по адресу.

— Разумно: не по адресу, — согласился участковый. — А ты, мой свисток, молодчина: сегодня ты свое дело сделал, отдохни в моем глубоком кармане. Может статься так, что и завтра пригодишься. Не могу же я сегодня знать, что с моей головой будет завтра. Еще раз выражаю своему свистку благодарность: спасибо, свистуля. Имеешь право отдохнуть. Ну, мне пора.

Мирон проводил участкового задумчивым взглядом и никак не мог понять, за что тот благодарил свой свисток, за какие такие заслуги?

Попробуй тут разберись...

7

В то время, когда участковый возвращался домой от Мирона и бубнил себе под нос какую-то мелодию, директор и новый учитель ходили по деревне и подыскивали хату, в которой бы смог остановиться последний. Надо поторапливаться — сентябрь на носу, а у него, учителя, кроме постели должен быть и стол, на котором бы он не только готовился к урокам, проверял тетрадки, а который бы его еще и кормил. Однако пока что везде ходоки получали от ворот поворот, и, что заметил Саксонов, люди как-то настороженно смотрели на Шепелева, старались разговаривать кратко и подчеркнуто недружелюбно, чтобы побыстрее затворить дверь. Почти перед самым носом. А Манька, самая, почитай, бедовая деревенская бабенка, прежде чем пустить во двор гостей, загнала в сараюшку кур, и только тогда пригласила войти:

— Если ненадолго...

А услышав из уст директора о цели визита, развела руками:

— Я, люди добрые, и в голодное время квартирантов не держала. Не приучена. Не люблю, когда у меня кто-то под ногами

болтается, ей-богу. Как хотите, так и думайте. Когда я одна в хате... ну, своих я не считаю, то что хочу, то и делаю. А так — чужое...

Саксонов почувствовал себя неловко и, чтобы не терять время, попросил извинения у Маньки за этот визит, и вскоре они оказались снова на улице и думали-гадали, куда пойти, куда податься. Как раз в этот момент мимо них прошлепал дед Цыганок. Поздоровался, отвесив легкий поклон и смахнув с головы затертый картуз:

— Честь имею приветствовать среднее образование! Ну, и куда же путь держим, если не секрет?

Хитер старый! Знает же, что «среднее образование» ищет жилье, а вот чтобы зацепиться возле учителей, начал издалека. И конечно, услышал то, в чем не сомневался.

— Не берут вот на квартиру Ивана Валентиновича, — Саксонов кивнул на молодого учителя. — Хоть в школе ему угол обустраивай. Придется. Понимаю, что это несерьезно, но другого выхода пока не вижу. Помогай, дед!

— Тут, братки, дед вам не помощник, — старик поправил картуз на голове. — А почему не берут?

— Самому интересно.

— А я вроде бы догадываюсь.

— Ну, ну.

— Из-за фокусов.

— А они при чем тут?

— Как же. Наши люди всегда боялись разных жуликов... Учитель — вроде бы серьезный человек, проверенный, однако же — фокусник... из той породы, получается. А таких людей в Хуторе не любят, ой и не любят, уважаемые! Так что зря, Иван, как тебя там по отчеству... забыл, однако зря, непредусмотрительно ты раскрыл свои фокусы. Они и вредят тебе!

Шепелев захохотал, а за ним — и Саксонов. Только дед Цыганок моргал глазами и не находил, что на этот раз ответить учителям. Но прежде чем пойти дальше, он сказал им кратко и понятно:

— Вот такие фокусы, едри их мать!

А директор успокоил Шепелева:

— Ничего, Валентинович. Если что, будем жить под одной крышей. Поместимся.

Да конечно же, места он, Шепелев, много не займет, и старой Суклете стряпать еду что для одного, что для двоих — разницы большой нету, однако радужных красок в такой перспективе учитель не видел — он не представлял своим соседом, да еще таким близким, самого директора школы. Это, похоже, уже излишне. Перебор.

Он думал так до того времени, пока они шли к очередной хате, выбранной для очередного визита. Саксонов сам стучал в двери или кричал, вытянув голову над забором, а Шепелев стоял, как всегда, чуть поодаль. На этот раз директор не стучал и не кричал, он толкнул дверь ногой, и они оказались в больших и светлых сенях, а потом сразу же и в передней.

— Извини, Егорович, за то, что неожиданно ворвались, — оправдывался Саксонов и, не дождавшись ответа от хозяина, сел на табуретку, а еще одну подставил учителю. — Догадываешься, чего зашли?

— Догадываюсь, — добрело, окрашивалось в румянец лицо у Егоровича, крепкого, статного мужика примерно такого же возраста, что и директор школы, и, как заметил Шепелев, был он человеком добродушным и совестливым.

— Кстати, познакомьтесь, — Саксонов поднялся. — Пожмите руки. Как и положено.

Егорович и учитель так и сделали. Теперь Шепелев знал, что пришли они к местному ветврачу, и только сейчас он обратил внимание, что в комнате стоит такой специфический и устойчивый запах, словно где-то на ветеринарном участке.

— Не подумай, что мы пришли к тебе проситься, — продолжал Саксонов. — Нет, не поэтому заглянули. А заглянули потому, что я все ума не приложу, к кому можно еще обратиться. А?

— Где были, у кого? — заинтересовался Егорович.

— У деда Цыганка и не спрашивали. Да он и сам живет — не живет... хромает. Манька? Были, были. Про нее не буду. Хорошо, что и не согласилась. Как у нее жить, если и дочь молодая, и сама еще ого-го? Ну ее, Маньку! Хавошка говорит, что помирать собралась. Ее дело. Не запретишь. Варька ждет сына из города — за пьянку, она и не скрывает, выгнали с завода, а жена выперла еще раньше, так куда ему деваться? Конечно же, к матке приедет. Кореньковы говорят, что никогда не держали раньше людей на постое, не хотят делать это и сейчас. Вот, кажется, и все?

— Кажется, да, — согласился и учитель.

— Я бы взял, да-а... — смущаясь, развел руками Егорович.

— Да нет, про тебя и разговора быть не может, — запротестовал Саксонов.

— Почему? Я что, совсем авторитет потерял? — обиделся Егорович, и его лицо покрыл еще больше багрянец. — Не подумайте так. Пусть собаки меня и боятся, петухи местные дают деру, завидев меня, в подворотни, однако с людьми общий язык я нахожу завсегда.

Да-а. Правда, с женой своей, с Милушей, не получилось консенсуса... Учитель, наверно, не знает, что развелся я. Пока не поумнел... Однако же Милуша не хочет возвращаться, а мне и не надо. Почему я не могу взять тебя, Иван Валентинович, на квартиру? Объясню: собрался жениться. Пока — ша, но не сегодня-завтра приглашаю вас в сваты. Поедем в соседнее село. В какое? Пока — молчок. Ша пока. Научен. Не надо болтать раньше времени. У нас не умеют радоваться чужой радости. Подпортят. И глазом не моргнут. Так что, уважаемые мои, впереди у меня медовый месяц...

— Поняли, — вздохнул-выдохнул Саксонов и первым поднялся с табурета. — Ну, будь, Егорович.

— Надеюсь на вас, — Егорович притворно-угрожающе помахал на гостей толстым пальцем, не забывая при этом улыбнуться. — Когда что — шепну. Ждите сигнала. Только не подведите. Обещаете?

— Обещаем, — и за себя, и за учителя ответил директор.

Однако слово сдержать не всегда удается человеку, поскольку не все, согласитесь, зависит от него.

8

Квартирный вопрос пока решен не был, однако же и учитель не жил под голым небом — как и предполагал Саксонов, Суклета не противилась, чтобы Шепелев какое-то время тоже пожил у нее, но предупредила:

— На двух едоков у меня надолго круп не хватит...

Мужчины этот тонкий намек поняли. Успокаивало то, что имеется впереди запас времени, чтобы новому учителю реабилитировать себя в глазах хуторян, доказать наконец-то им, что он хотя и фокусник, но человек покладистый, безобидный, и подыскать в конце концов квартиру.

А занятия в школе тем временем начались. После первого урока в класс вбежал взволнованный заведующий фермой Полозков, отдышался и дернул Шепелева за рукав:

— Ты фокусник?

— Я учитель, — спокойно ответил Шепелев.

— Так, так. Понимаю... Основная твоя работа, насколько я понимаю, здесь, в школе. А по совместительству, говорят, фокусником работаешь.

— Кто говорит?

— Люди.

— У вас люди, вижу, все видят. Да и Бог с ними... Что вы хотели?

— Выручай, Валентинович! Спасай. Век не забуду. На ферме пропало три мешка с комбикормом.

Учитель хмыкнул:

— По этому вопросу обращайтесь к участковому.

— Обращался. А как ты думаешь. Только он отпасовал меня к тебе: учитель, говорит, назовет воров.

— Участковый навел вас на ложный след. Простите, но я людей не знаю еще в вашем Хуторе, кроме участкового и директора школы. Вы же должны знать, кто тут у вас на что способен. Одни могут на гармошке играть, другие печи мастерят, кто-то самогон уважает, а кто-то — стянуть то, что плохо лежит, мастак.

Полозков поперхнулся, а когда откашлялся, снова дернул учителя за рукав:

— Весь фокус в том, что сворованное как раз и лежало там, где ему и надлежало лежать. Да-да. Так что моей вины тут нету. Выручай, учитель. Магарыч с меня…

— Простите, но я вам ничем помочь не могу. — Шепелев хотел было идти, но Полозков снова придержал его рукав. — Ну что вам надо от меня, фермер? — отмахнулся учитель.

— Прижать их, гадов ползучих, к ногтю! Вот что!

— Так и прижмите. А я здесь при чем?

— Эх, учитель! — Полозков совсем, кажется, разочаровался в новом учителе, о котором столько басен ходило по селу, и вышел из класса. — А я думал!.. А ты такой, как и наш участковый… Тьфу!..

Но ходил в школу Полозков не зря. Вернувшись на ферму, он пригласил к себе кормачей Кондратьку и Володьку, поставил их перед собой по стойке «смирно» и строгим тоном сказал:

— Ну что, дорогие мои, наконец-то вы попались! Допрыгались, красавчики! Я ведь предупреждал! Вы что, думаете, я шутки шутить с вами буду? Нет, никогда! Никогда, шельмы! Исключено! Вы выведены на чистую воду, и выведены благодаря новому учителю Ивану Валентиновичу, который сразу же, с листа, обрисовал ворюг, а потом я мог увидеть вас в зеркале, которое висит прямо в школьном гардеробе. Не выкрутитесь! Признавайтесь, кто купил у вас, негодяев, комбикорм? Кому загнали, а? Чистосердечное признание… вы в курсе… да-да… Ну! Быстрее!

Кондратька почесал за ухом, а потом махнул рукой и признался:

— Да Маньке сбыли, кому ж еще.

— Ага, — кивнул Володька и жадно втянул носом воздух.

— За сколько?

— Мешок — бутылка.

— «Мешок — бутылка». А скотина голодная... Вам не жалко ее? Почему глаза опустили? Эх вы, бесстыдники! Подаю в суд.

Расхитители взмолились, а Кондратька даже упал на колени:

— Не губи, товарищ заведующий! У меня же семья. Дети у меня.

Как и не ранее, Полозков простил их. Как-никак земляки. Но предупредил:

— Последний раз чтоб!..

А Кондратька и Володька, посовещавшись, решили наказать учителя-фокусника — облить кипятком в колхозной бане...

Вечером, встретив Шепелева на улице, Полозков признался ему, что использовал его имя, благодаря чему быстро вышел на воров и их сподручных. Учитель простонал и театрально закатил глаза:

— Все, мне конец! Я попал, кажется, в самый настоящий цирк!

9

День, когда ветврач Егорович должен был ехать в соседнее село Боровики в сваты, подкрался как-то незаметно, словно самый обычный, будничный день. Была ночь — стало утро. Прокукарекали петухи в Хуторе, зазвенели подойниками женщины, протарахтели трактора и грузовики по улице.

Выше голову, Хутор!

Да вот беда, настроение не у каждого было на должном уровне. В том числе и у Егоровича. Только сейчас, утром, он узнал, что не может поехать в сваты самый главный сват — директор школы Саксонов. Авторитет. Уже одно его появление в хате невесты произвело бы фурор, однако на директора вчера вечером, когда он возвращался с работы домой, напали какие-то негодяи, натянули ему на голову мешок и надавали тумаков. Потерпевший не успел обратиться в милицию, хотя и собирался, его опередил участковый. Он сам пришел в хату Суклеты с первыми петухами и посочувствовал Саксонову. Супостатов пообещал немедленно отыскать, живыми или мертвыми, но для этого потерпевший должен говорить правду, и только правду.

— Слушаю, Павлович, — участковый устроился за столом и нацелился записывать все, что будет говорить ему директор. — По порядку. Пожалуйста. Ну, ну.

Саксонов сначала не хотел ничего рассказывать участковому, не доверял ему, потому как было таких историй в Хуторе немало и раньше, а что-то не припомнит, чтобы нашел когда преступника Боровой. Наделает шуму — и все, забудет. Но и понимал, что упираться бесполезно, участковый настоит на своем все равно, так

что незачем зря терять время. Саксонов намеревался обратиться сразу в райотдел, на- прямую, прыгнуть через голову участкового. И это было бы, с его точки зрения, разумным шагом. А вот теперь он должен рассказывать Боровому о вчерашнем и бриться, потому что спешить в школу надо, хотя и вид такой, что страшно перед учениками показываться.

— Иду, значит, из школы. Настроение — хорошее. Строю планы разные. А стоило мне взяться за ручку своей калитки, как откуда ни возьмись... мешок на голову — шасть. И сразу же посыпались кулаки.

— Все?

— Все.

— На кого подозрение падает у тебя самого, Павлович?

— Вопрос сложный. Вроде бы и к чужим женщинам не шастаю, не ругаюсь с людьми. Наоборот, помогаю, если кому надо, например, письмо написать или жалобу сочинить какую... Служу людям. Поэтому подозревать никого не берусь.

— Так, так, так, — участковый барабанил пальцами по столу. — А не могло ли покушение на жизнь предназначаться нашему молодому учителю за его фокусы, а ты, как говорят, подвернулся под горячую руку. А?

Саксонов задумался.

— Кстати, где он, фокусник? — стреляя взглядом по комнате, спросил Боровой. — Не вижу.

— Пошел по грибы. У него первого урока нету.

— Понятно. Ну что же, мое, так сказать, резюме. Слушай внимательно, Павлович. Из города, чтобы напасть на тебя, бандиты не приедут — сейчас топливо дорогое, поэтому необходимо негодяев искать у себя дома, среди своих. Обещаю найти.

— Пообещать нетрудно, — вздохнул Саксонов. — Я вот обещал Егоровичу быть за свата, а как в таком виде поедешь в Боровики? Не получается. Тут хотя бы своих детей в школе не перепугать...

Вспомнили про ветврача, а он — тут как тут: легок на помине. Взглянул Егорович на директора и пошатнулся, ему сразу сделалось плохо: сегодня же в сваты ехать!

— Спокойно, — принял деловой вид участковый. — Безвыходных ситуаций не бывает. Что-нибудь придумаем... Понятное дело, что Павлович уже не сват. Я — участковый, меня каждая собака знает как облупленного и не с самой лучшей стороны. Не стремлюсь по этим причинам сам на роль свата. Поэтому сойдет за свата молодой учитель. Высокий, красивый. И в очках. Солидный, одним словом, человек. Плюс — фокусник. Он из любой ситуации вывернется. А с

таким человеком не пропадем и мы. Как вы уже догадались, я тоже поеду, буду рядом, на подхвате. Не испорчу праздника. Как, Егорович, считаешь?

Егорович согласился:

— На безрыбье, как говорится, и рак рыба... Сегодня едем.

— Сегодня так сегодня. Мы всегда, значит... А пока я поищу тех негодяев, которые испортили физиономию уважаемому человеку. Пошли, Егорович.

— Пошли, Егорович.

И два Егоровича, участковый и ветврач, прикрыли за собой двери в Суклетину хату. А поскольку они двигались по улице вместе, то участковый быстро и назвал преступников. Это же деревенские пьяницы Кондратька и Володька, кормачи с фермы. Боровому успел похвастаться Полозков, что не без помощи учителя-фокусника он прижал к стене воров, и те, поверив, что их и в самом деле показал в зеркале ему Шепелев, сдались. Обещали отомстить учителю. И вот — получайте... Все ясно: перепутали, тут и говорить нечего, директора с фокусником. Живут-то вместе.

Настроение у Борового было лучше не придумаешь: хорошо как день начался — и в сваты едет, и преступление, почитай, раскрыл. Остались мелочи — допросить Кондратьку с Володькой, а это он умеет делать, потому как в своей профессии давно. А вон и они идут, преступники! Только что это? Заметив на улице участкового, сразу свернули в заулок. Такое поведение кормачей еще больше вселило в Борового веру, что именно эти двое отчихвостили директора школы. И сомневаться не надо!

— У меня не спрячетесь! — пригрозил им кулаком участковый. — Вот вернусь со сватовства и сразу за вас возьмусь. Такие фокусы у меня не проходят!

10

В Боровики поехали на легковой. Егорович выкатил из сарая старенький «Москвич», обмел его веником, и после этого он больше не стал напоминать человека, который долгое время спал в посеченной мышами соломе.

— Загружайтесь! — приказал Егорович и первым сел за руль. Рядом с ним по рекомендации участкового занял место сват, а на заднем сидении устроились сам участковый и гармонист Колька.

Поехали. Было темно, на небе вспыхнули звезды, мигали-переливались, и хотя в легковой светила всего одна фара, и та ближняя, доехали без приключений. Все приключения начались

позднее. Деревня рано идет на отдых, и поэтому ни одно окно в хатах не светилось, как это ни удивительно — должны же ждать хотя бы в той хате, где живет невеста. Егорович растерялся: темень плотным ковром обволокла все кругом, сбила его с толку.

— Не понял, — сказал Егорович и остановил легковую. — А в какой же хате, извините за не очень скромный вопрос, живет моя избранница, тоже ветврач, Настя? Кажется, второй дом от сельмага? Колька, заглянь во второй дом.

Колька послушался. Но вернулся вскоре ни с чем.

— Спят и не открывают, — сообщил он.

Участковый посоветовал искать свою невесту самому Егоровичу и упрекнул того, что так поздно приехали.

— Такие дела надо решать днем, при свете, — посоветовал он. — А то может все сорваться, что было бы нежелательно.

— Когда ж днем дел набралось — не вырваться.

— Важнейшего дела, чем сватовство, нет. Запомни, Егорович.

Егорович поблагодарил участкового за полезный совет и нырнул в темень. Как это не открывают? Кто кому? Второй дом от сельмага... Так, вот он. Собаки у тетки Аксиньи, где снимает угол Настя, нет. Можно идти смело. Егорович прошлепал по двору, оказался в сенях, а потом и в передней. Тихим голосом спросил:

— Есть кто... к-хе-е... живой?

Как не слышат. Но если бы никого не было, висел бы на дверях замок. Защелки на дверях тоже нет. Тут что-то не то. Егорович сделал еще несколько шагов вперед, заодно прикидывая, где тут выключатель, и в это время загремел куда-то в пропасть... Он даже не успел испугаться. Все случилось мгновенно. Хотя — нет, испугался, потому как закричал не своим голосом, а из сеней выпорхнула во двор бабка, что силы понеслась на улицу.

— Грабят! Воры! Грабят! — подняла она крик, и участковый первым молча выбрался из легковой.

Боровой приказал бабке, которая пробежала мимо:

— Стоять! Я участковый! Стоять!

Он догадался, что ловить тут никого не придется, поэтому был смел и решителен.

— Веди к себе! Показывай! — приказал бабке участковый и пригласил всех, кто был в «Москвиче»: — Понятые, за мной!

Шепелев и Колька, который прихватил с собой и музыкальный инструмент, поспешили за перепуганной до смерти бабкой и как никогда смелым участковым.

— Кто оценит наш труд? — жаловался участковый, не забыв, как всегда, похвалить себя. — Таких не найдется. А как в пекло какое — то давай, участковый, лезь, ты ведь милиционер. Вот и сейчас... Кто скажет, какое оружие у бандита? Огне- стрельное или нож? Пистолет, пулемет? Шандарахнет — и все, заказывай музыку. А слезу пустит только жена, и то вряд ли. Ну, дадут медаль. Посмертно. А мне какая польза? Я, кстати, ее так и не обмою. Зажигай, бабуля, свет!

— Ага! — старуха едва нащупала в темноте дрожащей рукой выключатель, и когда загорелась лампочка, из ямы, что была под полом, выбрался жених Егорович, грязный, страшный...

— Вот он, ирод! — ткнула пальцем на ветврача бабка. — Это же пока я по надобностям сходила, он и залез, гад. Воспользовался моментом! Арестовывайте, товарищ участковый! Берите!

Однако участковый, Шепелев и Колька так громко начали смеяться, что бабка ничего не могла понять, только часто моргала маленькими глазками. Потом все же разобралась, кто попал в ее яму — господи, да это же ветврач из Хутора, раньше, когда не было в Боровиках своего, то несколько раз обращалась она за помощью к Егоровичу. Поэтому тоже начала смеяться беззубым своим ртом вместе со всеми, потом подала ему щетку, чтобы ветврач снова подфрантился — вон испачкался, как ребенок. Бабка как раз собралась приготовить яму, пора было выбирать картофель на посев, и Егорович свалился впотьмах в нее...

Невеста и в самом деле жила во второй хате от магазина, а Егорович попал в первую. И как он так обмишурился? Считать до трех умеет, а вот такой конфуз получился. Извинившись, сваты отправились по уточненному адресу. Только почему же и там нет света? Или спать уже легли, разуверившись, что те явятся? Должна, должна ожидать Настя! Должна, если все серьезно!

А Настя и ждала. Она сидела на лавке перед хатой с подружками, которыми успела обзавестись, и все видела. Горела и лампочка в передней, только окно было занавешено, и поэтому свет не просачивался на подворье.

— Принимайте сватов! — подал голос участковый и посветил фонариком, выискивая в темноте среди девчат невесту. — Которая наша будет? О, да тут все красавицы, хоть второй раз женись! Так что, приглашаете в хату?

— Заходите, пожалуйста, — распорядилась Настя, и все заторопились в хату, где, к удивлению зашедших, ничто не напоминало о том, что здесь готовились к их встрече. Однако вскоре

за столом уже не хватало мест — пришли соседи, даже местный священник Евдоким.

И все было хорошо, все было по-людски. Учитель не показывал фокусов, а хвалил Егоровича, которого всего два раза и видел и о котором знал, что он всегда носит с собой скальпель и обещает, когда выпьет, кастрировать всех хуторянских собак и почему-то петухов, хотя и не представляет, что могли сделать плохого ему деревенские горлопаны. Ну, пусть себе злая собака — так она может цапнуть за штанину... Невеста на редкость быстро дала согласие украсить холостяцкую жизнь Егоровича, и хотя разница в летах между ними была значительная, на это никто не обращал внимания — артисты или ученые порой и не такую разницу в возрасте имеют, а живут же как-то, а мы чем хуже? А из группы поддержки невесты все хвалили Настю. Так участковый, фокусник и все остальные узнали, что она не только умеет полоть грядки, но сама доит корову, варит-парит и даже не курит и не пьет.

Шепелева больше удивило в этой хате, что не обносят чаркой и священника. Все поднимают чарку, и священник Евдоким — тоже. Все выпивают, и он выпивает.

— Свой мужик! — шепнул учителю участковый.

— Да уж вижу, вижу...

Выпили. А чем закусывает его величество? Священник же несколько раз потыкал рукой жареного поросенка и объявил:

— Перевожу порося в карася...

И подцепил вилкой кусочек молоденького аппетитного мяса.

Егорович обещал забрать Настю к себе в самое короткое время, а работать, сказал, будет она в Боровиках. Ничего, поездит. Здесь недалеко. Или на мотоцикле, или вот, если пожелает, пусть получает нужные документы и берет «Москвич». А что он с одной фарой, то это еще лучше — будет засветло возвращаться домой. А он, Егорович, не устанет ждать ее. Потому как любит.

— Я забрал бы Настю в Хутор, но соседей обижать не стану, — важно и гордо оповестил Егорович. — Пусть один ветврач остается вам. Я так решил. Ну, а сейчас мой сват Иван Валентинович покажет фокусы. На прощание.

Услышав про фокусы, учитель неодобрительно взглянул на Егоровича:

— Мне послышалось?

Участковый сказал, что и сам бы с удовольствием посмотрел фокусы и на всякий случай пробежал пальцами по пуговицам, а потом протянул учителю яйцо, которое взял с тарелки:

— Пожалуйста, Валентинович! Сделай из него два или три...

Однако учитель, к удивлению всех, напомнил, что уже поздно, а завтра у него первый урок. Пора и домой возвращаться. Только это предложение не одобрили. И учитель сотворил все же фокус — ушел спать, оставив шумную компанию за столом. Участковый руководил застольем, был разговорчив и, уставший за день, Шепелев слышал, как Боровой рассказывал, что сегодня утром раскрыл в Хуторе очень серьезное преступление, за что его, — он уверен, — наградят, самое малое, медалью... А потом долго рыдала-голосила гармонь, доносилось топанье ног, и Шепелеву казалось, что кто-то копошится под диваном, на котором он лежал.

Под утро учителя растолкали, и вся компания возвратилась в деревню в полном составе, даже жениха прихватили.

Начинался новый день.

11

Отоспавшись, участковый Боровой занялся своим делом: провел допрос Кондратьки и Володьки, они под неоспоримыми доказательствами признались, что совершили хулиганский поступок, и попросили прощения, потому что не собирались подсыпать перцу директору школы Саксонову, а хотели проучить фокусника. За что — тот знает.

— Не место фокусам в нашей жизни! — сказал Кондратька.

— А я говорю: место! — не согласился с ним участковый. — А пока я командую тут парадом, то все будет так, как и положено. Понятно, шельмецы?

Кондратька и Володька показали всем своим видом, что понятно. Участковый долго еще журил местный криминал, переминался с ноги на ногу, потому что не мог решить, хотя и считал себя профессионалом, что с ними делать. В район отвезти? Себе во вред: и дураку понятно, замечание сделают, как так, скажут, запустил ты на своем участке, уважаемый, дела, что уже директора школы — подумать только! — толкут кулаками. Да и дело заведут. А кто коров кормить будет? Запрячут в тюрягу мужиков, что тогда? Нет, это не выход. А коль не заводить то дело, то зачем в район их, голубчиков, везти? Но тогда надо все равно наказать как-то своей властью. А какова она, власть, у Борового, что он может?

Рассуждая обо всем этом, он сам того не заметил, как родилась у него идея арестовать Кондратьку и Володьку и посадить в погреб. Он так и сделал. Однако поднял крик все тот же заведующий фермой Полозков, поскольку некому было работать вместо них, и участковый протянул ему ключ:

— Выпускай, если так сильно надо. Но сначала неплохо было бы поинтересоваться у директора, согласен ли он?

— Простил, простил Павлович! — часто и торжественно затряс головой Полозков. — Сам ходил к нему. На поруки возьмем хлопцев. Больше не будут!

В тот же день участковый поставил точку в еще одном криминальном деле, и поэтому настроение у него было превосходное: порядок прежде всего, и пусть знают, кто стоит на страже его.

Вот так!

12

Учитель Шепелев на первом же уроке вспомнил, что его вчера просили в сватах показать фокусы, но тогда не было у него настроения, а настроение это появилось только сегодня. И поэтому день он начал с фокусов... Переступив порог класса, приказал всем ученикам смотреть только на него и смотреть необычайно внимательно, сосредоточенно. Ученики послушались и сосредоточили свои взгляды на его лице. Тут же учитель попросил дневники у трех учеников и поставил им «двойки».

— Вы не выполнили домашнее задание. Я не ошибся?

Те сознались: да, не выполнили. Более того, все они охотно объяснили, почему не подготовились к занятиям. Первый болел, второй ездил в лес по дрова с отцом, а третий вообще забыл, что надо было учить стихотворение на память.

— Вот это фокусник так фокусник! — восторгался на перемене один из той тройки, Сашка Боровой. — А я не верил!

Поскольку Сашка Боровой был сыном участкового, то Боровой-старший, изучив сынов дневник, нахмурился и, чувствуя себя оскорбленным, собрался нанести визит Шепелеву.

— Как же так? Мы же с ним, можно сказать, подружились и в сватах были, а он, сынок, «двойку» тебе влепил! Такие фокусы у меня не проходят!

И участковый поспешил к фокуснику.

Фокусы, похоже, в Хуторе будут продолжаться...

2001 г.

ИГРА

1

Почти одновремнно из пункта «А» (Чернигов) в пункт «Б» (Гомель) навстречу выехали два человека: доцент факультета славянских языков Черниговского университета имени Т. Г. Шевченко Василь Буденовский и доцент кафедры белорусской литературы Гомельского университета имени Ф. Скорины Виктор Ярось. Оба были в строгих костюмах, при галстуках и оба являлись признанными поэтами, членами творческих союзов своих независимых с недавнего времени государств. Василь Буденовский ехал в гости к Виктору Яросю, а Виктор Ярось — к Василю Буденовскому. Славяне дружили. И давно. Поэтому о поездке друг к другу даже не договаривались, они поступали так и прежде, собрались... и поехали. «Пусть Василю будет сюрприз!», «Пусть Виктору будет сюрприз!» Часто они без уведомления ездили друг к другу в гости, и никаких накладок не было: всегда встречались, как и подобает, на должном уровне. Пожатие рук, объятия, а из крепких напитков не брали в рот ни капли. Плюньте тому в глаза, кто говорит, что поэты пьют чрезмерно, не зная предела, как верблюды перед жарой — впрок. Эти не пили. Ни капли. Многим, видимо, и в самом деле интересно — а для чего же они тогда собираются, ездят в гости друг у другу? Разве им больше нечем заняться? А они ездят, так как им, вероятно, уж очень интересно вместе, и не считают себя чудаками.

2

Василь Буденовский билет на автобус купил заранее, потому что знал: в субботу много торгашей с сумками стараются попасть в Гомель, автобус же, как известно, не резиновый. Желающих поехать к белорусам на базар очень много и на это раз. Что везут братья-украинцы братьям-белорусам? Конечно же: сало, подсолнечное масло, марочное и дешевое вино, маргарин, сливочное масло, а также носки, чулки, белье... Всего понемногу. А выгода, наверное же, какая-то есть, если не втиснуться из-за них в тот автобус, таким вот скромным и — не его беда! — известным людям, как поэт и преподаватель Василь Буденовский. В Гомеле, кстати, есть проспект Кравчука — дорога от железнодорожного (а рядом и авто) вокзала до центрального городского базара: когда-то по обе стороны ее стояли торгаши из Украины и предлагали различный товар. Переименовать проспект по случаю смены президентов не успели — уже когда был избран Кучма, торговать там запретили, и друзья-соседи облепили,

где только можно было, городской базар, а наиболее пронырливые втерлись в середину. А проспект Кравчука существует и сегодня — в памяти хотя, но все же...

Прежде чем занять свое законное место в автобусе, Василь Буденовский согласился выручить парня в кепке и с дыркой между зубами, взял у того четыре бутылки вина. Тех бутылок поэт не видел, они были в целлофановом пакете, к тому же еще и завернуты в газету, на которой он успел заметить свою фамилию, и догадался, что это последний номер областной «молодежки», где напечатали подборку его стихов. Парень в кепке и с дыркой между зубами такие же свертки передал еще двум человекам, и всех сердечно благодарил, ведь иначе, говорил, таможня не пропустит, а это его хлеб. Не вино, конечно же, а челночная торговля, и ему пошли навстречу. Василь Буденовский не слишком разбирался во всем этом, но людям помогать любил, хотя иногда ему это дорого стоило. И зарекался же не делать больше такого, однако забывал об этом почему-то сразу, стоило обратиться к нему снова кому-либо: «Вы, уважаемый, не могли бы мне?..»

Вскоре автобус зашатался на ухабах, которых появилось почему-то много в последнее время на привокзальной площади, и отправился по маршруту. Пассажиры постепенно успокоились, занявшись своими привычными делами: одни завтракали, другие перекладывали из сумки в сумку, из пакета в пакет разные свертки, рулоны, пакетики... И так почти всю дорогу, до самой таможни, копошились, как жуки. Чувствовалось, что они волнуются. И еще то, что все они хорошо знают друг друга.

Василь Буденовский попытался уснуть — не получилось, в голову приходили разные мысли, он чувствовал радость от близкой встречи с белорусским другом. Вспоминал и свою жизнь. Что-то полнило душу теплом, что-то оставляло досадное, горькое воспоминание. Однако же жизнь шла, идет и будет, надо надеяться на это, идти. Издал одиннадцать книг стихов, вырастил сына, а теперь лелеет внука. Преподает в университете. Правда, за кандидатскую даже не брался. А зачем? Что нового, полезного, нужного людям, рассуждал, скажет он? Получалось — ничего. Тогда зачем портить и свое время, и время людей? Лучше написать книгу стихов. Это у него получалось хорошо, а надо делать всегда то, что получается. К тому же и преподавателем он был от Бога — на его лекциях студенты отсутствовали только по какой-то уважительной причине. Мало кто знал, что Василь Буденовский перевел на свой родной язык Библию. Полностью. Пока он не напечатает ее, мало кто,

видимо, и поверит. А он выполнил такую работу! Представлял, как похвалится Виктору Яросю и тот ахнет от удивления: неужели? Да, братец белорус, да.

Была и еще одна цель у поэта и преподавателя — приобрести в Гомеле минеральные удобрения. Хотя бы килограммов десять. На дачном участке необходимы, а то ведь коровяк дорогой и купить сегодня с его деньгами не по карману. Перед самой таможней Василь Буденовский спросил у того парня в кепке:

— Говорят, там есть удобрения. Комплексные. На базаре в пакетах. Не встречал часом?

Ответ был неопределенный:

— Видел, везли. А где брали?.. Может быть, там.

Парень в кепке и с дыркой между зубами вдруг задержал взгляд на лице Василя Буденовского, собрал на переносице в пучок морщины и несмело, но громко спросил:

— Подождите, вы не поэт?

— Поэт.

— А я вас сразу вспомнил, только сомневался... Мог ведь и ошибиться. Дай, думаю, лучше присмотрюсь. И не ошибся! Вы к нам приходили в общежитие... стишки читали.

— Раньше часто ходили. И в общежития, и в школы, и в ПТУ, по селам ездили. Было!

— А теперь почему же?

— Кому мы там нужны? Теперь у нас поощряется тот, кто разговаривает не на родном языке, а на каком-нибудь иностранном — преимущественно на английском... Вот тех сегодня встречают хлебом-солью. И кабанчика зажарят.

До парня в кепке не дошло об иностранных языках, он, размышляя о чем-то своем, еще раз показал соседу по салону в автобусе щель между зубами и на какое-то время умолк. Чтобы не молчать, Василь Буденовский кивнул на пакет, стоявший у его ног, и поинтересовался:

— Так что, и правда, с этого живешь?

Тот ответил почти сразу:

— Шурой прозвали. Знаете такого певца?

— Нет, — покрутил головой Василь Буденовский. — Не слыхал.

— Беззубый.

— А-а!

— Так и у меня же зуба нет. Да спереди. Как и у него. А где на зуб деньги возьмешь? Хорошо, если бы хоть один... А так ведь полон рот гнилых... Тех не видно... Вот и таскаюсь с этими бутылками,

чтобы денег собрать... Когда служить на Новую Землю посылали, то зубы были все... Не пойдешь ведь

в военкомат. Чтобы востребовать. Там пошлют. Еще и в спину плюнут.

— А ты сходи, сходи, — посоветовал Василь Буденовский.

— Шутите? — снова показал ему щербатый рот парень.

— А видимо, и да...

— Засмеют.

— Могут. И в самом деле — могут.

Стоп: таможня. Пассажиры автобуса притихли, и вскоре в салон вошел прапорщик-пограничник, который приказал подготовить паспорта для проверки. Пожалуйста. Процедура знакомая. Он молча рассматривал паспорта, возвращал их владельцам, а заговорил только, когда в его руках оказался паспорт, который подал ему Василь Буденовский. Пограничник заглянул в паспорт, посмотрел на Буденовского, приказал:

— Выходите! У вас чужой паспорт.

— Как чужой?! — не поверил сначала Василь Буденовский, а когда взял тот документ в руки, все понял: это был паспорт жены. В одно мгновение он представил, как возвращается назад, пожалел, что не встретится с Виктором Яросем, и не меньше — что не привезет комплексных удобрений. Кранты урожаю.

Тем не менее, настроение у Василя Буденовского — он и сам удивился этому — было на подобающем уровне, и он, выйдя из автобуса и не обращая внимания на сочувствие пассажиров, которые сверлили его взглядами, держал паспорт жены в вытянутой руке, смотрел на фотографию и артистично признавался супруге в любви:

— Видишь, мое сердечко, как сильно я тебя люблю! То, что я тебе раньше говорил? Вот теперь верь. Даже паспорт твой взял вместо своего... А почему? Что, тебе и это не интересно? Прости. Так фото в твоем паспорте приклеено. А я без тебя ни шагу! Хоть с самой, хоть с фотографией, любовь моя! До встречи. И прости, что возвращаюсь без азотных, калийных и фосфорных удобрений.

3

Виктор Ярось занимал два сидения в шикарном «Икарусе»: на первом сидел сам, а на том, которое ближе к окну, поставил сумку. В сумке была новая книга стихов, изданная на средства спонсоров, и подарок внуку Василя Буденовского Богданчику, которого он видел всего однажды, но который пришелся по душе: сообразительный, хороший мальчик. Может, потому еще так понравился Виктору

Яросю внук Василя, что он и сам мечтал о таком счастье, но этим пока похвалиться не мог. В чем, конечно же, виноват и сам. Хотя многое зависело от обстоятельств... Однако же обстоятельства создавал и он сам. Как получилось, одним словом, так и получилось. Причина одна и банальная, почему у него пока нет внучка, о котором мечтал, с которым надеялся разговаривать только на белорусском языке — как Василь с Богданчиком на украинском: поздно женился. Учеба в университете в Минске, потом когда их, группу откровенных студентов, отчислили якобы за злобное проявление национализма (затребовали, чтобы все лекции читались на родном языке), с трудностями и не без помощи Максима Танка устроился в Гомельский университет, потом работал в районной газете, на телевидении, пока, наконец, не нашел себя в университете. Начал преподавать. Защитил кандидатскую диссертацию. Писал стихи. Поэтические достижения невелики, хотя печатается много: книги выходят редко, слишком даже, так как рассуждает Виктор — и справедливо! — если бы работал где-либо поближе к издательствам, а лучше в каком-нибудь из них, то все было бы иначе. А та-а-ак! Пшик дело. В последнее время он даже не заходит в книжные магазины, хотя раньше любил это занятие: полистать книжки, которые еще пахнут свежей типографской краской, что-то купить для домашней библиотеки. А теперь... только себе навредить — испортить настроение, заглянув в книжный магазин, и можно. Издательства чтят одних и тех же поэтов — и в первую очередь сами издатели печатаются, которые обскакали даже классиков. Завалили книжные прилавки своими томами. Ни совести, ни... Что это еще может отсутствовать у таких нечестных людей? Один черт знает! Взять бы такого за шкирку да тряхануть хорошо, как это в деревнях мужчины делают, когда какой-нибудь умник обманет другого. Но не возьмешь. И характер не тот, и руки пачкать не хочется. Хотя, если так будет и дальше, может случиться и что-то более страшное... Найдутся поэты, которые умеют писать не только стихи... Найдутся... Все это прорастает — хотя и слабым пока ростком, но прорастает — оттуда, из далекой старины, когда люди, несмотря на кровь, боролись за кусок хлеба. Потому что голод вынуждал.

А если не вынуждал?

Иногда и Виктору Яросю хотелось предупредить таких литературных наглецов: бойтесь, остерегайтесь! А потом, когда забывал о том книжном магазине, заваленном томами самих издателей, успокаивался, постепенно остывал.... и зарекался больше не рифмовать, но ненадолго: не из тех людей он, чтобы не писать.

Чтобы не писать?.. Некляев все же поэт от Бога — выдал недавно: «У нас нет причин, чтобы не пить...» А у него, у Виктора Яpося, была причина, чтобы не писать... Только не писать он уже не мог. Даже и сейчас, сидя в автобусе, подбирает рифму, бормочет что-то себе под нос, а на бумаге записывает: «На дне Дняпра — якіх дуброў дубы, якіх вякоў, што лісцем адшумелі? На бераг іх выцягваюць, нібы часоў знямелых і душу, і цела...»

От чего уж отбрыкивается так отбрыкивается Виктор Ярось — это от встреч с читателями. Во-первых, те не сами его зовут, а обычно библиотеки, и на встречах собираются «любители» литературы, которые даже и не слышали раньше его фамилию, не говоря уже, что читали что-то. Сидят тогда, в носу ковыряются... Противно! Ну, а во-вторых, теперь время не то, чтобы бесплатно ездить, считает Виктор Ярось. Хватит, прошло время бесплатных выступлений. Ему даже не всегда гонорар высылают за публикации, а теперь ведь по городу проехать... деньги платить надо. Булку хлеба можно купить. Есть и третья причина, из-за которой известный поэт отказывается от встреч. Кто обычно приглашает? Библиотекари. А когда надо было собрать — придумал же какой-то черт и такое! — тираж на книгу, те заказали всего пять экземпляров его сборника стихов на всю область. Конечно же, сборник не попал в издательский план. Теперь полное табу на выступления. Даже когда зовут друзья-коллеги. Или, например, актер драматического театра и его давний знакомый Владислав Дробовиков. Этот человек вообще интересный. Поэт слабый, а со сцены стихи будто бы и звучат, люди принимают. Обычно он свою встречу с читателями начинает так: «Я, друзья, поэт под даты...» Те смотрят на него повеселевшими глазами: будто бы и на самом деле опрокинул рюмку горькой или чего там, заметно. Открытый человек. Свой. А он тотчас их успокаивает: «Пишу стихи под даты... К Новому году... К Восьмому марта... К Первомаю... Ко Дню Победы...». Это вызывает оживление в зале. Контакт со слушателями найден.

Незадолго до этой поездки в Чернигов Виктор Ярось опубликовал в журнале «Маладосць» статью «Прэлюдыя да спрэчкі», которая наделала шума в литературной среде. Он осмелился составить список из ста поэтов. Не всем понравилось, что они оказались не в первой десятке и не в золотой середине, а тем более и в конце этого списка. А что тогда было говорить поэтам, которым и вовсе не нашлось места в той таблице, которую кто-то даже сравнил с Периодической системой Менделеева, в которой, правда, 105 элементов, и не без иронии порекомендовал Виктору Яросю добавить

еще пять поэтов. Поэты зашевелились! В газетах появились отклики — преимущественно злые, колючие. Кто-то предложил даже Союзу писателей сделать бирочки с номерами и обязать всех живых поэтов и поэтесс носить поверх брюк или юбки на правой стороне бирочку. Зашел тот (или зашла) в редакцию литературного издания, а у него на бирочке номер аж «85». «Ну, известное дело, слабак или и вовсе графоман, пошел вон!» И так далее. Один ляпсус все же и на самом деле был в статье Виктора Ярося — он назвал старшую поэтессу, которая еще живет, в числе умерших. Поэтому написал ей лично письмо, извинился и пожелал долгой жизни... А на остальное могли обижаться не поэты ли и поэтессы — это их дело. Виктор Ярось гордился, что оживил хотя бы белорусскую литературную жизнь, которая в последние годы была аморфной и какой-то закостенелой. Хватит ворон считать. По ранжиру — становись!

С предложением к Василю Буденовскому составить список из ста лучших поэтов Украины, аналогичный его списку, Виктор Ярось и ехал в Чернигов...

На таможне проблем не было. Показал паспорт, открыл сумку... Это же проделал и на украинской таможне. И вдруг екнуло у Виктора Ярося сердце: не Василь Буденовский ли? Он, кажется! Держит в вытянутой руке паспорт и, никак, читает стихи? Пока стоит автобус, Виктор Ярось выскользнул из него, но предупредил женщину, сидевшую впереди, что он скоро вернется, чтобы не уехали без него.

Та пообещала выполнить просьбу.

4

Драматург и прозаик Егор Барханов выехал из Гомеля в направлении Чернигова на час позже, чем Виктор Ярось, но поскольку ехал он с соседом на его легковом автомобиле (тот собрался к родственникам и случайно проговорился), то до белорусской таможни добрались почти одновременно. Егор Барханов вез пьесу в театр, хотя и знал, что это бесполезный труд, — его произведение никто там не станет и читать. Но вез. Если написалась пьеса, то ее надо куда-то предлагать. Запасной экземпляр лежит в шкафу, беспокоиться нет причины. Хватит для всех. Не хватает только что пока для зрителей... Хотя несколько пьес Егора Барханова пробилось на сцену, о нем писали газеты, у него брали интервью для радио и телеэкрана. «Хорошо начинаешь, — заметил один известный драматург. — Этого тебе не простят...» Кто не простит, почему и зачем? Тогда он не задумывался над этим вопросом, а вспомнит обо всем значительно позже...

И вот теперь он, чудак, надеялся почему-то на соседей-украинцев.

5

Как раз в тот момент, когда он разговаривал с фотографией своей жены, Василя Буденовского узнал молодой краснощекий и немного куцый таможенник:

— Смотри ты, поэт! Я же вас по телеку видел! И не однажды! Не ошибаюсь?

Василь Буденовский подтвердил:

— Да, да. А вы же, кажется, на таможне работаете?

— И еще скажете! Ну а где же? Здесь!

— А меня не пускают.

— Куда?

— В Гомель. Раньше...

— Няма таго, што раньш было. В белорусской песне, кажется, так поется. И что случилось?

— Паспорта перепутал. Вместо своего паспорт жены взял. Они ведь одинакового цвета — синие. Что, нельзя было женщинам другой подобрать? А мне теперь вот хоть стой, хоть падай. Здесь уже и ехать осталось... Посоветуй что, хороший человек? А я тебе по телеку привет передам. Рукой помашу. И фамилию назову.

Таможенник захохотал:

— Ой, нет! Что-либо другое, только не это. Терпеть не могу, когда у Якубовича в «Поле чудес» приветы шлют. Так чем же вам помочь? Послушай, поэт: я еду в Чернигов, давай подброшу, а тогда снова, если очень надо, сядешь в автобус, но со своим паспортом... и все проблемы. А?

— Дай подумать минутку, — попросил Василь Буденовский.

— Подумай. Я ведь знаю, что на белорусской таможне вас задержали.

— А если им позвонить туда? — заинтересовался Василь Буденовский.

— Так не делаем. Один раз позвонишь, два... и будем этим заниматься... будем только и знать, как друг другу услуживать... А нам нельзя. Зачем тогда таможни сооружали? Служба такая, брат поэт. Ничего не поделаешь.

Василь Буденовский спрятал паспорт, наконец, в карман, сказал громко и хлестко:

— А хрен вас знает, зачем и на самом деле возвели эти таможни? Ездили же... И было нам всем хорошо. Так нет —

настроили! Игра какая-то взрослых людей. Ну нет ведь границ! Нет! На бумаге только... А главные игроки те же самые, говорят, вокруг Гомеля и Чернигова коттеджи фугуют — будь здоров!..

Таможенник его уже не слушал — махнул рукой и пошагал к турникету: там остановился очередной автобус, и ему надлежало посмотреть, что везут пассажиры...

И в это самое время Василь Буденовский и Виктор Ярось встретились взглядами, долго смотрели друг на друга и ничего не понимали. «Не Виктор ли? Да нет, откуда он здесь может взяться? Это еще наша территория»... «Василь? Кажется, Василь. Но, подожди. Будто бы похож он на себя, будто бы и нет! Поинтересуюсь. По голове не дадут». На всякий случай Виктор Ярось кашлянул, полушепотом произнес:

— Василь?..

В ответ услышал:

— Виктор?..

Поэты бросились друг к другу в объятия. Они смеялись от счастья и обнимались. Пассажиры автобусов, шедших из пункта «А» в пункт «Б» и наоборот, удивляясь, смотрели на этих мужчин, и на лицах у некоторых из них светились радостные улыбки.

6

На этой таможне в прошлом году немного осрамился Егор Барханов. Черниговской областной писательской организации исполнилось тогда тридцать лет, и его пригласили на юбилей. Когда возвращался назад, то на автовокзале к нему обратился щербатый парень в кепке и попросил выручить — провезти через таможню четыре бутылки вина. Всего четыре. Мелочи. Разве тяжело? И когда еще славянин не выручал славянина? Как раз в тот самый момент Егор Барханов вспомнил красиво сработанный полированный стол с фигурными ножками, вишневого цвета, который стоял в хате деда Якова. Стол тот был у деда с тридцатых годов, когда в Украине свирепствовал голод. Он, конечно же, спас от смерти не одну жизнь. Так как дерево ест только шашель, а хлеб — люди.

— Давайте ваше вино, — посмотрел на парня Егор Барханов и взял из его рук увесистый целлофановый пакет.

— Вам ведь все равно — один дипломат. Думаю, не обременил...

— И я так считаю.

Но так не считал сотрудник таможни. Когда автобус остановился, в салон заглянул усатый дядька в форме, и сразу же его лицо сделалось строгим, а голос был суровый и неприступный:

— А, это вы! Все знакомые лица. Да, да, понятно. Взять вещи — и через зал!

Люди долго суетились в комнате, которая, почувствовал Егор Барханов, тем хорошо знакома, а потом поступила команда по одному с вещами заходить в другую комнату — к усатому таможеннику. Однако вскоре очередь нарушилась, потому что таможенник — тот самый, который вымел всех из автобуса, — придирался к чему только можно было, несколько человек совсем повернул назад, а люди напирали, напирали, ведь кто из нас любит стоять в очереди! Хоть в магазине, хоть в автокассе... Хоть где! Даже, казалось, и там, где ничего хорошего не предвещалось, все равно бы лезли, напирали, лишь бы только быть первыми...

Тех, у кого не было никаких вещей, сразу отпустили. У Егора Барханова — вино ведь, и хотя он потерял целый час на досмотре вещей, однако был доволен, что влез в это дело. Иначе, как бы он поучаствовал в этой игре, где с одной стороны были пассажиры, с другой — усатый таможенник. Надо было видеть. В мыслях писатель благодарил щербатого, что тот подсунул ему этот целлофановый пакет. Вот уж таможенник и поиздевался над пассажирами! Как того хотел. Старался показать свою эрудицию, но не совсем получалось. Смотрел на пассажиров пренебрежительно, с презрением, будто на людей ничтожных. А люди... а люди готовы были лизать ему, довольному, видно же, жизнью и своим положением, ботинки... только бы отцепился, только бы не отобрал что-нибудь, а еще хуже — не повернул назад.

Когда Егор Барханов поставил пакет с вином на стол, таможенник посмотрел на него, спросил:

— Что?

— Четыре бутылки вина.

— Покажи мне того человека, чье вино провозишь, дядька.

— Я могу провезти через границу четыре бутылки вина?

— Можете и больше.

— Так в чем дело?

— Покажи мне того, чье вино!

— Был на празднике писательском, там дали — в подарок! — обманул Егор Барханов, и глазом не моргнув.

— Доставай.

Вскоре бутылки лежали на столе — поставить их было невозможно, так как на каждую были натянуты старые, местами с дырками, носки. Чтобы не разбились в дороге. Только теперь Егор Барханов понял, что... попался. Кто же будет презентовать тебе вино,

обутое в старые носки? Пожалел писателя и таможенник, а напоследок сказал:

— Идите, только больше не берите ни у кого вещи для перевозки. Мой вам совет.

— Учту, прислушаюсь, — пообещал тот и сразу же после таможни вернул целлофановый пакет парню в кепке, за что тот даже не поблагодарил.

Он поблагодарил его сам. Хотя хозяин четырех бутылок вина не догадался, конечно же, за что.

Еще вот что запомнилось тогда Егору Барханову. Все «потерпевшие» вынуждены были приобрести один из номеров специализированного журнала. Не «Таможенник Беларуси» ли? Что-то близкое к этому. По две тысячи рублей, кажется, за экземпляр. Пассажиры, в основном украинцы, носились по таможне в поисках денег, вытрясали друг у друга те рубли. Концерт, да и только! Егор Барханов тогда подумал: а почему бы не распространять, например, «Лесную газету» таким образом? Надо подсказать главному редактору, чтобы посоветовал лесникам вручать самовольным порубщикам вместо штрафа квитанции на подписку газеты, — она бы уже точно стала лидером среди всех изданий.

Проезжая по украинской таможне, Егор Барханов увидел, как обнимаются, мнут друг друга двое мужчин. Так поступают футболисты, когда забьют гол. Подождите, это же!.. Да, да, Егор Барханов не ошибся: он узнал — кто это, и попросил соседа, чтобы тот остановил легковой автомобиль.

Вскоре они обнимались уже втроем.

Автобусы и легковой автомобиль поехали дальше своей дорогой, а Василь Буденовский, Виктор Ярось и примкнувший к ним Егор Барханов сидели в лесу и отмечали встречу. Решили, что никуда ехать больше не надо. Наездились. Хватит. Им будет хорошо здесь, подальше от таможни и таможенников, от городского шума... И пили вино, которое достал из дипломата Егор Барханов. Гулять так гулять. Поэты сначала упрямились, просили зря не откорковывать бутылку, однако Егор Барханов напомнил им слова известного украинского поэта Максима Рыльского: «Когда я вспоминаю о дружбе славянских народов, у меня сразу рука тянется к чарке...»

А классиков надо уважать.

2001 г.

Содержание

Новую книгу белорусского писателя составили произведения, в которых он остается верен своим главным принципам – любви к своей малой родине, к землякам, которые несут в себе свет доброты и верности, преданности родному очагу, многострадальной белорусской земле.

Роман “Дом коммуны” – о прошлом и настоящем Гомеля, о Доме, в котором жили люди, жили счастливо, строили, как и все советские люди, светлое будущее... Однако настали иные времена, в Доме коммуны начинается совершенно другая жизнь, не похожая на прежнюю, и верится, что не зря герои романа сражались на полях войны, выживали в сталинских застенках, отстраивали, преодолевая холод и голод, разрушенный город...

Короткие повести “Пост”, “Участковый и фокусник”, “Игра” затрагивают непростые взаимоотношения между людьми.

Месца выхаду: Мінск
Дата выхаду: 2010
Рэдактар Н.Касцючэнка
Выдавецтва “Літаратура і Мастацтва”
Памеры: 230 с.